

АЛЬМАНАХ

литературной студии
КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ

2011

Главный редактор
Игорь Большечев

Редакционная коллегия:
*Андрей Высоков, Татьяна Грауз, Мария Козлова, Сергей Кромин,
Илья Оганжанов*

Подробная информация о студии «Кипарисовый ларец»
на сайте www.tatarinova.org

Ваши мнения, замечания, предложения о сотрудничестве
можно отправить координатору студии *Татьяне Грауз*
по адресу tatyanagrauz@yandex.ru

Руководители студии *Игорь Большечев* и *Светлана Кочерина*
kocherina@rambler.ru

Художник *Галина Легенцова*

Корректор *Светлана Орешкина*

Технический редактор *Иван Сергеев*

Издательство Литературного института им. А.М. Горького
Альманах выходит один раз в год

ISBN 5-7060-0121-9

© Авторы

© Издательство Литературного института им. А.М. Горького

От редакции

Литературная студия «Кипарисовый ларец» появилась в 1982 году. Ее основатель Ольга Татаринова вначале в Московском физико-техническом институте, затем в городском Доме пионеров на Миусах, потом где придется помогала молодым людям делать первые литературные шаги. Человек проницательный и бесконечно преданный литературе, Ольга Татаринова обладала уникальным даром разглядеть в другом человеке того, кем ему было назначено стать. Через студию и рядом с ней за эти годы прошло довольно много поэтов и прозаиков, некоторые достаточно известны (подробно об истории студии см. документальное повествование Ольги Татариновой «Кипарисовый ларец (non-fiction)» на сайте www.tatarinova.org).

В 2007 г. Ольги Татариновой не стало. Группа ее учеников решила продолжить дело. И вот уже три года — «новой истории» студии в Литературном институте им. А.М. Горького.

Предлагаемый Вашему вниманию Альманах — это и подведение итогов, и попытка заглянуть в будущее, найти единомышленников. Далеко не все авторы Альманаха — участники (хотя бы и бывшие) студии. Да и студия никогда не была цехом или литературной группой. Узкоэстетические пристрастия никогда не ставились во главу угла. Куда важнее — сочувствие к миру, литературная одаренность, владение словом. Такими и были «критерии отбора».

Альманах планируется выпускать ежегодно. Ранее опубликованное снабжено ссылками на первую публикацию. Большинство произведений публикуется впервые.

Редакционная коллегия

СОДЕРЖАНИЕ

I. IN MEMORIAM

ОЛЬГА ТАТАРИНОВА «Кассиопея»	9
О прозе Ольги Татариновой. <i>Игорь Большев</i>	68
ОЛЬГА ТАТАРИНОВА Стихи	71
ГОТФРИД БЕНН (<i>перевод с немецкого Ольги Татариновой</i>)	75
АНДРЕЙ ГОЛОВ (<i>публикация Светланы Головой</i>)	78
Попытка к бытию <i>Светлана Голова</i>	83

II. СТИХИ

ИГОРЬ БОЛЫЧЕВ	89
ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР	94
ТАТЬЯНА ГРАУЗ	98
АЛЕКСЕЙ КАЩЕЕВ	102
МАРИЯ КОЗЛОВА	106
АЛЕКСАНДРА КОЗЫРЕВА	110
ЕЛИЗАВЕТА КУЛИЕВА	115
ИВАН МАКАРОВ	121
АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО	125
ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ	130
СЕРГЕЙ ПРОНИН	134
ЕВГЕНИЙ САЕНКО	136
АЛЕНА ЧЕРНЫШОВА	138

III. ПРОЗА

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР «101 км»,	143
«Гагурин»	144

ТАТЬЯНА ГРАУЗ «Верка и только»	146
ПОЛИНА ЗЕМЦОВА «Папина дочка»	149
СЕРГЕЙ КРОМИН «Стихи к Бо»	197
ИВАН МАКАРОВ «День учителя»	220
ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ «Встреча»,	257
«Смысл жизни»,	258
«Пасха»,	261
«Куда глаза глядят»	263

IV. ЭССЕ

АНДРЕЙ ВЫСОКОСОВ

«...Грустных и ясных, как небо, стихов» <i>(о поэзии Светланы Сырневой)</i>	267
«Счастье и закат Владимира Смоленского»	277
«Я был болгаринoм полгода... » <i>(о стихах Владимира Соколова)</i> ...	295
«Поэт Борис Рыжий»	311

СЕРГЕЙ ФЕДЯКИН «Между звуком и смыслом»

(И.С. Бах и закат Европы, Мусоргский, «Ничего, кроме музыки, не спасет...» <i>(об Александре Скрябине)</i> , Два пророчества «суходольного музыканта» <i>(о Сергее</i> <i>Рахманинове)</i> , На волне колокольного звона)	323
--	-----

V. ПЕРЕВОДЫ

ГЕОРГ ТРАКЛЬ Стихотворения <i>(перевод с немецкого Татьяны Грауз)</i> ..	363
ЛЮДВИГ УЛАНД, РИХАРД ДЕМЕЛЬ, УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС, ФРАНК ВЕДЕКИНД, РОЗА АУСЛЕНДЕР, САША АНДЕРСОН Стихотворения <i>(перевод с английского и немецкого Игоря Большчева)</i>	365
ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ «Пепельная среда» <i>(перевод с английского Ильи Оганджанова)</i>	373

VI. АВТОРЫ	383
------------------	-----



Ольга ТАТАРИНОВА

КАССИОПЕЯ

*Не жизни жаль с томительным дыханьем —
Что жизнь и смерть? — А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь угёт, и плачет, уходя
А. Фет*

Конечно, мне жаль её, конечно, мне всегда хотелось, чтобы нашёлся кто-нибудь, кто бы вынес её тяжёлую сложную натуру. То есть, кому бы она оказалась по плечу. Мне лично она была не по плечу, хотя мы и были близнецы. Её тяжёлую, сложную, но не сильную натуру. У меня у самого такая же. Хотя и по-другому — по-другому тяжёлая, по-другому сложная, по-другому слабая. Но я думаю, дело всё-таки не во мне. Надеюсь, что дело всё-таки не может быть во мне. Ведь кто я ей? — всего навсего брат.

Может быть, нас и таскали родители когда-то вместе, и одевали одинаково — я этого не помню, моя память начинает пробрезживать лет с трёх-четырёх, когда я уже жил с отцом и с мачехой, а она говорила, что помнит, как мы с ней спали под яблоней и на нас сыпались лепестки, и как они пахли, помнит. И как меня ужалила оса, и я плакал, а ей было бесконечно жалко осу, которую отец тут же прихлопнул. Никогда не знал, верить ей или нет — что правда из того, что она рассказывает, что придумано тут же, на ходу, из каких-то дальних её туманных снов. Ей обязательно требовалось сочинить себе легенду о чём-нибудь благородстве, пусть даже совершенно посторонних людей — она не могла без этого существовать. Говорила — всё это и есть истина, истина её бытия, неважно, что там правда и что неправда. И какая она правда — кто знает?

Неожиданно меня заинтересовали годы, которые мы провели врозь. Я думаю, нас не нужно было рождать. Есть дети, которых просто не нужно было рождать на свет, особенно её.

Мне повезло, возможно, больше, чем ей — я рос в абсолютно благополучной семье, более чем благополучной — благополучнее некуда. Отец был — да и остаётся, а куда он денется? — что называется, белый воротничок, в самом том прямом смысле слова, что первейшая забота мачехи в жизни, Антонида Васильевны, и есть его каждодневный белый воротничок, чистые носки, чистые трусы, костюм нужной фирмы, и всё такое. Мне это всегда претило, не вспомню, чтобы я сроду надевал когда-нибудь галстук. Претило так же, как и все попытки мачехи умаслить меня до такой степени, чтобы я непременно, видите ли, бывал ежедневно дома к обеду, то есть к моменту его возвращения со службы, как правило, около восьми часов вечера, когда дома мне ну то есть абсолютно, как правило, делать нечего, начиная с момента совершеннолетия, то есть с момента поступления в вуз. Антонида может быть и считала себя обязанной отцу всем своим благополучием изрядной, образцовой, на взгляд отца, домоправительницы, мне же не в чем, так сказать, себя упрекнуть — «ем я мало», как увещевал своего прижмистого отца не очень-то счастливый, полагаю, в своём беспорочно-трудовом детстве Моцарт. Хотя сам он, послушненький папенькин сыночек, хрупкая болезненная богема — Вольфганг, я имею в виду, волчара, вечно убегающий ото всего и вся в рай звучащей в ушах, как колокольчик на шее у несчастной отнятой от природы скотины, любви, — возможно, даже и не подозревал о том, насколько он обделён детством, волей, самостью. А я с самого своего раннего детства предпочитал быть сам по себе. И уж при первой же возможности изловчился сделать всё для того, чтобы зажить вдалеке — как можно подальше, даже и территориально — от их без конца прибираемой, образцово-чистой и без конца ремонтируемой поместительной, как авиационный ангар, квартиры «в центре» с вечно задраенными шумонепроницаемыми окнами, вечно толкущимися чужими людьми — домработницами, рабочими, Антонидамиными «великосветскими» приятельницами, такими же кухонными, как она, сплетницами с претензиями на исключительность, и кондиционной неосязаемостью воздуха. И вполне довольствовался — до поры до времени, чёрт меня подери — своей однокомнатной развалюхой в хрущёбе с шестиметровой кухней, где всё под рукой, а из окна, перегнувшись через подоконник, можно было нарвать лиловых ирисов или даже ромашек и розоголового клевера, светящегося в жиденькой тени свежих, шумящих по вечерам тревожным, всегда напоминающим мне Касю шумом молодых тополей.

Впервые она появилась в стране после вместе нами проведённого младенчества, в пятнадцать лет. До того то ли не пускали, то ли отец, до глубины души оскорблённый романом матери с неким австрийским

дирижёром, Витбергом, не очень-то и звал, удовлетворившись тем, что отстоял у неё меня, своего «единственного сыночка», как он любил подчёркивать все эти годы, но только вдруг, неожиданно — может быть, раны затянулись за десять-то с лишним лет — он объявил нам с Антонидой, что приезжает Кася и что она несчастный, совершенно заброшенный, ни на чёрта не нужный своей гениальной матери ребёнок, которого та забрала со скандалом, а потом не знала, куда деть все эти годы, и вот Кася приезжает к нам на лето и будет жить с нами на даче, которую он уже снял до сентября в прелестной, мол, пушкинской деревеньке, на полпути до Звенигорода, пока её гениальная мать, профершпилившая на пару с Витбергом все свои безумные деньги, будет вкалывать в турне по Южной Америке.

Он взял меня с собой в аэропорт. Я был в том возрасте, когда одно только присутствие особ женского пола в радиусе двадцати метров тревожило и настораживало, вызывало какое-то неуютное стремление соотвествовать, чему — неизвестно, и страх ударить перед ними лицом в грязь.

В любопытственном и возбуждающем предвкушении увидеть иностранную фифу в каких-нибудь штанах в цветочек я в то же самое время пытался представить себе — как может выглядеть обычный московский школьник, не блещущий никакими особенными достижениями, в глазах этой фифы. Отец тоже отчётливо волновался. У Антонида хватило женской вкрадчивой хитрости с нами не поехать. Имелись, конечно, Касины фотографии, последняя — в возрасте двенадцати лет, где она была изображена в форме какого-то частного пансиона и с длинными волосами, перехваченными светлым ободком, но я тем не менее, когда толпа приехавших повалила через турникеты, принял за неё совсем другую девочку: рыжеватую подвижную кошечку в бриджах, как будто махавшую нам издали и улыбающуюся во весь яркий рот. Но отец странным образом не откликнулся на эти призывные движения, а напряжённо всматривался в стремительно рассыпающихся по залу людей. А тем временем рядом с нами уже стояла Кася, которую мы, вероятно, оба приняли за одну из встречающих, и смущенно дожидалась, когда мы отвлечёмся от жадного поедания глазами толпы приезжих и обратим на неё внимание. Она была худенькой высокой не по летам девушкой, впрочем, одного со мною роста, слава Богу, не выше, очень бледной, восковой прямо какой-то, длинные русые волосы, перехваченные темным ободком, жидко спадали ей на худенькие плечи, и казалось, она чуть не плачет. На ней было подчёркнуто скромное серое платье в белый цветочек, более всего она напомнила мне одну из наших домработниц, с которой Антонида рассталась «за тупость». В общем, у меня в сознании отпечатались чисто внеш-

няя сторона дела. Отец же, торопливо как-то её поцеловав, будто они расстались вчера, начал суетливо хлопотать о багаже. Всё было достаточно неловко, но дома хитрая вкрадчивая Антонида быстро обаяла новую девочку и окружила её мягкой ненавязчивой заботой. Они тогда ещё жили в обычной советской трёхкомнатной квартире, не имея понятия о евроремонте, и Касю поместили в самой большой комнате, гостиной, довольствуясь до нашего отъезда на дачу общим столом в кухне, и всё это без тени жертвенности — в этом Антониде необходимо ещё раз, и ещё не раз отдать должное.

По дороге из аэропорта домой я узнал (из ответов Каси на скупые и довольно холодные расспросы отца), что наша мать на самом деле давно уже рассталась с австрийским дирижёром, что после довольно удачно-ангажемента в Италии у неё не сложились отношения с новым антрепренёром, вследствие чего ей приходится сейчас во всех отношениях не просто, но к осени — она ей это твёрдо обещала — она её обязательно заберёт. Только неизвестно теперь, куда. Голос у отца несколько потеплел, стал обычно спокойным, несколько меланхоличным и задумчивым:

— Ты всё больше становишься похожа на мать, а в детстве казалось, что будешь похожа на меня. Как неожиданно думать, сколько времени прошло и как вы оба изменились.

Она всё стеснялась делать в доме. Стеснялась ходить по квартире, стеснялась чистить зубы по утрам в ванной, стеснялась даже ходить в туалет. Или, может, не стеснялась, а что-нибудь другое — я никогда не мог в точности расшифровать её странных поведенческих реакций и неожиданных выпадов, проявляющихся по большей части в том, что она вдруг начинала отказывать себе в чём бы то ни было. Отказываться от всего. Замыкаться, сгорбливаться и уходить в себя, в непроницаемую черепаху с одной только втянутой в плечи головой. Антонида так и говорила мне по утрам, когда я, заспанный, вваливался в кухню и начинал заглядывать в кастрюли:

— Подожди немножко в своей комнате, пусть Кася встанет, сходит в туалет, умоется, сделает зарядку, потом будете завтракать вместе, чтобы она к тебе привыкала. Ты теперь не единственное наше божество.

В её делано девичьем, флейтовом голосе сквозили артистичность и ирония.

Интересная у неё была улыбка, у этой Каси. Будто она её надевала на лицо прямо перед выходом из своей комнаты и не снимала до вечера, пока не затворялась за ней дверь. И если, уже после этого, она за чем-нибудь её отворяла (дверь), чтобы сказать, например:

— Да, Женя, пожалуйста, очень тебя прошу, немного тише музыку — такие стены, оказывается, — то непременно перед этим надевала снова

улыбку. Неширокие её челюстные подковки с удлинёнными зубками слегка при этом выдавались вперёд.

В первые же дни на даче волосы у неё выгорели, как у некрасовских деревенских детей. В семь утра, пока все ещё спали, она уже загорала в саду, на полосатом надувном матрасике. Даже отец, хотя ему и было на работу, вставал позже. Вечером же она сидела на открытой веранде дачи, спустив ноги с перил, одна до бог его знает какого часа и смотрела, как кино, ежедневную феерию деревенского заката, а потом в темень.

Однажды, с этого, кажется, и начались наши с ней более или менее связные разговоры, я буркнул — в шутку, конечно, а может быть, чтобы блеснуть эрудицией:

— Ну и что, беседуешь с тёзкой на сон грядущий?

— С тёзкой? Тёзка это что, скажи пожалуйста? Это ужасно, но оказалось, я не все слова знаю по-русски. Мне ужасно, ужасно стыдно. Разговаривай со мной хотя бы понемножечку в день, можно? Пока хватит терпения.

Помню, я просто-таки растерялся. Опешил. Не знал, как себя вести с ней дальше.

— А что ты читаешь? — спросила вдруг она, когда вместо ответа почувствовала, наверно, напряжённость моего внутреннего состояния.

— А, «Евгений Онегин». По программе. А тёзка — это та, которую зовут так же, как и тебя, и она на небе.

— Ангел-хранитель?

Я рассмеялся: мысль показалась мне забавной.

— Если это и так, то у тебя, выходит, целое гигантское созвездие ангелов-хранителей. Целый звёздный мир.

— На небе?

— Ну? А то где же ещё? Что-то я не слышал, чтобы на земле так кого-нибудь звали, как тебя. И кто это интересно из них придумал — отец или мать? Она, наверно, с приветом? Расскажи мне о ней.

— Кассиопея — это мать Андромеды, насколько я знаю, — застенчиво сказала она. — У той была ужасная судьба... И всё из-за матери, то есть меня, то есть тёзки меня, которая жаждала быть самой-самой на свете. Говорят, это характерно для женщин. Правда, с хорошим концом. Насколько вообще можно говорить о хороших концах. In my end is my beginning, слышал? Так грустно, но мы в школе учим совсем другое, чем вы. Так что всё равно, какой там конец. А мама — мама правда очень красивая, и никем она себя не воображает, она очень трудно живёт. Я тебе привезла её афишу показать, она у меня в чемодане. Только я не хочу Антониду смущать, она тоже очень хорошая.

Я хмыкнул.

— А что ты делаешь целыми днями у себя в комнате?
 — Можешь зайти посмотреть. Это не возбраняется. А у вас?
 — Что у нас?
 — Ну, говорят, Россия — очень отсталая страна. Может быть, молодым людям не положено заходить в комнату к девушке?
 — Что за глупости! Мы же с тобой брат и сестра. Притом, близнецы. Между нами разница в возрасте час, ты знаешь об этом? Ты родилась семнадцатого марта, а я шестнадцатого. Здорово, правда? Мы можем даже вместе пойти на пруд, если хочешь. Ты почему не купаешься?
 — Вода очень холодная.
 — Так надо после обеда, часа в четыре.
 — И потом...
 — Никаких потом, завтра же. А то и лето пройдёт.
 — По-настоящему красивы только африканцы, — вдруг сказала она без всякой видимой логической связи. Я только рот разинул внутренне, впервые, кажется, подвергшись столь массирующей атаке её внутреннего бреда на мои бедные школьные мозги. — Когда они получают возможность выразить свою душу — джаз, Оксфорд, Кембридж — нет равных им музыкантов, поэтов, хирургов. За этой расой будущее.
 — А физиков, математиков, философов?
 — Это так же, как с женщинами. У них — другие способы общения со Вселенной. Другие каналы духа.
 Выражение «каналы духа» поразило, но не вызвало никаких определённых представлений. Плохо себе представляя, о чём речь, я зачем-то спросил:
 — У тебя был любовник негр? — возможно, чтобы поддержать разговор на заданном уровне.
 — Ты хочешь сказать, бой-френд? У меня много возлюбленных во всех концах света. И все они прекрасны, талантливы, добры.
 — Это, наверно, потому что ты с мамой много ездил по миру? — мне вдруг взгрустнулось на мгновение. — Завидую.
 — Ах, да нет... не то, совсем, совсем не то... Совсем я куда и не езджу. Ладно, спокойной ночи, darling. Завтра считаешь мне «Евгений Онегин»? А я дам тебе послушать того, в кого я сейчас влюблена. Волшебный голос.
 — Сейчас, Марьяша, — приходится оторваться мне от своих то ли тягостных, то ли морфически движущихся в другом времени жизни, а может быть, и в безвременье жизни вечной воспоминаний. Даже часа в день не удаётся выкроить на них. А всё остальное — суета, беготня, вечно кому-то что-то должен и ничего не успеваю. Наверно, у всех так. И третьего не дано, как говорится.

Марьяша сейчас заползёт, как кошечка на сносях, в комнату, сядет на колени, обовьёт тёплыми ручками мой ледяной скелет, и я растаю. Пожалуй, даже без переходного постельного момента, обзывающего, по крайней мере в ближайшие полчаса, к повинению — времена моей самцовой ненасытности, кажется, потихоньку убывают, как подмосковное лето в августе — ей вполне по силам добиться от меня желаемого просто потому что у меня больше уже нет куда никаких выходов, никаких собственных устремлений, мне, собственно говоря, всё равно — надо так надо: отрезвление от безмерности, безразмерности мышления — для тупой размеренной ежедневной похоти социальной жизни.

Отец ни с того ни с сего объявил, что в воскресенье идём за грибами. Все вместе. Неужели и с Антониной? — подумал я. На шпильках.

Меньше всего я представлял себе отца грибником. Сугубо городской человек, босс по всем своим повадкам, единственно разве что лишённый вульгарности этих новоявленных, что всегда примиряло меня с ним до некоторой степени. Всё-таки, был когда-то женат на пианистке, объяснял я это себе. Высокий блондин, нордического склада, очень моложавый, даже законсервированный какой-то, умудрившийся не растолстеть на всех этих банкетах и деловых обедах. Вероятно, благодаря тому что бывший язвенник и диетик. И вдруг — за грибами.

Оказывается, он решил показать Касе русский лес. Тот, что начинался прямо за деревней и окружал её на расстоянии трёхсот-четырёхсот метров от последней дачной усадьбы бескрайним зелёным морем, менявшим, как и положено, цвет в зависимости от погоды — от изумрудно-золотистого до свинцово-синего. Но сейчас-то стояли вполне благополучные солнечные июньские дни! Никаких дождей! Прелестно! Грибы в июне — это курам на смех. Даже земляника и та не поспела.

Я даже не представлял себе, что он может так выглядеть — в сапогах, в картузе, в матросской тельняшке под холщовым балахоном явно колхозного какого-то происхождения. И на что он нам сдался? Мы прекраснейшим образом облазили уже все окрестности деревни, в том числе и лес — и никаких там грибов, мне это было ясно как день. К тому же, Кася ужасно визжала при виде даже лягушки, не говоря уже об ужах и гадюках. Нет, он справился в каком-то грибном атласе Подмосковья и ожидал появления грибов именно на воскресенье — будто шофёра вызывал по телефону ровно к восьми утра. Умора!

Конечно же, всё было уморительно до предела.

— Воздух! — говорил он. — Озон! Смешанный лес! С преобладанием сосен! Прочищает лёгкие лет за пять!

Кася, конечно, из вежливости, поддакивает ему изо всех сил, а он прёт вперед как Сусанин, так что мы даже не успеваем ничего рассмотреть вокруг себя.

Обычно Кася ходит по лесу очень медленно, даже не ходит, а кружит — то присядет на кочку у какого-нибудь папоротника и надолго задумается, не говоря ни слова, то вдруг начинает петь красивые иностранные песни и собирать букет, что тоже целое дело: она так выбирает цветы вокруг себя, будто она на цветочной выставке в Лондоне.

Я и не представлял себе, что он такой сильный и напористый. Будто гонимый амок. И я вдруг понял, вернее, почувствовал, что там у них с мамой вышло. Ей нужна была нежность, забота, служение. Она жила своей целью — а её целью в жизни, как я понимаю, всегда была музыка, с самого детства. И ему нужны были забота и служение, он тоже жил своей целью, всегда отличник, вечный диссертант, потом неутомимый начальник, ни в чём кроме своего производства на свете толком не разбирающийся, хотя и любящий поговорить с видом знатока об искусстве. Ему нужна была Антонида, это ясно. С самого начала ему нужна была Антонида. Но тогда у него ещё не было денег на бесконечно выгоняемых ею домработниц, и домработницей должна была быть, по идее, мама. Но это было невозможно, это же ясно! На фотографиях, которые показала мне Кася, совсем не та женщина, из которой можно сделать домработницу. Она какая-то... вообще не та, совсем не та, она вся погружена в себя, даже когда смотрит прямо в объектив. Она не жена производственника, ни в коем случае. Да и она вообще какая-то... Ничья. Я это очень хорошо почувствовал уже в пятнадцать лет по фотографиям, которые привезла мне Кася.

Которая вдруг ни с того ни с сего споткнулась, упала на траву и долго не желала вставать, уткнувшись головой в сомкнутые ковшиком руки. Я догадался, что она плачет. Отец же — ни в коем случае.

— Касья, ты чего? Голова закружилась от воздуха? Это здорово! Ради этого всё и предпринималось!

Я укоризненно посмотрел на него и присел рядом с Касей, не решаясь тронуть её хотя бы за плечо. И вдруг рядом с нею я увидел гриб. Настоящий боровик, молодой и крепкий, с чистой, как лесной орех, головой. Он только что народился и едва виднелся в траве, но когда я разгрёб её вокруг, он оказался очень даже ничего себе, было на что посмотреть. Я достал ножик и хотел было срезать его без всяких сантиментов, но потом вдруг вспомнил Чехова, «Дом с мезонином», как художник из любви к девушке — такой же городской и начитанной, «бледневшей от чтения», как мне запомнилось, расставлял по утрам грибы для неё в дачном палисаднике. У меня необъяснимо сжалось

сердце, хотя когда я читал этот рассказ, мне было смешно и вообще Чехова я находил большим насмешником рода человеческого, Мишю мне представлялась там чем-то скорее вроде Антонида, бесполезной и бескрылой. Я посмотрел на отца, приложил палец к губам и сказал шепотом ему на ухо, поднявшись с земли:

— Она скучает, неужели непонятно? Подожди немного, не ори!

Мы с ним легли рядом на траву и заговорили о машинах — он всё прикидывал, какую марку автомобиля подарит мне, когда я окончу школу и поступлю в институт. Меня эта перспектива возбуждала мало, совсем даже не возбуждала почему-то — я уже тогда втайне только и думал о том, как бы от них изолироваться, любой ценой, но чтобы не выдавать своих неблагодарных намерений, поговорил с ним немного об автомобилях.

Когда мы повернули головы — вместе, как по команде, — то обнаружили, что Кася внимательно слушает, что мы говорим, пристально и прямо, как картинку, рассматривая отца. И на лице у неё нет её обычной наивной улыбки. И так я впервые увидел её лицо без улыбки — очень русское, с мягкими правильными чертами неброское лицо серьёзной задумчивой девочки с прямым взглядом темно-серых болотистых глаз под прямыми же затеняющими глаза ресницами. Мне почему-то сразу захотелось, чтобы она училась в одном со мною классе — пусть бы посмотрели, какая у меня сестра.

Я вскочил на ноги и, подойдя к ней, присел на землю с нею рядом.

— А ты белый когда-нибудь видела? Ты хоть отличить-то его сможешь от сыроежки? (Сыроежки нам, правда, попадались в наших лесных походах, это было.)

— Не знаю... Столько уже белых грибов ты приказываешь мне выбрасывать!

— Так вот посмотри! На настоящее чудо русского леса.

Она долго не могла углядеть гриб, но когда разобралась, в чём дело, засмеялась и захлопала в ладошки:

— Боже, как здорово! Какой класс!

— Ну так режь его! На ножик.

— Я? — она вдруг посмотрела на нас совершенно беспомощно, жалкий, действительно какой-то заброшенный подросток, дичок, почти что нищенка с паперти, только что в клёвых свежемгазинных шортах, разумеется, ненашенских. Не знаю, почувствовал ли это отец — по-моему, он вообще мало различал нюансы, он чувствовал грубо, самолюбиво, решительно, настоящий викинг — но только у него тоже как-то перекривилось лицо, будто он собирается заплакать. Мы поднялись с земли и скоро вышли на проезжую дорогу с другой стороны леса — где

поля поднимаются к горизонту, как на картине Петрова-Водкина, зелёные, бурые, золотые квадраты, резко отчерченные от бирюзового неба с неподвижно в нём стоящими высоко над головою нежно-вздутыми, как пирожные безе, розоватыми облаками.

— Красиво, — одобрительно сказала Кася. — Красивая страна, правду мама говорит.

Надо сказать, поход этот очень сблизил отца и Касю, в этом надо отдать ему должное — может, я его недооценивал, и дело и было-то совсем не в грибах. Она теперь целовала его по утрам, когда взбегала на веранду со своего матрасика, а он завтракал, не просто ритуально, как раньше — сначала Антонида, понятное дело, по протоколу, потом его, потом, постояв в раздумье над моим лбом, иногда легко касалась губами моего летнего ёжика.

Я не обижался. У нас теперь были совсем другие дни — сколько же в жизни бывает совершенно разных периодов, совершенно разных дней! Люди проходят мимо, как тени от облаков, и скрываются за горизонтом — и ищи их свищи, и людей, и тени, и дни. А пока они проходят мимо тебя, счастливые, длинные, интересные, с негасимым июньским солнцем, кажется — всё всегда было всегда. И будет.

Разве можно было представить себе кого-нибудь более сплавленного вместе, воедино, в один клубок мыслей, совместных странствий, вплоть до самого Звенигорода, на электричке, и ни с чем не сравнимых в прошлой жизни по новизне и неожиданности разговоров, чем те, что мы в то лето бесконечно вели с Касей? Мы коптились на солнце, около четырёх сбегая через две деревенских улицы с нашей открытой веранды к пруду, солнечный жар сдувало ветром, чуть только выступал на шее пот, мы лезли в воду. Касья плавала как следует, говорила, научилась по бассейнам в пансионатах — она пребывала уже в третьем или в четвёртом за свою недолгую молодую жизнь, жила в Италии — в Риме, в Неаполе, на Сицилии: там у мамы были контракты. Но она редко брала её с собой на гастроли, в крайнем случае — приглашала приехать на пять-шесть дней в какой-нибудь отель, в котором жила и готовилась к концерту.

— Значит, вот так он презирал на самом деле дуэли. И вообще всё людское сборище. А сам зачем-то дрался и, говорит мама, погиб на такой же точно дуэли, с ещё большим прохвостом и светским попрыгунчиком, чем Онегин.

— Так он же от презрения и дрался. От презрения и от отчаяния. Что ничего с этим миром не поделает, как прекрасно всё о нём ни понимай.

— Ты думаешь? А вовсе не из ревности? Вообще, ревность — ужасная гадость. Настоящая дикость.

— А как бы ты хотела?

— Я бы?

Она лежала, закинув руки за голову, на берегу пруда, вокруг которого бегал, надо полагать, шестилетний Санёк, и болтала закинутой на ногу ногой.

— Я бы хотела, чтобы у всех были отношения, как у нас с тобой. Абсолютное доверие и никто никому не принадлежит, только Богу.

И вдруг, без всякого перехода:

— Ты знаешь, я много думаю о Боге. Но не с кем об этом поговорить. Церковь, священники — это всё не то. Ты крещён?

— Не знаю. По-моему, нет. Во всяком случае, ничего такого от отца не слышал. А ты?

— Меня мама крестила в Праге. В православной церкви. Мне было шесть лет. Я мало что понимала.

И вдруг, опять без всякого перехода:

— Кто-нибудь так когда-нибудь лежит, как ты думаешь?

Я, совершенно не способный проникнуть иногда в ход её мыслей, внимательно принялся изучать её позу — она была как вытянутый длинненький осьминожек, от мелькания ноги. Так я ей и сказал. Она вскочила с песка:

— Класс, класс, класс, я должна это запомнить. А то Дениз говорит, что у меня ноги, как у богини. Правда, мерзость?

Я не знал, что надо сказать — всё же она девушка, хоть и сестра, и для неё внешность имеет очень большое значение, тут всё ранимо.

— А кто такой Дениз?

— А, ревнуешь! А сам говоришь.

— Что говорю?

— Что вовсе не из ревности, а из презрения. Дениз — это так просто, ничего особенного, просто его так же, как и меня, оставили на прошлое лето в пансионе, и мы подружились. Но потом всё прошло, когда остальные все приехали с каникул.

— А что было?

— Что было?

— Ну, то, что прошло?

— Как тебе сказать... Только совсем не так интересно, как у нас с тобой. Почему-то. Хотя он и красивый. Для меня это очень важно. Знаешь, для меня это так сильно важно, что меня это даже беспокоит. Может, потому что у нас мама красивая? И мы считаем, что все обязаны быть красивыми, а это совсем-совсем не так. Ты только посмотри, какие люди в большинстве случаев уродины — зубы кривые, какие-то придурковатые-выдвинутые изо рта, рот слюнявый, а морщин, морщин — всё человечество страшно сморщенное, ты не находишь? Особенно здесь, в России.

И нищие в метро, и калеки — всё в обрубках сплошь да рядом. А мне подавай красивых мальчиков! Несправедливо, наверно, как ты считаешь?

— Достоевский какой-то.

— А ты его уже читал?

— Нет. По телевизору видел.

Через пять минут «Локомотив — ЦСКА». Ничего особенного, конечно, но посмотреть надо — быть в курсе турнирной таблицы. Да и всё равно интересно, хоть и заранее известно. Наверно, в этом году «кони» опять станут чемпионами. Хотя наш футбол — разве это футбол? Совсем вылинял. Так обидно. А с другой стороны — ну зачем это стремиться во всё быть первыми? Глупость какая-то. Каждый обычный слабосильный трущобный гном мегаполиса с перекошенными мозгами, с раздувшимся от ничтожества духа пузырьком живота, синюшным и дряблым под тщательно выбранными на базаре жизни тряпками телом, а вот если национальный футбол на высоте — то и ты уже кажешься себе не гномом ничтожным с потерянными надеждами на большое и настоящее, по определению, от самой никчёмности своего рождения, затерянного в клубах миллиардного насекомого, а богатырём, сыном великой нации. Я не такой уж футбольный фанат, чтобы жить этим по-настоящему, но всё же приятно отвлечение от жизни, отключение хоть на какое-то время от череды серых необходимостей ежедневного жёстко регламентированного существования. Я люблю футбол. Но не до такой степени, чтобы лететь на крыльях этой любви, а тем более тащиться на стадион из своего тихого диванограда бескрылым, а просто в метро через весь город, да даже и в машине — поставить её там целая морока, да и вообще морока даже думать обо всём этом. Даже и о Каське. Даже и о Марьяше. Даже иногда и о своих детях, вообще, о будущем. Как-то хочется спрятаться от всего, сгинуть, чтобы никто не трогал. Ведь вся эта невразумляемая красота мира, говорила Кася, отвергнутая нами красота природы, которую мы доуродовали до полного изнеможения её безмерных сил, наверно, пыталась рассказать нам о жизни вечной, а для жизни вечной не нужно размножение, это свинское спаривание с потом — достаточно всех и единых и вечно существующих душ... Так и слышу её голос. Порой он меня раздражал, особенно, когда тянуло спариваться, по-свински и с потом.

Отец изменился в то лето до неузнаваемости. Приезжал на дачу каждый день, в то время как раньше, когда они снимали дачу на лето, он, бывало, в течение рабочей недели не появлялся, приезжал только в пятницу, на уикенд, а по воскресеньям начинал собираться в город уже

часов с шести, теперь же, наоборот, норовил приехать каждый день да пораньше, Антонида даже подтрунивала над ним:

— Папочка чудесный, папочка милый, детям кашки наварить прискакал, а кашка-то — вот она, вся уже на плите, Антонидушка позаботилась. Хотела бы я на вас посмотреть, на всю ораву, если б не Антонидушка.

Только при этих словах он на неё и смотрел, а то сразу искал взглядом Касю, я это точно видел. А Кася сидит у себя в комнате — это когда мы уже вместе везде лазали — и слушает своего возлюбленного негра на плеере. А он сразу встревоженно так:

— А где Кася?

— Любовника своего слушает, оторваться не может, — мне льстило, что я в курсе её сердечных тайн. Отец смотрел на меня недоумевающе:

— Ты что буровишь? Ей пятнадцать лет, какой любовник?

— Да просто все вы устарели до хрипоты, а она нормальная. Нормальная девчонка, клёвая.

— Зови её обедать.

— Мы пообедали уже, знаешь, какие голодные пришли. На Москву-реку ездили купаться. На электричке.

И видел, что он обескуражен. Расстроен даже. Мне это было забавно, потому что раньше я просто не представлял себе, что отца можно чем-нибудь поколебать. Даже просто смутить. Страшно невозмутимый. Сказано, викинг.

— Так что же, мне одному теперь обедать?

— Уж ладно, — сладким голосом вступала Антонида, тоже, между прочим, викинг — никогда ни на что не обидится в жизни, кроме своих домработниц, конечно, то есть виду не подаст, а уж тут какое тут: явно папашка даже и думать о ней не думал в данный момент. — Пообедает с тобой Антонидушка, сядем рядком, поговорим ладком, вот, водочку для тебя в холодильничке, да от Матрёны. Тоже, между прочим, того и гляди...

— Да будет тебе, — досадливо обрывал отец её дежурные стенания.

— Наливай, пойду руки помою. Так что же она, так и будет до вечера музыку слушать? А я планировал съездить с вами в Звенигород, купить ей какое-нибудь платье, посмотреть город...

— И в Звенигороде уже были. Сто раз.

Я торжествовал.

А он расстроился! Ушёл в сад и до темноты неизвестно что там делал. Страдал, может быть. Вот умора!

Уличная жара не проникала в этот большой, шестикомнатный, с двух сторон по крыльцу, выкрашенный в тёмно-зелёное дом с мезонином, с огромной открытой верандой в довольно густой фруктовый, старый, с деревцами облепихи и черноплодной рябины по периметру сад

между улицей и домом. Воздух плавно перемещался по комнатам, между раскрытыми настежь дверьми, и только Касина дверь преграждала ему дорогу. Она всегда была закрыта. Её окно выходило в сад, как, впрочем, и моё — но только во втором этаже, в мезонине. Я сам так выбрал. Целых два дня угробил на то, чтобы навести там порядок — у когда-то живших здесь родственников нынешних хозяев, сдававших дачу, там было что-то наподобие чулана, склада ненужных вещей. И чего там только не было! Даже швейная машинка «Зингер» с обломанным ножным станком. Прялка, скакалка, какие-то колхозные колёса чуть ли не от трактора — всё пришлось вывозить на допотопной тачке. Тогда-то Кася, сидевшая во время уборки рядом со мною на старом хозяйском сундучке, и рассказала мне, как меня ужалила оса в этом саду под яблоней. И мне так и не удалось убедить её в том, что этого не могло быть никогда, потому что не могло быть — мы в этом доме впервые, и даже в этом месте впервые в жизни.

— Мало ли что! — сказала она. — Это ты так думаешь. А как на самом деле — неизвестно. Никому ничего неизвестно, вот в чём печаль.

Это было её странное присловие ко всему — «вот в чём печаль». Получалось, если её послушать внимательно, что печаль во всём.

На берегу пушкинского пруда, а может быть, уже в нашем веке сооружённой запруды росли два мощных старых вяза, к толстой низкой ветке одного из них была присобачена верёвка для разгона с прибрежного пригорка — и прямо в воду, на середину пруда, любимое развлечение местных деревенских мальчишек. Кася сказала мне как-то, дёрнув меня тихонько за штанину:

— И я хочу.

Было воскресенье и отец увязался с нами на пруд.

— Ничего нет проще, — заявил он. — Только я кое-что предприму, чтобы тебе ловчей было.

И побежал домой — то есть пошёл таким торопливым широким шагом, что считай, побежал. Одним словом, умора. Вернулся он с какой-то деревягой в руках, примотал её к концу верёвки и сказал:

— Вот. Разбегайся и прыгай с неё, а то руки ошпаришь.

Мы переглянулись с Каськой — в его отсутствие она уже раза три прыгнула с этой самой верёвки в пруд — первый раз со мною вместе, я её обхватил за талию как следует, и на счёт «раз-два-три» мы прыгнули одновременно, а потом она уже прыгала сама. Каська приложила палец к губам и покорно, вежливо стала осваивать притащенную отцом деревягу. Сразу же зацепилась за неё ногами и повисла в воздухе, и в то время как верёвка шла обратным ходом на пригорок с висящей на ней, как акробатка в цирке, Каськой вниз головой, отец орал душераздирающе:

— Прыгай! Прыгай! Всё, не прыгай! Стой! Сейчас! — и помчался на пригорок как бешеный, поймал верёвку сильными своими викингскими ручищами, и всё это в два счёта. Вернулся он на берег с Каськой на руках, сидевшей на нём спереди ногами за спину ему, и говорил как бы ворчливо:

— Вот что матери твоей потом сказал бы, взял да и убил девочку, отец называется.

Чувствовалось же в этом его как бы ворчливом тоне что-то совсем другое, что-то глубоко грустное, жалобное почти, какая-то нотка возвращающегося после удачного финта с верёвкой одиночества. Мне вдруг стало жаль его. Наверно, он любил когда-то маму и очень страдал, когда она его оставила. И это, наверно, уже для него непоправимо. До конца жизни, какой бы разудачной она ни казалась — а такой она всем и казалась.

С другой стороны дома простирался обширный огород, засаженный хозяевами по просьбе отца «всем, что положено в русской деревне», — здесь были и грядки огурцов, редиски, моркови, петрушки с укропом, даже киндзы и салатов с листьями различной конфигурации, кабачки, тыква, завязавшаяся к началу июля, весь тыловой край участка был засажен картошкой, целое поле картошки, а за реденьким невысоким штакетником, который легко было перепрыгнуть или даже преступить, простирались колхозные ещё пока к тому времени поля — та же картошка, рожь, овёс с васильками и маками, целый клин краснолилово-бело цветущего и пахучего горошка, фасоль с дощечками на колышках, на которых были помечены сорта — русские и латинские сельскохозяйственные названия, целое поле клубники, собирать которую приглашались все желающие дачники, получая за полдня работы ящик чудесной свежесозревшей виктории.

Мы с Касей поливали наш огород из шланга, цветочные клумбы и розы перед окнами дома, кусты смородины и крыжовника, которыми цветник был отделён от огорода, а потом, если оставалось время до купанья на пруде, перемахивали через штакетник и шли в поля. Она до умопомрачения любопытствовала, у меня мозги спекались от напряжения — мне бы и в голову не пришло обо всём таком думать:

— Почему у них всё так в повалку, вперемежку? Разве гречиху сажают рядом с рожью? А как же пчёлы? Они же запутаться могут!

О Господи, Кася! Ну откуда мне обо всём этом знать? Я городской школьник, приезжаю каждый год на дачу, да и то не совсем каждый год — раньше, лет до тринадцати-четырнадцати мы ездили на месяц отцовского отпуска на море, и всё — в Коктебель, в Юрмалу, в Гагры, в Геленджик, на Пицунду, даже один или два раза на минеральные воды, в Пятигорск и Ессентуки, из-за желудочных хворей отца. Какое

мне дело до гречихи? Я даже не знал бы, как она выглядит, если бы не эта табличка с латинским наименованием (какое пижонство, Бог мой! Верно, агрономша или агроном, но скорее всего, почему-то мне казалось, агрономша — молодая специалистка только что из Тимирязевки и мечтает обустроить Россию. Бог в помощь, дорогая!)

Однажды вечером, как раз в пятницу, когда отец приехал на уикенд да пораньше, Каська сказала прямо после ужина — на веранде, при свечах, с цветами на столе, с льняной окаймлённой мережкой ручной работы скатертью, со столовым серебром: Антонида старалась соответствовать всему тому, вероятно, что она видела в фильмах о загранице:

— Спокойной всем ночи, пойду пораньше спать, а то мне завтра на клубнику.

— На какую клубнику? — опешил отец.

— Пойду собирать клубнику, за полдня работы ящик.

И мы пояснили отцу, в чём дело. В результате — что бы вы думали? — мы все трое вскопчили как угорелые в полвосьмого, наскоро позавтракали и потащились на клубничную плантацию. Вот что она делала с отцом, эта Кася — просто лишила его рассудка.

Вечером он сказал за ужином:

— Надо бы купить сюда пианино. Плохо, что ты столько времени не играешь, не упражняешься. Да и мы бы послушали музыку, а то соловьи уже отгремели, а без них как-то скучно. И мой соловей-пташечка теряет навык. Как это я не подумал?

— А зачем это мне упражняться... папа? — она называла его «папа» всё-таки с некоторым усилием, в то время как с Антонидой, да и со мною щебетала просто и без затей: дорогая Антонида, послушай, Женя — и всё это запросто. — Я совершенно не собираюсь ничего общего иметь с музыкой. Я только слушательница, да и то, скажу вам по секрету, не консерваторских концертов и не филармонических. Только маме не говорите. У меня совсем другие вкусы.

— Но всё же ты должна держать приличия европейского бомонда, ты же всё-таки не кто попало, — ляпнула Антонида очередную свою глупость.

— А бомонд — это у вас кто? — повернулась ко мне Кася.

Отец расхохотался, встал из-за стола и закурил трубку. А уж когда он доставал трубку — а так он вообще не курил — я уже точно знал, что на него наехало: он въезжает в настроение старого отработавшего своё гончого волка на пенсии, мечтает читать Хемингуэя, Ремарка, Камю, Сартра и всё то, о чём успел прознать в молодости.

— У нас бомонд — это те, что в членовозах, — отчеканил я без запинки. — А теперь вот кто больше нагребит добрых людей, наперегонки, спекулянты шведским спиртом.

— Боже, откуда ты это всё приносишь, такие ужасы! — делано шокировалась Антонида. — Разве твой отец — не бомонд? Воспитываем тебя, воспитываем. Английский с шести лет, спецшкола — и на тебе! Одни тройки за редким исключением!

Это было не совсем правдой, это она в воспитательных целях, любимый её конёк, я совершенно не обижался, потому что сразу представлял себе отношения Антонида с тригонометрией и меня разбирал смех, но я сказал:

— А ты думаешь, бомонд — это те, у кого были пятёрки по математике или, боже упаси, по философии? Очень ошибаешься.

Слава тебе господи, при слове «философия» Антонида моментально затыкалась, и я, признаться, сладострастно этим пользовался.

Наконец, в конце июля зарядили дожди, солнце выглядывало промельками, сочась сквозь листья и лепестки расцветших на веранде настурций, Кася простудилась, кашляла, много читала — по-немецки, по-английски, немного по-русски, рассуждала о «Песни о вещем Олеге» — что, мол, выше любого бомонда, во все времена и у всех народов, есть кое-что ещё и всё это глупости, и как-то сказала, с бесконечной грустью в голосе:

— Знаешь, что такое с трудом выносить свою душу?

Надо отдать должное Касе, в чём-то она, вероятно, была относительно меня и права: я с большим трудом вытерпываю последние месяцы беременности Марьяши — так и тянет рыскать вечерами как голодный волк по городу в стремлении к совокуплению. Но пока что держусь — разве что вот эти грустные воспоминания да иногда неожиданная раздражительность, приливы крови к голове, к лицу, умопомешательство какое-то тупое, минутное, приятного мало, одним словом. И до чего же жаль, что я так стар и просвещённо-циничен, чтобы достаточно ясно это осознавать, а не биться головой об стенку, что я де разлюбил свою однообразно-филейную самку-жену и жажду новой любви.

Последние две недели как-то особенно задавили — на службе очередная авральная ситуация, явственно превращающая в однодумный напряжённо циркулирующий механизм, даже и довольный, пока в работе, своими производственными возможностями, гордый собою механизм: грамотный, чёткий, постоянно ощущающий своё сладкое превосходство над несовершенными человеческими телами с несварением мозга. Бросил бы к чёртовой матери эту службу, но инстинкт жизни подсказывает, что весь простирающийся направо и налево социум, в который вписан безвозвратно потребностями семьи, да и собственными

жизненными привычками — это бесконечная система параллельных брусьев, перелетая с одного на другой можно только потерять в зарплате, к которой достаточно притерпелся и приучил своих близких — то есть, Марьяшу — а выиграть тут невозможно: да если б и сам я знал, чего мне ещё, ведь всё вроде хорошо. Только когда такие вот беспросветные дни — недели — месяцы: поедем туда, купим то, нужно то, позвони не забудь врачу, не забудь ей подарочек, конечно, если бы у меня были в распоряжении такие же безразмерные средства, как у твоей мачехи, я бы тебя разве трогала? — и ни полежать, ни посидеть, ни подумать, ни почитать никакой возможности. Удивляюсь отцу — как он умудрялся чувствовать, да ещё так интенсивно, после работы, я сам, мне кажется, и бесчувственный в довершение всего какой-то стал: всё суета и тлен, и не из-за чего переживать. Надо всё просто делать, что от тебя требуется в данной жизненной коллизии, раз ты в неё попал — завербован жизнью, как говорится, и не оглядываться на упущенные возможности. Тем более, что у меня их и не было, как я полагаю, таких уж увлекательных возможностей, чтобы сожалеть о них: я неплохо устроен в жизни на взгляд хоть кого угодно, я думаю: и воровать не ворую, и деньги зарабатываю вполне приличные по нынешним временам. Вообще, переживать — это действительно последняя на свете вещь, глупость бесполезная, ослабляющая организм. Если бы Каська могла вовремя это понять, разве всё было бы так, как было? Но в том-то и беда, что свою голову никому на плечи не наденешь, и когда я её упрекал за превышающую всякие разумные пределы чувствительность, она бывало мне отповедала:

— Мои переживания, как бы жестоки они ни были, это единственная несомненная ценность, которой я располагаю. Они формируют меня как личность, и раз они у меня есть — стало быть, несомненно, я существую — как лицо, на котором всё то, что я пережила. Чувствую *ergo sum*.

Ту памятную зиму, после того как Каська уехала обратно к матери, то есть, вернее сказать, в свой пансион, потому что мама, помнится, так и не осела нигде ещё несколько лет, пока не купила себе дом в Швейцарии, где Каська смогла обитать и в её отсутствие, я провёл в постоянной с ней переписке по электронной почте, что создавало у меня странное чувство, будто у меня есть девушка, и я спокойно взирал на начавшие особенно в это время бурно разыгрываться вокруг, в школе, любовные восторги, изуродованные юношеским самолюбием, и душераздирающие драмы, самовыражающиеся в матерных записях на стенах туалета нашей элитной школы, в процессе выбора которой Антонида проела отцу всю его белокурую плешь, и это, в числе прочих её семейных доблестей, и давало ей — по всей, полагаю, справедливости — возможность напирать на то, что ещё неизвестно, стала бы так родная мать

печься обо мне и моём образовании, как она, добрая, милая, абсолютно интеллигентная Антонидушка, настоящий бомонд. И мальчика вырастила как надо. Сами видите.

Мама тоже несколько раз звонила в течение той зимы — на Новый год и так просто, к телефону даже один раз подошёл отец и они обменялись парой вежливых фраз, прежде чем позвали меня. Она говорила мне, что Кася привезла самые приятные впечатления от своей поездки к нам и кучу бесконечно дорогих для неё фотографий, что я вырос чудесно славным, красивым мальчиком, и что Кася говорит — умным и начитанным, и что она страшно благодарна моему отцу и его жене... У неё оказался такой мягкий низкий голос, перед которым хотелось опуститься на одно колено, но потом она неожиданно всхлинула и быстро попрощалась. Это, правда, было только первый раз, потом мы уже говорили с ней весьма спокойно, я отчитывался — для порядка, думал, ей будет это приятно — о своих школьных делах, и она терпеливо выслушивала и не переводила разговор на другое, как десять раз сделала бы Антонида — моментально перевела бы разговор на себя и себе дифирамбы по поводу моей успеваемости по отдельным предметам, элитности моей школы и воспитания, чтобы затем незаметно скатиться к своей излюбленной кухонно-мебельной тематике и сплетням о знакомых, кто с кем развёлся и кто насколько интеллигентен.

Теперь-то я понимаю, что то была гормональная окраска мира, но тогда всё казалось волшебным. Я показывал приятелям — у меня было два-три приятеля в классе, что греха таить, — Каську на фотографиях, в то время как они предъявляли своих пассий живьём, на улице или в школе, в соседнем классе. Людная дневная Тверская, снежок, щёки щиплет, и вдруг:

— Посмотри! Быстро! Вон, вон, видишь, три девчонки? Так вот — средняя.

Говоришь, конечно, — Класс! — а сам думаешь: Каська какая-то совершенно не такая, ничего общего, вот ни на кого она из них не похожа, и они — те далёкие случайные школьные современники, соседи по парте — с готовностью это подтверждали:

— Ты смотри — и на лошади, и на теннисном корте... Класс девчонка.

Я даже написал в ту зиму несколько стихотворений, немедленно отправляя их Каське по e-мейлу, но у самого у меня они, к сожалению, не сохранились. А впрочем, «к сожалению» — это так, машинально. Какой русский мальчик не пишет в школе или в институте стихов? — никогда такого не было за всю историю Государства Российского, и, надо с прискорбием или без ононого констатировать — что не будет, хоть мы тут всё перевернём вверх дном и застеклим пластиковыми пакетами

(Москва как раз в те дни спешно преображалась, теряя черты того привычного облика, в котором я застал её на этом свете, старого, очевидно выдавшего виды и запущенного).

Эмоциональная сторона дела часто не совпадает с фактической. А фактическая слишком сложно и чаще всего непостижимо связана с истинной. Так что наши чувства — наша единственная данность, единственная правда жизни на данный момент, только не надо делать из неё далеко идущие выводы и, претерпевая чувства, не худо помнить об их эфемерности и несовершенстве наших представлений о происходящем.

Она же писала мне прозой. И порой весьма пространной. Чувствовалось, что она не очень-то умеет коротко изложить свои мысли и путается в придаточных предложениях. Что-то вроде Набокова. Писала о том, например, как однажды в Венеции вечером стояла у парапета набережной, смотрела на канал, по которому плыла прогулочная гондола, расцвеченная фонариками и радостная, рядом с нею как раз стояли туристы и восхищались красотой Венеции, а она была совсем одна и думала о том, что ничего не чувствует, кроме своего этого одиночества и тоски, и что, может быть, если бы кто-нибудь был с нею рядом, кому она могла бы так же вот говорить, показывать и восхищаться, как эти двое, всё было бы совсем по-другому. Почему так, Женя? — спрашивала она. — Почему мне обязательно кто-нибудь нужен, а у меня как раз-таки никого и нет? Мне бы так хотелось показать тебе все те города, где мне было так неприятно, тоскливо и одиноко. Понимаешь, берёшь мамину карточку, можно даже ни слова не говорить, лишь бы цифры за тобой стояли — и тебе дают приют, номер в гостинице, несут твой чемодан, балдахин над кроватью... Так не хочется говорить эти фразы — well, well, sorry, it's O.K., thank you... О fine, very well, thank you! Ты меня понимаешь? Когда на самом деле — ничего не fine, ничего не very well, всё очень даже bad и terrible, и притом безнадежно. А они — ничего. Как попугаи. И все улыбаются. Так хочется клубники! Папе это письмо не показывай, я ему напишу отдельно.

Или вдруг я получал от неё по e-мэйлу длинное рассуждение о том, что она много думает о наших папе с мамой и о маминой жизни, и не очень-то понимает назначение брака. Когда люди любят друг друга до беспамятства, а потом вдруг выясняется, что они совсем чужие. И что интересно — любили наши папа с мамой друг друга до беспамятства, как я думаю? И что такое любовь? А я любил кого-нибудь до беспамятства? И мне начинало казаться, особенно по получении очередного письма, что я люблю её до беспамятства, и мне тоже неожиданно хотелось в Венецию. Я писал ей, что на следующее лето папа снимет ту же дачу, и только от неё и от мамы зависит, приедет ли она снова на лето к

нам. Она писала, что это потрясающе, что я и представить себе не могу, как я её обрадовал, что у неё теперь совсем другие дни, и другой снег, и другие деревья, и на ветках рябины появились птицы, которых раньше она не замечала. Когда все твои мысли и занятия дня приправлены чувством безнадежности и тоски, как пресный суп кориандром, и вдруг в тебя пробивается неизвестно откуда взявшийся лучик. Писала, что думает о нашей деревне каждый день и представляет её зимой и маленького мальчика в армячке с санками: малыш уж отморозил пальчик, а я писал, что в воскресенье обязательно туда поеду на электричке и всё ей опишу — какая наша деревня зимой. И я правда ехал, снегу навалило по окнам с цветущими в них геранями, и они смотрели на огромные вокруг мёрзлые сугробы, как глаза из-под шапки снега на крыше. Даже мне идти было трудно, а она бы, верно, ни за что не пробралась до нашего дома. А она писала, что обязательно бы пробралась, что так всё и видит, и что валялась бы в снегу на морозе и кричала: Снег-батюшка, Россия-матушка, но сомневается, имеет ли она на это право. Что взяла в библиотеке кучу русских книг и читает Вяземского.

Когда отец спросил, где я был целое воскресенье и я сказал, что ездил в нашу деревню проведать дом, он так странно на меня посмотрел, будто вдруг догадался о чём-то, а на следующее воскресенье сказал:

— Ну, поедешь со мной дом торговать?

Взял и купил этот дом. Сначала они не хотели продавать, ожидали, что цены будут теперь расти на дома, но отец умел договориться, умел заплатить столько, чтобы люди соблазнились. Хотя никто тогда ещё и представить себе не мог, сколько этот дом будет стоить через десять лет на самом деле. Особенно если его оборудовать туалетом, ванной и АГВ. К чему отец незамедлительно и приступил. Антонида страшно радовалась и делала вид, что всё это ради неё.

Себя год тому назад ощущаешь таким же, как и сейчас, а между тем даже аэропорт казался смутно узнаваемым. Разве что отец был вроде бы тот же. Да девочка, похожая на рыжую пушистую кошечку, махавшая нам из толпы прибывших тем же самым рейсом, что и год тому назад, оказалась той же. Или казалась той же? — я смотрел на неё и не верил глазам, до того был заинтригован. В мозгу быстро завертелись разные схемы — как подойти, что спросить, и даже когда Кася уже подошла к нам, я всё оглядывался, выискивая в толпе её рыжую голову.

А вот Касьяна на этот раз была совсем другая: в чёрной какой-то экзотической майке с будто приклеенными обрезками цветной бумаги, в чёрных укороченных джинсах, коротко подстриженная, в моднейших солнечных очках — одним словом, стильная чувиха из Европы. Она не то чтобы выросла, но как-то стала телесней, что ли, хотя и оста-

валась по-прежнему тоненько-вытянутой, как стоймя стоящая в воде рыбка — мы оба были астенического сложения. Отец обнял её и надолго спрятал в своих больших объятиях, в глазах его чувствовались слёзы. Меня она корректно поцеловала в щёку, и всё, даже не посмотрела, по-моему, как следует мне в лицо. Не помню точно, но по-моему я первым же делом сказал ей:

— Вон та рыжая, в джинсовой безрукавке, видишь? Она и в прошлом году приезжала с тобой на одном самолёте, не веришь?

На что Касья ответила, поморщившись, будто от укуса неприятного насекомого, но со смехом — по-моему, деланным:

— Марианна! Хочешь, сейчас познакомлю? Она к бабушке на Юго-Западе. А потом поедет в Израиль — к другой бабушке. У неё родители в Праге временно. У них виза скоро кончается. Мы с ней познакомились в прошлом году в самолёте и переписывались по Интернету. Ужасная дура, между прочим.

Вот уж что меня нисколько не смутило! У нас в классе девочки были такие опилками набитые, но и отметки какие-то там получали, и аттестат, не было никаких сомнений, заимеют, а когда становятся у доски, в мини и с заведёнными к небу глазами, как у мадонны Мурильо, никто, по-моему, и думать-не думает, что у них там в голове, в том числе и наш математик.

— Вы же ищите тела, потому вы их и находите, — скажет она мне потом, через много лет, в момент моего какого-то по счёту мимолётного недовольства моей жизненной ситуацией, и только теперь, в свете всего случившегося, у меня есть основания подозревать, что она её, эту мою безвыходную жизненную ситуацию, воспринимала гораздо острее — да скорее всего, несравнимо острее, так что я и представить себе этого не могу — чем я сам, маявшийся тогда, на каком-то ещё не безнадежном этапе жизни смутными потребностями в чём-то высшем, Бог его знает в чём, принимаемом за это высшее, только что не сияющие монбланы Антонида. Избавился ли я от этой маеты или она переродилась в какое-то смутно и временами ощущаемое раздражение от всего и вся, от всего состава жизни, от А до Я — мне самому судить трудно, я никогда не страдал излишней критичностью по отношению к самому себе, скорее, считала Кася, излишне себя любил, что, как она полагала, поощряла во мне Антонида с самого детства дабы снискать мое благорасположение, и чем легко теперь пользуются достаточно сообразительные особы женского пола, держащие меня при себе на поводке поощрительности этой нежной, печальной, полной сочувствия и жалости к своим несовершенствам любви к себе.

Всё идёт мило, пристойно, годами, но всё равно рано или поздно наступает момент, когда тебе никто не может помочь, люди, живущие в замкнутости своих ежедневных чувств и интересов, становятся вдруг бесконечно далеки от тебя, когда ты перестаёшь — по каким бы то ни было причинам — быть определённой составляющей этих интересов и чувств, и тогда ты изо всех своих последних душевных сил уповаешь на Бога, но и там вдруг ощущаешь пустоту, безразличный к тебе закон, по которому и солнце-то светит постольку-поскольку: в зависимости от долготы и широты местности, космической зона, вселенской кухни, в продуктивный состав которой ты, твоя духовная монада входит так или иначе, жив ты или мёртв, в этом теле или в теле какой-нибудь беспризорной собачки, ни сегодня-завтра обречённой околоть где-нибудь под забором, с последней кроткой животной грустью глядя в никуда, в пустоту безлюдной ночи у мусорки. Тебе же обязательно нужен заинтересованный зритель, соглядатай твоей жизни, а вот что им непреложно является Бог — вот это попробуй-ка почувствовать каждую минуту и со всей ответственностью. Может быть, этого и не смогла выдержать Кася?

Во всяком случае, в то лето она красовалась собою, как только могла. Куда девалась её скромная пансионная ненавязчивость формы одежды — она каждый день меняла наряды, переодевалась по несколько раз в день: к завтраку, к обеду и ужину, причём вечером то и дело появлялась на нашей большой веранде то в длинном чёрном платье с открытыми плечами, то в белом, мерцающем в свете свечей шёлке, поощряя Антонида в её интерьерных начинаниях. Они необычайно подружились тем летом, всё время что-то обсуждая и листая дурацкие гляцевые журналы на непонятных для Антонида языках, которые по её просьбе понавезла Касья. У меня рябило в глазах от её купальников. Отец фотографировал её то и дело, уловив, очевидно, её повышенную заинтересованность в своём внешнем облике. Он стал заправским кинооператором, проявив недюжинные способности в этом деле.

Теперь, когда дом был весь абсолютно наш, Кася и Антонида увлечённо занялись его оформлением. Требованиям к отцу не было конца: то им надобилось ехать в Звенигород за диванами, креслами и шкафами, самое интересное, что руководила всем Касья — Антонида полностью положила на неё в расчёте на европейский результат, потом всё это надо было переставлять десять раз, и на это требовались люди, что правда, то правда, Антонида умела ловко управляться с людьми, и тут обходилось дело без отца, но потом вечером, когда он приезжал с работы, от него требовалось обойти вновь оборудованные комнаты и дать им оценку. Само собой, ему, как всегда, всё нравилось — своих желаний в этом плане он не имел. Кася жила теперь в просторной торцевой

горнице, с собственной дверью в цветник, которую они с Антонидой поменяли, вставив при этом в неё стёкла с узорчатым матированным рисунком, отчего в Касиной комнате стало солнечно и зеленовато от сочащегося сквозь листву света даже в облачные дни.

Однажды я услышал из её комнаты немыслимое ретро, сентиментальное до смешного, и заглянул без стука, слегка приоткрыв дверь. Она, облачённая в синее атласное платье в стиле тридцатых годов, заколов волосы фальшиво сверкающим зажимом, танцевала танго, держа позади себя на вытянутых руках струящуюся расцвеченную коричневыми цветами шаль, ни дать-ни взять театральная музей, и притом легко и здорово: дорожка шагов туда, лихой поворот, дорожка шагов обратно. Умора!

— Каська! — позвал я.

— Ну как? — обрадованно повернула она голову. — Хочешь, научу? Будем танцевать вместе!

— Нет уж, нет уж, уволь, пожалуйста! Я Фридрих Первый Барбаросса в танцах. Неужели не видно?

— Очень жаль, — сказала она. — А чем же ты будешь девушек завлекать? У тебя есть девушка?

И продолжала как ни в чём не бывало танцевать.

И пока я молчал, собираясь с мыслями, что бы такое ответить, чтобы скрыть, но в то же время и намекнуть, что весь этот год я считал своей девушкой её, она, как водится, совершенно ни к селу и ни к городу, заявила:

— Не хочу задавать тебе нескромных вопросов... Это потому что я всегда думаю, когда говорю. Я никогда не бываю излишне откровенна.

В тот год июнь, да и июль были пасмурны, довольно дождливы, и пруд долго не нагревался. Часто мы с ней целые дни просиживали на веранде, гоняя чай, пока к нам не приклеивалась Антонида, и тогда я убирался восвояси к себе на мансарду, где читал всю оставшуюся половину дня, до самого вечера. Она читала ночами и часто появлялась утром с книжкой в руке, причем отец непременно выяснял, что за книжка.

— Пастернак, — небрежно бросала Каська, и он одобрительно сунул бровь. Хотя мне трудно было представить себе, чтобы отец въезжал в Пастернака. Невозможно было также не заметить, что у меня он никогда не спрашивал, что я читаю — по крайней мере, уже давным-давно.

— Удивляюсь иногда, — говорила она мне позже, когда мы оставались одни на веранде. — Неужели другие могут, способны испытывать подобные моим чувства. Это же невозможно жить! А все живут — и ничего себе. Например, любовь. Разве можно вынести любовь?

— Выносят же люди, — уклончиво отвечал я, плохо представляя себе, что она имеет в виду: чего тут не выносить? Почему именно не выносить? В каком смысле — не выносить?

— Вот ты, например — если бы тебе случилось хоть раз незаметно втянуться в глубины той медленной, тихой до дрожи, вязкой, как океан, непрестанно меняющей цвет воды, у которой нет края, нет и не может быть счастливого конца, а только затягивание каждодневное, ежемгновенное всё дальше от берега, от людей, от жизни со всеми её смыслами и интересами, чтобы там, уже в безвозвратной пучине, подняв тебя на девятый вал какой-нибудь сущей мелочи, неожиданно открытой улыбки, окончательно и безвозвратно швырнуть в вечную преисподнюю поражения — вечную, пока живёшь, пока ангел небесный не смилостивится над тобой?

— Ну, во-первых, я даже не знаю, что такое океан, — рассудительно отвечал я. — Я на нём никогда не был.

— У уже попросила маму, чтобы она прислала тебе приглашение, только ещё мы с ней не знаем, куда. И потом — не на следующее же лето, правда? Ты ведь будешь поступать в колледж? Кстати, ты решил уже, кем будешь? Или пока будешь просто учиться?

Я, к тому времени и в самом деле находящийся в довольно раскоряченном виде по этому поводу, решил парировать вопрос:

— А ты?

— Буду просто учиться. Наверно, в Кембридже. Или в Берлине.

— Когда человек так много ездит, у него, наверно, такой большой выбор... Я имею в виду любовь. Не один — так другой. Правда?

— Ты хочешь сказать — не одна, так другая. Правда? — съехидничала она, и вдруг стала очень грустной, всё сидела на перилах и крутила головой. Потом сказала: — Ни с кем не интересно, понимаешь? Понимаешь, если говорить честно и очень-очень откровенно, то мои ноги и руки, моё повернутое всегда чуть набок лицо и, я думаю, мои довольно выпуклые веки — а я нарочно часто прикрываю глаза — должны казаться неповторимыми и единственно достойными внимания, и так каждая женщина, и когда этого не происходит, она удивляется. Женщина, когда её не любят, когда ею не восхищаются — она настолько подавлена, живёт такой депрессивной жизнью, что все её мысли, вся её, так сказать, философия, если можно так назвать в применении к женщине, столь зловещи, угнетены болью, что она становится опасна для окружающих. Это психическая террористка, шахид. У тебя слабая чувственность, — неожиданно заключила она. — И ты потому так благоговеешь перед маминой музыкой, перед этой так называемой серьёзной музыкой, что ты мало чувствителен к мелочам линий. Ты совершенно

не представляешь, что могут чувствовать люди, гораздо более тебя душевно одарённые.

Я не усмотрел ни малейшей логики в её рассуждении, но оно меня задело. Я даже не разговаривал с ней больше — что-нибудь до вечера.

Но через самое короткое время мы уже разгуливали с ней по нашим полям и я ей рассказывал, что хотел сказать Достоевский «Преступлением и наказанием». На что она живо реагировала, причём в своей своеобразнейшей манере, например:

— Я думаю, Аполинария Сулова что-нибудь такое творила непосильное для человека. Мужчины любят, когда их терроризируют чувственно. Потому что сами они грубы и вялы.

Я понятия не имел, кто такая Аполинария Сулова и при чем она тут, Кассиопея меня просто убивала своей органической неспособностью к логическому мышлению, но за всеми этими её широкими обобщениями я болезненно подозревал большой жизненный опыт, причём на неведомых мне просторах планеты — и я осторожно старался порасспросить хоть о чём-то, якобы имеющем законное ко мне отношение:

— А у мамы сейчас кто-нибудь есть?

Она останавливалась, срывала цветочек и начинала нервно тереть его в зубах.

— Ты понимаешь, Женя, маме очень не повезло в жизни. И не то, чтобы обстоятельства — обстоятельства самые благоприятные. Боюсь, я унаследовала от неё ужасную родовую черту: она в принципе небрачный экземпляр. У неё семь лет — и всё, фантомный образ, который она любила, угасает и в её бедных мозгах — это она так говорит, ты не подумай, что я её так уж не уважаю, — начинает проступать правда. А ведь единственное, что человеку нужно на свете — это любовь. Ты об этом ещё не догадываешься?

— Человеку так много чего нужно, как посмотришь на Антонида, — философически отвечал я.

— Ой, ты не понимаешь. Ведь папа её не любит, понимаешь? Она несчастная женщина. И держится молодцом. Зря ты так.

И откуда только она всё это знала? — о жизни, я имею в виду. Правда, я ведь это тоже знал — подспудно.

Тем не менее я спросил — раз уж она так хорошо разбирается в этом вопросе:

— А зачем же он с ней живёт, почему не выставит её на все четыре стороны? Всем бы сразу полегчало.

— Понимаешь, Женя, человек по первичной, низовой своей природе — животное. В нём действует плодородный инстинкт, который стремится к размножению. Разве не знаешь? Причём, что печально, он действует в

нём на протяжении всего репродуктивного периода, то есть почти что по гроб жизни. Когда люди любят друг друга — к этому добавляются ещё и общие духовные интересы, ценностное единобожие, ритуалы: чтение, концерты в филармонии, они не разделены, а связаны родом своей деятельности, которая, по сути, и есть служение этим общим богам — как у мамы со всеми, кого она любит. Тогда это духовный брак. Духовный брак — это храм этих самых богов. Но когда мужчине женщина требуется в первую очередь для воспроизведения себя — а это глубоко скрыто от поверхностного взгляда и выясняется только по ходу жизни — ничего этого нет, инстинкт выбирает чисто телесно, может быть, генетически, гены хлопочут о качестве потомства — биология. Биологический брак. В него нельзя вступать брату с сестрой, это инцест. Слышал?

Я кивнул.

— Глупо, правда?

— Разумеется, глупо, — важно согласился я. — Но при чём тут Антонида? Нас же отец уже народил? Чего ему ещё нужно?

— Не знаю. Может, ещё кого-нибудь народят. Денег прокормить хватит.

Это прозвучало так безрадостно, что я сразу понял: ей бы тоже, как и мне, не хотелось подобного пополнения, нас нам было, по-видимому, вполне достаточно.

— И потом, знаешь, как, оказывается, устроены многие мужчины — они сексуально распущенные козлы, женщина им нужна просто под боком, для бесплодного сексуального рациона, как корм для кролика. Это называется сексуальная эксплуатация. Тут нужен закон. И он вскоре будет, вот посмотришь. Женщины во всём мире поднимают голову. Только не бедная Антонида. Она очень жалуется, но и не думает сопротивляться. Женщины в России вообще очень подавлены, знаешь? Возможно, папа и не был бы таким козлом, если бы жил не в России. Разумеется, маме такой не подходил. Но это вовсе не значит, что такой козёл не способен полюбить по-настоящему. Тогда и начинаются драмы.

— А тебе встречались такие?

— Боже упаси, но мамина подруга Карин говорит, что таких подавляющее большинство.

«А что такое сексуальный рацион?» — хотел спросить я, но не решился и затаил в себе в качестве пищи для ума.

Однажды я спросил в одну из наших прогулок (пруд в том году ещё не вступил в свои права):

— Так ты знаешь телефон этой вот — как ты её назвала — Марианны? С которой ты уже два года как прилетаешь на одном самолёте? Она ещё не уехала в Израиль?

При этом у меня мелькнула мысль, уж не нужна ли мне эта Марианна в качестве сексуального рациона, но больно хотелось взглянуть на её рыжие волосы.

— Нет, не уехала. Хочешь пригласить её к нам на дачу? Я ей, кстати, обещала.

И мы отправили за ней служебную машину отца — Каське он, казалось, ни в чём не в силах был отказать, хотя Антонида пилил за эту машину и так и эдак:

— Пожалуйста, научись водить, получи права — сейчас же будет тебе машина, и ездят сколько угодно и куда угодно. Нет, ленивы и нелюбопытны, а наглости — хоть отбавляй.

Марианна приехала в не жаркий, но и не особенно дождливый день, в субботу, и, казалось бы, всё замечательно: Антонида даже договорилась с бывшей хозяйкой дома, что та будет подавать за обедом, что практиковалось по субботам и воскресеньям, дабы обедать всей семьёй за большим столом с белой скатертью и столовым серебром, от чего Антонида просто-таки кипятком писала.

Сначала мы слушали музыку у Каськи в комнате, они болтали о совершенно неизвестных мне американских знаменитостях: у кого какой нос, голос, длина ног и так далее. Я слушал и делал соответствующие выводы: вот что, значит, требуется от мужчины: голос, длина ног, нос и так далее. И ещё кто как одевается. Я-то одевался в то, что покупала мне Антонида, и в общем, у неё был глаз-алмаз в отношении меня и отца, но иногда она загибала такое, что я наотрез отказывался надевать, и у меня в шкафу было полно таких фуфаечек, маек, кожаных курток и жилеток, к которым только красного гребешка поперёк башки не доставало. А тут я пошёл к себе в комнату под видом того, что мне стало жарко, и напялил на себя одну из Антонидиных забубенин, так что Каська остановилась на полфразе и захлопала глазами. Марианна же восприняла мой вид как ни в чём не бывало, и мы пошли показывать ей пушкинскую усадьбу, парк, наши любимые тополя, и когда выходили из дому, Каська приотстала со мной в дверях и тихо шепнула на ухо:

— Только не вздумай ей декламировать Фета, это тут абсолютно не хилает.

Я подивился Каськиным лингвистическим успехам, как и тому — где она могла понахвататься, неужели от меня? — но сделал соответствующие выводы и старался побольше помалкивать.

Что придавало мне поначалу некоторую скованность.

— Какой молчаливый у тебя брат, — не замедлила себя ждать оценка гостя. — Скромный, наверное?

— Женя? — Каська остановилась и окинула меня с ног до головы насторожившим меня чуть ли не насмешливым взглядом: мне вдруг стало всё противно — и то, что я заговорил о Марианне, и то, что побежал переодеваться, словом, всё, всё, всё. Я почувствовал себя ничтожеством. — Женя — классный парень, таких ещё поискать, — отрекламировала меня Каська деланным, ненатуральным тоном, каким она теперь говорила с Марианной на жаргоне.

Что меня сразу впечатлило, когда она вышла из машины, так это количество браслетов у неё на запястьях — на обоих. Какие-то бусики, цепочки, металлические ободки с насечкой, просто кольца с подвесками — похоже, ничего настоящего, но цветисто, как на выставке египетских древностей: смальта там, скараabei, золотые прохудившиеся от времени венцы, украшенные драгоценными камнями, а тут всё новенькое, весёленькое, как ёлка. Она ещё совершенно не загорела, хотя был август на носу, и кожа отдавала перламутровым отливом. Колец было тоже бесщётно, на всех пальцах, даже на мизинце. Когда мы показывали ей дом, она спросила, как бы невзначай:

— А ты где спишь?

Я кивнул в сторону мансарды и неожиданно почувствовал какие-то странные колики в паху, в голову вползла, как молодой огородный уж, чёрная мысль о пятнах на простыне, смысл которых объяснила мне некогда Антонида, обнаружив их, следующим образом:

— Ты мальчик. Понимаешь, ты маленький мальчик. Это естественно. Что естественно, то не безобразно. Девочки устроены по-одному, мальчики по-другому. Так распорядилась природа. Ей так надо, чтобы у мальчиков, пока они маленькие, разрабатывались каналчики семяиспускания, чтобы потом они стали когда-нибудь папами. Понял?

Тогда мне казалось, что я понял, и я кивнул с чувством даже некоторой тёплой признательности к ней за такое её вкрадчивое, деликатное участие, и действительно, стал относиться более или менее спокойно к этим пятнам, иногда припоминая ночные сновидения, полные какой-то тревоги и обязательно с погоней. Но в основном спал я достаточно беспробудно.

И ещё благодаря не ахти, может быть, какому объяснению Антониды я стал обогащать всё читаемое в книгах представлениями о том, что за самым разсамым романтическим объяснением, скажем, Фабрицио дель Донго с Клелией перед тем, как ей уйти в монастырь, стоит семяиспускание — и что из-за этого-то самого семяиспускания и происходят все поединки, дуэли, отравления, «молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

и вообще все жуткие трагедии мира. Что казалось мне не очень оправданным — у меня, во всяком случае, эти малоприятные и неожиданные пятна на постели не вызывали таких уж душераздирающих эмоций.

И уж к Каське, понятное дело, не имели ни малейшего отношения.

А вот Марианна — одним своим невинным, казалось бы, вопросом: «Где ты спишь?» — запустила в меня маленького чёрного ужика неясной тревоги тех самых забытых ночных сновидений, сопровождающих пятна, и паховых коликов. Поэтому Каськино предостережение насчёт Фета оказалось излишним: мне самому было не до него. Хотя скорее всего — с удивлением подумал вдруг я — и за его утончённо-страстными стихами стояло семяиспускание. Так уж устроены мальчики.

Дождливое лето разрослось светлой, струящейся, как вода, непомерно густой и пышной зеленью, день был тёплый, влажный воздух мутил рассудок поздними отцветающими липами, возбуждение моё всё росло от этих звенящих железок на запястьях у Марианны, от её перламутровой русалочьей кожи на фоне ивовых зарослей на берегу за пруды, от блеска её зелёных нефритовых глаз, подёрнутых маслянистой плёнкой, будоражащей чёрного ужика, и, наконец, достигло какого-то никогда прежде не испытанного мною накала, когда она молча резко повернулась ко мне в сумрачной парковой аллее, пока Кася, шедшая впереди, со светской вежливостью вкалывала экскурсоводом, и я буквально наткнулся на её переливчатое лицо, тонущее в роскоши её тёмно-рыжих волос; оно показалось мне огромным, затмевающим всё на свете, включая приличия. Оно представляло для меня в тот момент, несомненно, всё мироздание, ничто не имело смысла, кроме него и того, о чём говорили эти подёрнутые сальной плёнкой нефритовые глаза: что мы связаны, помолвлены этим взглядом, мы у ж е пара, кто бы там и что не вздумало нам препятствовать, для нас не может быть никаких преград, мы всё снесём на своём пути.

Но день тем не менее продолжал идти своим чередом, Каська рассказывала, рассказывала что-то там про детство Пушкина, про необыкновенную красоту Натали и неожиданно спросила у Марианны:

— Да ты хоть знаешь, кто такой Пушкин?

Марианна снисходительно засмеялась, ничуть не поколебленная её вызовом:

— Да я знаю, знаю, что русские на нём помешаны. Даже мне бабушка давала его сказки почитать — «Руслан и Людмила», кажется, ещё там что-то такое, даром что еврейка. Чехи так с Кафкой не носятся, как русские с Пушкиным.

— А ты разве не русская? — с деланным удивлением сузила глаза Каська.

— Да кто его знает, — совершенно безразличным тоном ответила Марианна. — Немецко-чешско-еврейско-русский коктейль.

— А кем ты себя чувствуешь?

— Женщиной! — рассмеялась Марианна, повернувшись ко мне с заговорщицким видом. — Это интернационально, правда, Женя?

Я тоже рассмеялся, будто солидаризуясь с нею в этом — что будто тоже чувствую себя женщиной, а никаким не русским.

— Странно, — задумчиво сказала Каська. — А я так страдаю по этому поводу. Это так больно — быть русской. Неужели и ты этого не чувствуешь? — с укором обратилась она ко мне, как бы презрительно, гневно, с переполненной отчаянием душой уличая в предательстве.

Я смутился и остальную часть прогулки старался помалкивать, рачительно сохраняя в себе драгоценное знание главного на тот день.

Отец поджидал нас у ворот нашего «поместья», как выразилась Марианна, увидев наш дом: «Такой поместительный». Он делал вид, что ничего особенного не случилось, просто вышел подышать, но мне показалось, что он не мог нас дожидаться. Предупредительно взял у Марианны из рук зонтик и пропустил её впереди себя, отчего у меня заняло под ложечкой. Уж не считаешь ли ты её уже своей добычей, отрефлектировало сознание. Какой атавизм!

За обедом я чувствовал себя идиотом, сидя, как обычно, по одну сторону стола с Каськой и не зная, как поухаживать за Марианной поэлегантней, и протягивал ей одну салатницу за другой, не обращая внимания на Антонида, которая так и водила следом за ними глазами и вздымала брови.

Наконец, мы остались на веранде одни — то есть почти одни: я, Кася и Марианна. В саду зажглись тускло-жёлтые, будто задымлённые фонари в человеческий рост, установленные вдоль дорожки от ворот к дому, последняя придумка Антониды, на столе курился противокомариный фимиам с терпким сандаловым запахом, цвиркали не то сверчки, не то кузнечики, брехали деревенские собаки — говорить было не о чем. Сидели молча. Что-то надо было делать, но я не мог ничего придумать. Первое движение произвела Марианна, сказав:

— Пойду. Находилась, надыхалась. Спокойной ночи. Женя, надеюсь на поползновения с твоей стороны! Смотри не робей.

И засмеялась таким нутряным, таким кошачьим смехом, просто как на мартовской крыше. Я вскочил, потом сделал вид, что это я просто встаю, когда дама выходит из комнаты (не в состоянии припомнить при том, вставал ли я вообще когда-нибудь, когда какая бы то ни было дама, в том числе и эта, входила в комнату) и сел снова на перила веранды.

— Ну так и что ж ты? — натянуто спросила через некоторое время Кася.

— Что? — сделал вид, что не понял я, и у меня возникло чувство, что я лгу ей, и по этому чувству я определил, что лгу ей впервые.

— Робеешь, говорю, что же ты? — в её голосе звучала уже явная недвусмысленная насмешка.

— А ты думаешь, она серьёзно? — в голосе неожиданно проскользнула предательская хрипотца.

— Я думаю! — сардонически вскричала сестра. — Я, да будет тебе известно, вообще ничего по этому поводу не думаю, я думаю совершенно о других вещах, если ты мог заметить, я на всё смотрю *sub specie aeternitatis*. Ситуация жизни — она вообще безвыходна: с того самого момента, как твоё запястье обвязали клеёнчатой биркой, обозначающей, что ты вошёл в ситуацию свободы — твоей индивидуальной, ограниченной твоими телесными и умственными возможностями, и будь добр, реализуй её, эту свободу, в четырёх стенах своей социальной конуры — или с балкона. Тебе никогда не хотелось с балкона? Не на балкон — с гитарой под полою — а с балкона? А ведь это и есть крайнее проявление свободы, если подумать, абсолютное, свободное от каких бы то ни было предрассудков жизни, в том числе и религиозных. Выход в открытый космос — без скафандра. Растворение в Боге, возврат в межзвёздную взвесь первоначальных возможностей, в моём конце моё начало, окончательное и бесповоротное прощение всех и вся, инцидент исперчен, я люблю вас, Лиличка, какие могут быть проблемы, да хоть и не вас, хоть кого-нибудь — дайте мне, пожалуйста, кого тут ещё можно полюбить, столько проб пера, а всё без толку, а что значит — прожить жизнь с толком? А? Ты думал об этом? Я спрашиваю, ты вообще о чём-нибудь уже в жизни думал, или ты только книжки читаешь? Чижик-пыжик. Когда исчезают один за другим все люди, которые приносили тебе радость, или исчезают, или трансформируются в какое-то далёкое интернетное ничто — ничто по отношению к тебе... Какой тогда смысл в клеёнчатой бирке, спрашивается? — Смотри на травку, на солнечный блик, на игру воды... А когда ни травки, ни солнца, ни воды — всё вытоптано, изгажено, перевёрнуто в твоём бедном не справившемся мозгу, одна энергия отчаяния...

Я как-то давно уже не понимал, что у неё там к чему, а она всё говорила и говорила. И уйти было неудобно — и спать хотелось, и было как-то... всё это не то, ни к месту, ни к чему. Бедная Касья! Неужели она чокнутая, как и мама (о чём я давно подозревал). Надо было как-то тихоньку смыться и, вернувшись, когда её не будет, что-нибудь пред-

принять насчёт Марианны. Её как раз поместили в комнате, окно которой выходило прямо на веранду, в сущности, если бы не было тут сейчас Касья, можно было бы подойти к этому окну и тихонько помяукать. И я сказал:

— Ладно, Касья, небось, мешаем спать твоей знакомой, надо идти.

Она повернула ко мне голову, будто проснулась от лунатического сна — а перед тем она смотрела, по своей привычке, в сторону потухающих постепенно на небе последних растворённых в тучах, как северное сияние, закатных искр — и сказала:

— Да, да. Прости меня, пожалуйста, совсем тебя заболтала. Я понимаю, тебе не до этого.

И быстро ушла.

Я тут же на цыпочках подошёл к окну Марианны. Оно было закрыто, только фортка слегка шевелилась от ветра. В комнате было темно. Светлели перед стёклами задёрнутые занавески, отдавая мертвечиной. А что, если войти в дом и подойти к двери, вдруг она не заперта? — мелькнула мысль, но я тут же её отверг, так как представил себе, что в коридоре ни с того ни с сего появится Касья и засмеёт меня. В голове стучало. Я встал одним носком кроссовки на край оконной рамы и подтянулся к форточке, больше всего на свете боясь грохнуть стекло. Рука доставала только до верхнего шпингалета, до нижнего — никак. Но когда я его опустил — он тихонько звякнул, соседская собака залаяла, занавеска шевельнулась и меня схватили прямо за руку:

— А, попался, бр/ульянтик!

Касья! Касья или Антонида — как пить дать! Но как они могли здесь очутиться? Я попытался выдернуть руку — её держали цепко и хватко мясистые девичьи пальцы.

— Ну, что будем делать? — спросила Марианна, которую я успел уже разглядеть в отсвете туманно-жёлтых Антонидаиных фонарей. — Так и будем висеть, как мучения святого, на форточке — или отпустить? Только не вздумай удрать, не так страшен чёрт, как его малюют.

И она открыла окно.

На меня тут же обрушились её телесные запахи — тёплые, потноватые, удушающие, животные, смешанные с будоражащим остаточным ароматом терпких прогорклых духов, целый неброский букет, но тем не менее, уж не знаю почему, сознание это или природа, характер или недостаточная начитанность — или не то читал, все мы не то здесь читали, не то смотрели, не то слышали — дальше дынной сладости поцелуев и изучения запретных уголков её мягкого тела я в ту

ночь не отважился заплыть, а на другой день её увезли. Я едва не забыл обменяться с ней е-мейлами.

Почти ничего не помню, что происходило той зимой с Касей, — я думал только о Марианне: её тугих ногах, пухлой, как у пупса, груди — которая потом, с возрастом, превратилась в тяжёлое вымя, размером которого Марьяша была весьма довольна и горда; что до меня, я время от времени принимался размышлять на эту тему — в разные периоды наших с ней — а также с Каськой — отношений и под разным углом зрения: у Каськи грудь была худая, немного даже впалая, встречались на улицах почти детские, оттопыривающие свитерки тощенькие холмики с пупочками, обозначающими худосочные сосочки, встречались раздавленные вширь и вдаль груди то ли кормилиц волчиц, взрастивших Ромула и Рэма, то ли буфетных стоек на рояльных ножках — до чего же изобретательна природа! И главное, зачем ей такое разнообразие форм молочных желез — вот чего я не мог взять в толк, в чём тут изюминка, философия вопроса, его функциональная сущность! Я даже не помню, переписывались ли мы той зимой с Каськой по е-мейлу, и о чём она мне писала. Тем более — я ей. Разумеется, дежурные поздравления с Рождеством, днём рождения (отнюдь не общим, так как она, как известно, появилась на свет следующим числом после меня), ну что там ещё? — как сдаёшь экзамены, куда собираешься ехать учиться, что решила мама, передавай ей привет и скажи, что я очень радуюсь каждому её звонку, — вот, пожалуй, и всё, что вспоминается теперь, по прошествии всех этих лет.

Моя дорога была определена задолго — институт, который в своё время окончил отец, его знакомые, понятный порядок действий, но лето тем не менее более или менее пошло насмарку: сидел в городе, занимался, сдавал экзамены. Август провёл на даче, скучно, с родителями, то есть — с Антониной и отцом, Марианна написала два письма за лето, в последнем из которых сообщила, что едет в Италию с подружкой и её бой-френдом, и пропала. Кася уехала в Кембридж. Так решила мама. Получив необходимое количество баллов для получения стипендии, тут же устроилась работать на местную почту — переводить надписи на конвертах и соответственно сортировать корреспонденцию. Теперь она снимала комнату вдвоём с какой-то русской девушкой, приехавшей из Москвы как бы к родственникам, а на самом деле имевшей с ними весьма отдалённые отношения.

И только когда начался учебный год — первый студенческий год моей жизни, что я и счёл достаточным основанием для того, чтобы отвязаться от опеки Антонины и не ночевать дома, я пустился во все тяжкие

своей кипучей студенческой жизни. Конечно, для этого также пришлось подрабатывать, но это не составило для меня проблемы благодаря тому, что отец не замедлил с выполнением своего обещания насчёт машины, и несколько часов в день я занимался извозом голосовавших на обочине. Так я начал чувствовать и узнавать людей, сначала — по тому, какие слова они говорят, пусть самые краткие и необходимые, что в реальности происходит крайне редко, потом по их виду, потом — по запаху, исходящему от них, когда они только подходят к краю тротуара.

Потом — началось: как-то одна молодая женщина попросила меня — «по-дружески» — помочь донести ей до квартиры пакет, потом другая, потом они, думаю, так же, как и я, стали определять, уже подходя к машине, пахнет ли от меня мужчиной — и, видимо, приходили к выводу, что пахнет. То же самое на вечеринках — а теперь я шатался со своими приятелями и по ночным клубам, когда появились деньги, и мне не терпелось обрушить весь свой опыт на Марианну, которая должна же была появиться где-нибудь и когда-нибудь в конце концов — её московская бабушка, слава тебе господи, была довольно молода, сама разъезжала по родственникам, благо появилась такая возможность, и вовсе не собиралась откидывать копыта. Я всё не мог забыть её пухлую, как у пупса, грудь. Марианны, разумеется, а не её бабушки, которой никогда не видел в глаза, так что не мог даже судить о генезисе прелестных желез.

Наш курс, на который совершенно разными путями просочились совершенно разные люди, трудно было назвать «учащейся молодёжью» наподобие тридцатилетних парижских таксистов русского происхождения тридцатых годов, хотя мы и были, возможно, обломками и жертвами не менее катастрофического тектонического сдвига нашей сейсмоопасной матушки и многие из нас несли на своих физиономиях и повадках печать той же растерянности и серьёзности, какая отличает поколения, рано увидевшие что-то вроде крови человеческой хищности — в прямом или метафорическом смысле. У людей в возрасте, в основном, от семнадцати до двадцати лет за прошедшие колоссальные годы уже настолько расслоились представления о жизни, жизненные программы и мировоззренческие обоснования, что дружб по духовному родству почти не возникало — группировались по деньгам и степени циничности. Да и я бы и не пришёл ни к каким таким уж выводам, если бы не успел почитать то, что исходило от Кассиопеи и о чём ни сном ни духом не ведали мои сверстники: «Посев», Поплавского, Фёдора Степуна, Бицилли и т.д. Поэтому вся окружающая полемика, в том числе в наивных «демократических» изданиях, казалась мне детски-примитивной, интеллектуально незрелой, хотя сам я и не собирался транжирить своё серое вещество на что бы то ни было столь же

беспутное, как современная русская политика. Я был захвачен эмоциями совсем другого толка — мне не терпелось стать полностью взрослым, независимым от семьи ни в экономическом (что самое трудное), ни в этическом смысле. Отец мой в молодости был, насколько я понимаю, таким совковым романтиком от НТР хрущёвского разлива, он стремился узнать — вот именно «узнать» — как можно больше о поэзии, о музыке, о живописи, таскался на литературные вечера по библиотекам, на Вячеслава Сомова, в консерваторию, на Московский кинофестиваль и на художественные выставки. Сейчас я довольно плохо себе представляю, как всё это происходило и откуда у него было столько времени, но будучи уже начальствующим болваном и не имея, полагаю, никакого сексуального опыта, он влюбился — вот именно влюбился, по всем законам жанра — в конкурсантку конкурса им. Чайковского, таскал ей цветы на все три тура и в конце концов они поженились. Вряд ли он тогда менял каждый день чистые воротнички, да даже трусы и носки его тех лет подпадают у меня под большое сомнение. Скорее всего, ходил в свитере и каких-нибудь шевиотовых штанах советского производства, относимых раз в год в химчистку. А все кумиры его молодости как раз об эту пору стали сваливать потихоньку за бугор, в том числе и наша золотая мамочка, прихватив с собой каким-то невероятным образом Касю — через международные судебные инстанции, уже будучи официально замужем за австрияком, этим самым дирижёром Витбергом, лицом с европейской известностью, так что отцу, вероятнее всего, в определённых органах присоветовали отдать ребёнка дабы не расстаться с должностью или что-нибудь в этом духе (вот это я представляю себе довольно живо, хотя отец никогда не вдавался в подробности по поводу того, как матери удалось вырвать из Союза Касю. Меня удивляет только одно: как у него хватило смелости и сообразительности вовремя стать одним из совладельцев своего производства — под видом того, твердили они тогда, бия себя кулаками в грудь, что его — производство — надо спасать). Нынешние же сосунки, мои одноклассники, одни ещё розово верили в любовь, добро и дружбу, совершенно растерянно не представляя себе, как им существовать в условиях новой хватательной морали на те копеечные доходы, какими располагали их родители и не умея добыть ни копейки в злобе всё лютеющего дня, другие смело и с открытым забралом шли на спекуляцию чем угодно и в каких угодно формах, трезво отдавая себе отчёт в том, что образование — это те спецзнания, которые помогут в будущем обойти на повороте нынешнего обзаведшегося мерседесом ещё в семнадцатом пригредшего хама с обрезом в мозгах и ТТ за поясом. Одни шлялись на митинги и под танки, другие не обращали на

всю эту ерунду никакого внимания. Третьи, их было также не мало, к ним, наверно, могу отнести и себя, считали, что всё это пена сиюминутности, существующая всегда в том или ином виде, неважно, в каких условиях ты родился, жизнь — это игра в заданных обстоятельствах, и надо пытаться вырвать в нужное тебе русло. И что это и есть, собственно говоря, свобода. Нужное же тебе, именно тебе русло — вот это и есть альфа и омега вопроса, и тут надо не пасть жертвой стереотипа. Вот и вся философия, ан попробуй! И я стал пробовать, как уже говорил, с первого же семестра.

Когда Кася приехала в следующий раз, будучи студенткой Кембриджа, я едва её узнал — с короткой стрижкой, с каким-то крохотным, чуть ли не кукольным рюкзачком за плечами, обклеенным странными — будто штопка — слоганами вроде die to-day или be decent unhappy и ещё что-то в этом роде. Казалось, она ещё вытянулась и похудела, хотя мы с ней по-прежнему оставались почти одного роста. Я не встречал её в аэропорту — было жарко, не было настроения и я точно знал, что Марианна не приезжает на этот раз одним с ней рейсом, потому что Касья прилетала из Хитроу. Так что отец послал было за ней шофёра по телефону из офиса, но тут вдруг неожиданно мигом натянула жакет Антонида и быстро юркнула в машину, так что они приехали на дачу, дело было в начале июля, сидя в машине обнявшись, и Касьякина маленькая очень коротко стриженная белобрысая круто покрашенная головка была туго втиснута в Антонидину шею, как раз под подбородком.

Наша дача к этому времени преобразилась в двухэтажный коттедж за кирпичным забором, опоясанный прерывистой галереей, но по-прежнему имелся чердак, то бишь мансарда, в которой по-прежнему обитал я — один, и чтобы никто не смел туда даже носа совать, что бы там ни происходило и какие формы не принимала бы моя личная жизнь, пусть я привезу туда девушку, две, три, компанию приятелей — всё это должно было их не касаться. Антонида смиренно подчинилась (в городе я давно уже квартировал отдельно от них, и ощущение того, что на дачу к ним я приезжаю в гости — к добрым дядюшке с тётушкой — было полным. Отец не подавал виду, что имеет какое бы то ни было эмоциональное отношение к этим фактам, Антонида сначала даже взялась было плакать, но после того как я несколько раз устроил довольно резкий афронт, пояснив при этом, что притворяться и продолжать играть мамочку в данной ситуации глупо — это уже ничего не изменит и ничего ей не даст, так как всё уже и так её, и нечего беспокоиться, она действительно и довольно моментально вяла и успокоилась). Так что Кася, приехав в бывшую пушкинскую деревеньку, ничего там не узнала — всё было застроено такими же самыми двух и трёхэтажными коттеджами, от дере-

вянной исторической декорации не осталось и следа. Но пруд существовал. И река протекала.

Первые дни её пребывания на даче мы говорили на довольно отвлечённые темы — она рассказывала об очередных маминых неудачах с контрактами и в личной жизни, описывала порядки в университете, которые её, похоже, вполне устраивали но в то же время не вызывали у неё никакой кипучей вовлечённости: она жила в одной комнате всё с той же девушкой из России, с которой подружилась сердечно, но мало находила общих интересов, прирабатывала на почте и много времени проводила одна, чаще всего — разъезжая на велосипеде по прославленным окрестностям или просто бродя по Лондону, никого там не зная и не заимев никакой компании. Тем более не заимев бой-френда.

— Моя душа очень долго не могла смириться с жизнью в этом теле. Ещё в четырнадцать лет я в первый раз пробовала отравиться...

Я отвык от её открытости, от странного неприкаянного вида её христианских душевных глубин, совершенно чуждого всяких приличий, сдержанности и соблюдения хотя бы видимости силы и самостоятельности, защищенности — чтобы окружающим nepовaдно было каким бы то ни было образом воспользоваться всем этим в своих мало ли каких целях, и ждал удобного момента, чтобы как-нибудь дать ей это понять:

— Каська, ты должна понять, что ты уже взрослая девушка и, в сущности, за тобой ничего не стоит такого, что могло бы тебя защитить от людей — ни какого-нибудь сверхъестественного богатства, ни влиятельной семьи, пора начинать сооружать себе броню.

— Из чего? — она уныло ковыряла прутиком воду, мы как раз сидели на берегу, в том самом розово-дымчатом предзакатном свете, при котором всё становилось ирреально-кассиопейным, забытым мною напроц, как у Борисова-Мусатова, но теперь не вызывало у меня никаких особенных эмоций.

— Из себя. Из инстинкта самосохранения, плюс хитрость и ум.

— Всё равно низшее побеждает высшее, как и низшие высших. Оно фундаментальней. Они фундаментальней. Они — соль земли.

Уж не обо мне ли это говорилось — обо мне и ней? Но тогда мне и в голову не пришло ничего подобного. Я чувствовал себя неизмеримо выше — я умел жить, у меня не было недостатка в женщинах, это не было для меня, как для многих знакомых мужиков, большой темой, я был уравновешен, молод, силен, в то время как она — истощена, нервна, болезненно откровенна.

— Тебе следует срочно заняться любовью с кем-нибудь из моих приятелей. Это укрепляет мышцу жизни.

— Для меня любовь — это то, что в душе, а не то, что в постели. Так что любви мне вполне хватает, ты разве не знаешь?

— А то, что в постели, — вообще что ли не любовь?

— Ну, это у кого как, — засмеялась она (у неё появился явственный английский акцент) — У тебя, братец мой, не знаю: чужая душа потёмки.

— Можно подумать, что это ты совок из консервной банки целомудренной и достопочтенной Софьи Власевны, а не я, бывшая жертва социализма.

— Ну уж нельзя же вообще — жить в монастыре и не мастурбировать. В монастырь уходят, чтобы не страдать от пошлости мира, не смешиваться с ней, чтобы любить чисто — кого сама захочешь или измыслишь, и в нём или в ней — Христа. Любить всем позвоночным столбом, а не только нижними чакрами. Но когда муладхара совсем атрофируется, тоже нехорошо, возьмём Владимира Соловьёва, усыхает кундалини, становится, как дохлая змея, — и человек чахнет, заболевает, погибает телесно. Что конечно ничего не значит для чистоты его духовной монады. Христос есть жизнь, есть любовь вечная, есть высшее напряжение духа...

Я бабдел от неё — до того она приехала чокнутая в тот раз. Уж не заделалась ли она лесбиянкой?

— Такие разговорчики вы ведёте что ли в студенческих кампусах там у себя в Европе? Сплошное неприличие. А ещё говорят, что мы становимся безнравственными, материмся. Так лучше уж простодушный мат, чем этакая протиеестественная ахинья.

— Послушай, Женя, что я тебе скажу! Я могу говорить всё что угодно даже на площади — у меня нет ни в душе, ни в жизни ваших мерзких тайн. У меня нет даже альковных тайн — мою любовь всю, от зари до зари, можно писать на иконе. Этого-то вы все, мясные, и не выдерживаете — ночных приключений с облаками.

Что я ей сделал, что она так на меня разозлилась? — я понятия не имел, но разговаривала она в этот приезд со мной как-то странно, будто всё время в чём-то меня упрекая, чего я понять ни в малейшей степени не мог, да и не стремился. Тем более, что я уже не был тем одиноким много читающим мальчиком-школьником, у которого не было друзей, не было занятий и интересов, и которого глодала внутренняя пустота, недостаток жизненного движения, чем страдало большинство советских слишком домашних детей. Сейчас всё было по-другому: я был страшно занят, даже летом — я уже работал на фирме, по договору, и мне всё время требовалось выполнять какие-то свои договорные обязанности, так что я иногда, как раньше отец, приезжал на дачу только на уикенд, да и то не всегда. Каська поначалу явно набивалась ко мне в

гости на городскую квартиру, но мне это было не с руки — я не хотел, чтобы семья вторгалась в мою частную жизнь, ещё расскажет что-нибудь невзначай Антониде: что там у меня и как, я этого вовсе не хотел. Я хотел, чтобы моя частная жизнь была неприкосновенна, чтобы никто никогда не затрагивал темы моего образа жизни — я хотел быть абсолютно свободным и ни перед кем не чувствовать себя не то чтобы виноватым, но даже ни малейшей неловкости. Хотел — у меня неделями могла жить одна и та же девушка, потом она по каким-то причинам могла исчезнуть, хотел — мог пригласить подругу или приятеля в любую минуту дня и ночи, хотел — мог привести в дом с улицы вообще незнакомого человека, и это никого не должно было касаться. И я не хотел, чтобы всё это вынюхивала Касья и через неё какие-то подробности просачивались в семью.

Но вот в середине августа, приехав однажды к ним на дачу, я застаю там хриплую русую блондинку в очень открытой майке и без лифчика — Кэт, с которой Кася снимает квартиру в Кембридже: Катю из Архангельска. Она встречает меня строгим аудиторским взглядом, моет после ужина посуду на кухне, подметает пол в моей комнате, словом, ведёт себя по-хозяйски. Разговаривает она быстро, с напором, в ней чувствуется огромная энергия жизни, витальность. Её серый глаз в крапинку постоянно отслеживает мои движения по комнате, с кем бы и о чём бы она ни говорила. Антониде она рассказывает про Лондон: Пикадилли, Хэмпстед, Ноттинг-Хилл и всё такое, отцу — про систему аспирантуры в Кембридже, куда она метит, с Каськой она общается взглядами и жестами, и та слушается её, как собака.

— На самом деле очень серьёзная девушка, пишет магистерскую диссертацию по Александре Коллонтай, — сообщает мне Кася.

Я и так сразу улавливаю её феминистский взгляд на интересующие меня вещи: если мне нужен мужчина, то только от головной боли, и никакой эмоциональной зависимости — и мы уезжаем вечером в воскресенье вместе, я берусь её подвезти, разумеется, ко мне на квартиру. Позже Касья звонит ей по мобильнику, и я слышу следующий текст:

— Спасибо дорогая тётке Шуре гораздо лучше Женя меня подбросил до метро я успела как раз вовремя сейчас пью чай ещё не погуляла с собакой да ничего я не боюсь я даже в Архангельске ничего не боялась чего мне вообще бояться в жизни ты же знаешь *be decent unhappy* и всё всегда будет о'кеу никогда ничего не жди от человека и получишь гораздо больше чем ожидаешь все мы братья по сексу и больше ничего не переживай глупышка что твой брат ничего не знаю про твоего брата поехал к себе домой кажется в Выхино бедный малыш мне он понравился в меру упитанные мозги всё в меру дорогая как жаль что ты родилась на

другой день была бы такая же нормальная целую не смей выходить под луну помни я тебе это категорически запрещаю пожалуйюсь на тебя Джереми он лишит тебя причастия и не будем играть в Бога не читай допоздна целую мою хорошую малышку будь умницей очень люблю

— Кто такой Джереми? — почти что машинально интересуюсь я.

— Священник. Кася собирается перейти в католичество.

— Вот как! У них что, роман?

— С его стороны, может, и да, с её стороны — пожалуй, и нет. Слушай, жизнь вообще один всеобщий очень запутанный роман, где все любят друг друга, но всегда безответно.

— Но вот мы же с тобой в данный момент разве не полны взаимности?

— А кто это может измерить, дорогой, кто?

— Естественно, только наши самые ранимые органы, только они.

— А какой у тебя орган самый ранимый?

— Ну, естественно, тот же, что у тебя. Тут между нами полное равенство, можешь не сомневаться.

— А вот у Каси совсем другой. И ты для неё совсем не то же, что она для тебя.

— Один человек и не бывает для другого тем же, чем тот для него...

Это невозможно! Даже если они пятнадцать лет состоят в браке, как отец с Антонидой. Даже если тридцать. Даже если пятьдесят.

— Вот я и вижу, что если люди полчаса не могут прожить без того, чтобы не позвонить друг другу или не написать по e-мейлу, это совсем не то же самое, как если они могут обходиться друг без друга годами, спокойно, как того, другого, и не бывало на свете. Так, как у тебя с Касей.

— Мне, например, чаще всего звонит мой напарник по бизнесу. Это как понимать?

— Это надо понимать так, что ты такой прямой, как палка, и тебя как уютно может обработать какая-нибудь дошлая бабёнка.

— Ну уж. Может, попробуешь?

— Мне это совсем не надо, дорогой. Мне мужчина нужен только от головной боли, больше ни для чего.

— Это я уже сегодня слышал. Причем, кажется, не один раз, что похоже на мантру или заговор от злых духов.

А Касья ездила в то лето везде с отцом и с Антонидой и, кажется, заменила им то, чем был когда-то для них я. Так что я был рад за отца — он водил их на какие-то летние вернисажи, брал с собой на банкеты, покупая для каждого из которых Касье новое вечернее платье. Он даже выглядел счастливым, чего я не наблюдал ни разу в жизни и даже не представлял себе, как это может выглядеть. Не думаю, чтобы это приносило Касье столько же радости, сколько умела извлекать из этого

Антонида, но да раз время жизни имеет какую-то определённую протяжённость, надо же что-то придумывать каждый миг, чтобы мочь её вынести — говорила моя сестра.

Что меня устраивает в Марианне — так это то, что у неё нет никаких особых представлений о роли женщины в семье, в истории, в политике, в космическом равновесии энергий инь и ян; она просто уповает на постель, и всё: мужчина, говорит она своим низким нутряным голосом, изумительно чуточку картавя, и женщина созданы Господом Богом для спаривания, чтобы плодить ему тварей Господних. Так будьте добры заниматься этим неустанно и благоговейно, вот и вся любовь! Так что пить и веселиться при этом богоугодном деле также не возбраняется.

Обычно она встречает этой мудрой репликой наших гостей. Так что у нас вполне соответствующая компания. Я уже, слава Богу, перерос свой юношеский максимализм, когда мне требовалось общение только с теми, кто выше меня по развитию или хотя бы с равными — общение с остальными я ощущал как потерю времени и страшно страдал от него, просто выдерживать не мог больше пяти минут чьих бы то ни было глупостей, пошлых сентенций, игры в интеллектуалов с пятью именами заграничных писателей в башке, список известен, сейчас, наверно, пара имён, а то и тройка в нём поменялись — вместо Натали Саррот Борхес, вместо Камю Зюскинд и так далее, но теперь это меня абсолютно перестало трогать, я стал отлично выносить даже Антониду и мы с ней живём душа в душу как никогда — особенно теперь, когда она собирается стать бабушкой и живёт соответствующими приготовлениями, от которых, когда она начинает обсуждать их с Марьяшей по телефону, раньше бы я просто сдох на месте, ни много ни мало, а теперь — я просто щёлкаю тумблером в голове, и всё, довольно простая операция, давно пора было её освоить, ещё в детстве и в юности, когда я столь незаслуженно страдал от окружающих и дома и в школе, а всё оказалось так просто.

Кажется, на следующий после этого год или позже, да, я был уже на четвёртом курсе, маме удалось, наконец, заработать себе на дом — где-то в Швейцарской глуши, местечко называлось Розавиль, и она прислала мне приглашение. Так что я занялся оформлением заграничного паспорта, который требовался заодно и для работы на фирме, дабы я мог ездить на переговоры с зарубежными партнёрами, чего до сих пор я избегал из-за учёбы, так как в мои планы, несмотря на то, что я уже и тогда зарабатывал довольно приличные деньги, по-прежнему входило получение диплома, а возможно, и не одного: мне теперь требовались уже и юридические

знания, тогда я мог рассчитывать если и не на собственное дело, то по крайней мере на участие в управлении, но это я откладывал на потом. Мне пришлось срочно подтянуть английский, представить уже себе не могу, как у меня на всё хватало времени, а главное, сил, откуда они вообще берутся для такой бешеной жизни, какую вёл я в те годы, боюсь, источник этих энергий совсем иной, чем у Каськиных бредней, но мамин дом располагался, как сказала она по телефону, во франкоязычной части Швейцарии, многие говорили там и по-итальянски, но это ничего, сказала она, в Европе везде вполне достаточно английского, чтобы не заблудиться и спросить себе чашку чаю в баре. Даже в такой глуши, как наша. Да, так она и сказала — значит, она почувствовала, наконец, что у неё появился дом. Это я в ней хорошо понимал — с детства, вернее, с того момента, как у нас объявилась Каська и я начал что-то узнавать о жизни мамы за рубежом. Ей должно было быть к этому времени что-то около пятидесяти (она была на несколько лет младше отца).

Тёмная, со свинцовым отливом, тяжёлая предосенняя зелень густых деревьев, в которых утопал дом и сквозь которую едва проглядывал окружающий пейзаж — фрагмент улочки, кирпичный бельэтаж, выступающий над отражающим двух проходящих мимо подростков окном кафе, заросший густым многолетним лугом участок за домом, переходящий в кустарниковую чащу, ползущую вверх по гористому склону, лиловеющий цикорий, розовые островки кипрея, кустики ромашек, испускающий церковно-католическое сияние непомерно разросшийся хрен — а по другую сторону от дома, через улочку — благоустроенный сад, редкостной красоты и цветочного изобилия во всём буйстве августовского цветения: космеи, тагетисы, мальвы, наперстянка, настурции в керамических вазах на площадках железной лесенки, ведущей во второй этаж соседнего, старого, по-настоящему ухоженного швейцарского дома. Я приехал на своей машине, решив устроить себе настоящее путешествие и фундаментально, шинами об асфальт, познакомиться с Европой, с которой надо было как-то сживаться, хоть это и представлялось мне весьма затруднительным — я ещё не изжил до конца своей подростковой доходящей до аутизма, чисто русской стеснительности и мне огромных усилий стоило раздирать рот при любой общенческой необходимости, начиная с таможни, как тамбовскому мужику, торгующему на рыночной площади и только на десятый раз собирающемуся с силами, чтоб ответить, сколько же стоят его яблоки.

За счёт своей неухоженности дом казался необитаемым, но как только я остановился окончательно и выключил мотор, во втором этаже дрогнула занавесочка, и через минуту я услышал приглушённо, но членораздельно долетевшие до меня русские слова:

— Мама, он приехал!

Я вышел из машины и хотел было подняться на крыльцо, но увидел, что раздвигаются ворота во двор и сел снова в машину. За домом, по хребту пригорка, уходящего куда-то в неразличимые дали, ползла фиолетовая туча, из-под которой бил розовый сноп лучей и не давал со всей ясностью различить цвета открывшегося пространства. Оно показалось тёмным, по краям мощеного дворика — цветочные вазоны, но мертвенны и наполнены сухой землёй и в них не произрастало ни травинки. У одного из них стояла женщина, заслонив рукой от отражённого стёклами моей машины света глаза, и направляла жестом движение. Наконец, мне был дан знак остановиться у гаража, похожего на заброшенный сарай, и я вышел. Теперь я смотрел на неё по солнцу — и сразу понял, откуда у меня такие необычные для нашей семьи карие глаза, а в Каськиных тёмно-серо-фиолетовых мреет болото: женщина была темноволоса, что легко было увидеть и на фотографиях, светлица, как ангел небесный, и весь её облик был строг, изработан и печален. От уголков глаз бежало неисчислимое количество тоненьких морщинок, сдобренных маслянистым слоем крема, положенного на лицо, и тем не менее она была необычайно привлекательна всей своей худенькой статью и детски-расширенным взглядом усталых и в то же время любопытных глаз. Я не знал, что делать, и стоял у машины метрах в трёх от неё, она также не сделала мне навстречу ни движения. Мы стояли и смотрели друг на друга, жадно поедая друг друга глазами. На ней было тёмное платье по щиколотку с белым узеньким воротничком и светло-серая вязанная раннемодеิร์นским узором шаль. Ей в руки очень пошли бы сейчас тёмно-красные розы, но я не предвидел этого заранее. На балкончике дома, с той его стороны, что выходила во двор, показался кто-то, какая-то женская фигура, однако я не мог на ней сосредоточиться. Внимание совершенно расстроилось. Только её образ — образ женщины из старых, забытых фильмов, виденных в глубоком детстве, черно-белых, представляющих нам, красногалстучникам, невиданный и непредставимый мир изящных наклонов головы, женщин в шляпах и зонтиками, кабриолетов и пролёток, а также римские мостовые. И все они — я и сейчас ощутил это снова и снова — были печальны.

Эта сцена могла бы длиться до бесконечности, кто-то должен был вмешаться — кто-то на небе или на земле, и этим кем-то оказалась в конце концов Кэт, стоявшая на маленьком балкончике дома и крикнувшая мне наконец:

— Be decent unhappy! Заходи в дом — гараж всё равно не откроется, пока ты его не почишишь. Здесь всё на соплях, не обращай внимания. Вполне русский дом.

Хлопнула входная — ещё одна со стороны двора, как бы чёрный ход, что ли, хотя выглядел он даже более парадным, чем уличная довольно обтрёпанная дверь, и по ступенькам сбежала Кася. Вплотную подойдя к матери, она взяла её под руку, как просто хорошо знакомая, без особой нежности или короткости отношений. Это я почувствовал сразу.

— Женя! — неуверенным голосом произнесла Прекрасная Дама, словно бы проверяя, откликаюсь ли я на это имя.

— Да, это я, — вряд ли я мог бы выдумать ответ глупее, даже если бы готовился к тому заранее.

— Да, да, действительно, — вдруг домашней шелестящей скороговоркой зашебетала мама, — двери у гаража не открываются, надо звать кузнеца или механика, я еще плохо знакома с местными порядками, ничего, если твоя машина постоит денёк-другой во дворе? Ты уж извини свою нелепую мать. У меня всё так. Всё и всегда. Но пойми, мне бы никогда не выдать этого дома, если бы здесь всё было в порядке. Он требует колоссальных вложений, его бы никто кроме меня не купил, вот он мне и достался. А я и так обойдусь. Я ничего не собираюсь здесь менять. Особенно на участке. У нас даже сосны растут, знаешь? Разве это плохо?

А я всё приближался и приближался к ней, пока она это говорила, и никак не мог решить, следует ли мне только обнять её, следует ли мне обнять и поцеловать ее в лоб, следует ли мне... В конце концов я подошёл к ней вплотную и поцеловал привычным мимолётным поцелуем в волосы Каську, а мама обняла меня и прижалась лицом к моему пиджаку.

Мебели в доме почти не было. Весь первый этаж — еслиходишь с улицы — представлял собой большой холл с лестницей наверх, за балюстраду, куда выходили двери комнат второго этажа, и служил гостиной с большим столом, деревянным, тёмным, неполированным, окружённым довольно большим количеством стульев — возможно, их было как раз двенадцать. Там же стоял рояль и большой буфет, блистающий стёклами, в которых отражалось утреннее солнце, что при незажжённом свете создавало старинный, книжный уют. Задняя часть этажа являлась хозяйственным помещением, кухней, имелась даже печь, хотя дом отапливался из котельной, расположенной в подвале. Комнаты Каси и Кэт были совершенно пусты, моя тоже, все мы спали на полу, на больших и толстых тюфяках, похоже, что набитых соломой. А может быть, это была синтетика. В комнате у мамы стояла большая двуспальная кровать, старинное бюро, над кроватью висела большая картина кого-то из её друзей (а может быть, бывших любовников). Стенка над бюро также была украшена несколькими рисунками в рамках, очевидными оригиналами очевидно современных художников. Телефон звенел на всех

этажах, при желании можно было слышать, кто с кем и о чём болтает, стоило поднять трубку у себя в комнате. За балюстрадой располагались книжные стеллажи, явно, как, впрочем, и всё в доме, принадлежавшие прежним владельцам. Но книг на них было немного, штук двадцать, не больше. Притом на разных языках и несколько очень старых.

Вставали кто когда хотел, общего завтрака, как, впрочем, и обеда не существовало. Обычно собирались только к вечернему чаепитию. Мама вставала поздно, Кэт — очень рано и тут же отправлялась на прогулку куда-то в гору, Кася просыпалась, как и всегда, как и на даче у нас под Москвою, часов в семь, но теперь она не шла загорать, а спускалась поесть и опять поднималась к себе в комнату, где теперь у неё стояла у изголовья католическая Богоматерь и она читала религиозные книги. Примерно в двенадцать дня дом оглашался звуками фортепиано — мама садилась работать и проводила за роялем иногда по пять-шесть часов. Я был поражён тем, насколько она хорошая пианистка. Всё, что она играла, было её музыкой — она вносила в известные вещи свои особые, мучительные и утончённые сообщения, и через несколько дней мне стало казаться, что я понимаю её душу. Только, в отличие от Каськиной, её душа была проникнута невероятным страстным призывом, она кричала, звала, требовала от людей — быть такими же прекрасными, как та музыка, которую она играла.

Но через несколько дней я почувствовал что-то вроде ностальгии — может быть, давала знать приобретённая уже привычка жить в постоянных делах и хлопотах, и несколько дней безделья повергли в состояние какой-то тревоги, растерянности — будто где-то что-то происходит важное для меня, а я отсутствую, мои дела обваливаются, я пропускаю решающие события моей жизни. Хотя это был, безусловно, психоз — на самом деле я не только привёл в порядок свои дела на работе и создал определённый задел, позволявший мне на две недели как минимум только иногда звонить кое-куда по телефону, но даже предусмотрел чрезвычайно важную и перспективную встречу в Цюрихе, о которой бы, возможно, даже не подумал, не побуди меня к этому эта моя поездка на встречу с матерью, которой не видел с ранних младенческих лет — кажется, с трёх.

Тем не менее через несколько дней у меня возникло ощущение, что всё я здесь уже видел — и внизу в городке, и наверху, на альпийских лужайках, и что ничего интересного мне уже здесь показать не могут — в этой крохотной, словно бы вырезанной из карты и перенесённой в неопределённое межгалактическое пространство местности, в то время, когда живёшь и бегаешь по Москве, кажется, что ты обегаешь по своим неотложным и часто дурацким делам весь земной шар. Странное смещение восприятия! — как нарочно придуманное

для подтверждения Анри Бергсона. Стало скучновато, и даже когда я навязался сопровождать Кэт в её прогулках в горы и таким образом мы возобновили свой роман, никакого оживления это не внесло в струение моей какой-то остывшей, томящейся неизвестно по чему — уж не по возвращению ли домой? — крови. Кроме того, я чувствовал, что мне нужно серьёзно поговорить с Касей — что с нею что-то происходит, что-то неладное, что на мне лежит некий долг — долг старшего брата. Но душевных сил не хватало: слишком много времени прошло со времён нашей баснословной детской близости, беспомощно возникшей и искристо, словно бы и безучастно с нашей стороны длящейся — и вот я уже и не знал, с чего начать свои вопросы.

Быт в доме кое-как справляли девочки, мама не входила ни во что — она безразлично и устало присаживалась к столу, на котором стояли, как правило, разные блюда с сыром, ветчиной, креветками, пара салатов и ваза из нескольких секций с печеньями — вечно длящийся шведский стол, наливала себе чашку чаю из электрического чайника и почти не глядя, что именно она ест, брала тарелочку из стоящей всегда на столе стопки, накладывала салат, брала кусочек хлеба, делала себе бутерброд, и, машинально жуя, смотрела куда-то за окно, в бесконечность. Время от времени она переводила взгляд на меня, лицо её теплое, смягчалось, и она что-нибудь, чаще всего неожиданное, — почище Каськи — спрашивала или просто изрекала:

— Все живут своей нормальной половой жизнью, а я как урод — музыка да музыка, стихи да музыка... И чувствую сама, как я всем противна, не нужна, второстепенна, второсортна... Но ведь я не годна ни на что другое, понимаешь, малыш, просто не годна... Мне не нужно было иметь детей — вот я и бесконечно перед вами виновата. Тебя вот отец спас — при всей его самцовости, а может быть, благодаря ей, нормальный, дельный, трезвый мужик, и ты у меня умница. А вот Каська — господи, что с нею будет, не знаю. Она ведь ничего не хочет в жизни, у неё нет никаких желаний. По-моему, она меня должна ненавидеть. Как ты думаешь? А может быть, мне и вообще не нужно было родиться... Ведь знаешь, по теории Пифагора, достаточно мистичной, конечно, есть люди, в которых космос вообще не нуждался, они ему были не нужны, и ему всё равно, случится с ними что-нибудь или не случится — с ними в любой момент может случиться любое... У них нет ангела-хранителя... Правда, у меня в психоматрице целых две семёрки... И три девятки... Но вот миру, современному миру, космосу современного мира, как раз такие-то люди и не нужны, вполне вероятно. Ему наоборот — нужны без семёрок, чтобы потребляли, это во-первых, а во-вторых, чтобы были абсолютно послушны всем веяниям жизни, всем потребностям об-

щества, политики, ну, я не знаю, кто там так уродует мир, что ему нужны уже абсолютно люди без семёрок...

Бред, это был какой-то кошмарный бред, и при этом она была так красива, говорила это с таким тихим, кротким лицом — прямо ангел небесный, стареющий ангел. Даже мне, человеку отнюдь не сентиментальному, закалённому общением с Антонидой, хотелось плакать.

Или она говорила, вечером, только что окончив играть, когда я был ещё весь под впечатлением её изумительного Цезаря Франка:

— Я так измучена, так измучена нелюбовью к себе, а ведь единственное, что человеку нужно на свете — это любовь. Понимаешь? Не постель, а любовь, никогда, ни один из моих мужчин так и не смог этого понять... Я хочу уехать далеко-далеко, хочу новых людей, новых встреч, понимаешь? Не гастрольных — это ужасно, ты просто не представляешь себе, как это ужасно, бесчеловечно, унижительно... Для сердца. Хочу настоящей любви. Пойми, всё, что люди делают на свете, всё это в поисках настоящей любви. Неужели непонятно?

Что я мог ответить? — я вообще неспособен был разговаривать в таком ключе, таком открытом, эмоциональном, это было что-то ещё почище Каськи, моя мать. Или:

— Ненавижу письма... Ни писать, ни получать. Суррогат общей, обоюдной жизни, общего, обоюдного мира. Если уж у тебя нет никого, так и не надо делать вид, что есть... Виртуальное общение! Виртуальная менструация! Виртуальный гепатит С! Виртуальная депрессия! Виртуальные поцелуи! Целую тебя 1000 раз! Хотела бы я засечь с секундомером, сколько на это уйдёт времени!

Иногда в доме звонил телефон, и она разговаривала с кем-то подолгу, иногда говорила по-итальянски, иногда по-английски, иногда по-немецки. Иногда телефон молчал по несколько дней.

Однажды, не дождавшись, когда она кончит играть, — или мне уже надоело, я уставал от звуков и уходил на воздух, на улицу, такое тоже часто бывало, причем чем дальше, тем чаще, я даже стал подумывать о том, что её действительно очень трудно выдержать рядом с собою, видимо, в этом что-то есть, — и я, как обычно, как почти всегда, не дождавшись, когда она кончит играть, вернее, едва только она села за рояль, — я вышел из дому и побрёл вверх по улице, совершенно не представляя себе, куда бы мне нужно было или хотелось зайти, и вспомнил, как Каська говорила об Англии, что ей там бесконечно одиноко, потому что у неё никого нет в этой стране, в этом городе, даже в доме или на этой улице — просто нигде и никого. И вот я это ощутил впервые. И вдруг неожиданно, бесцельно бродя по городу, я встретил Каську. Я так ей обрадовался, как никогда в жизни. Даже предложил ей зайти в кафе и спросил, как

будто она чужая, просто знакомая, или девушка, с которой только-только начинаешь встречаться:

— Чем тебя угостить?

Она удивлённо посмотрела на меня и засмеялась:

— Боже, неужели тебе правда захотелось вдруг подсластить мою нелепую жизнь? Так жалко я стала выглядеть?

— Да ничего подобного, — сказал я. — С чего только вы берёте такие глупости — что ты, что мать. Обе замечательные, умницы, красавицы, откуда такой пессимизм, не понимаю.

— Это я-то умница? Это я-то красавица? — с горечью, выбрав себе в витрине несколько пирожных и усаживаясь за столик, сказала Каська. — Закажи, пожалуйста, чаю. Только не крепкого. Я и так по две недели не сплю.

— По две недели? — изумился я.

— Ну да, по две недели. Никогда не пробовал?

— А снотворное?

— Не берёт. Меня уже ничего не берёт, понимаешь. Всё снятся развалины. Это наш мир. Я знаю, что это наш с тобою мир... Боже, как он был прекрасен! Я просто больше не выдерживаю этого, понимаешь, просто не выдерживаю!

— Чего, Кася? — я взял её тихонько за руку, так, одни пальцы. — С тобою разве не всё в порядке в жизни? Ты дочь знаменитой матери, у тебя всё есть, ты, можно сказать, не бедная наследница, если учесть ещё и отца, который тебя безумно любит и уж не оставит, как ты сама понимаешь, без приданого... Чего тебе не хватает?

Боже мой, две истерички! Моя мать и сестра — это просто психически больные люди, по ним психушка плачет, подумал я. Наконец-то я догадался, в чём дело! Это было настоящим открытием. Нет, нет, нет, Боже упаси! Надо будет это очень сильно поиметь в виду, не жениться на истеричке, ни в коем случае, только не это! И ведь не сразу определишь! Может вот так вдруг неожиданно, оказаться такой же вот — красавица, умница, несколько языков, европейская образованность, и вдруг — бабах, бум, сразу после свадьбы! Я думаю, именно в этот миг где-то внутри моей матрицы, матрицы моего рацио, был предопределён выбор Марианны — хотя я не думал о ней ни одной секунды в те мои швейцарские дни, я даже забыл спросить у Каськи, известно ли ей что-нибудь о Марианне и где она сейчас собственно обитает — но тем не менее выбор был сделан. Я это почувствовал и понял гораздо, гораздо позже — через два, нет, через три что ли года, когда в последний раз встречал Каську в Москве, всё в том же Шереметьево, всё на том же рейсе из Праги — почему-то на этот раз она летела через Прагу, и я ещё издали увидел рыжую буйную необузданную

и сочную кудрявую голову Марианны и почувствовал, как отзывается моя потаённая нижняя плоть на её приветы и помахивания круглыми руками, будто это её я встречал, а не Кассиопею, за которой приехал в аэропорт, даже не зная ничего о Марианне, даже, скорее всего, давно уже не думая о ней — я неожиданно понял в этот миг, что происходит в чёрном ящике, скрытом под панцирем процессора моего органа, почувствовал, как будто выставленный на всеобщее обозрение монитор моей физиологии заливают краской какого-то неестественного стыда, столь же неуправляемого, как и половая тайна плоти. Поспешно целуя Кассиопею, я одновременно изо всех сил махал рукой Марианне, и она, хитро и грешно улыбаясь, помахала мне в ответ, показав пальцем на то место за барьером для встречающих, на котором я должен её ждать, а Каська — Каська ответила мне тогда, в кафе в Розавиле, когда мы с нею удрали от матери, от этого её непосильного бремени слишком прекрасных звучаний, несовместимых с внутренним необремененным слишком большим напряжением духа безмолвием обычного человеческого сознания,

— Чего мне не хватает, говоришь? Казалось бы, многого, знаешь — чтобы ты, или кто-нибудь подобный, ну не знаю, какой, просто я такого ещё не видела, да и где мне его увидеть — никого ведь вокруг нет, никого, понимаешь, так вот, чтобы кто-нибудь, кого бы я выносила и кто был бы мне ну просто приятен, мил, понимаешь, так вот чтобы он сейчас — и в другие, как сей час, но не слишком часто, может быть, в определённый, очень определённый час дня или жизни, но чтобы я знала об этом часе заранее — был бы рядом, когда я вот так вот умираю, и каждая клетка внутри меня дрожит и падает... падает в какую-то даль.. то ли улетаю ввысь, то ли проваливаясь... да мне и неважно стало последнее время, куда именно, так мне худо. Только ты не можешь мне помочь, я знаю.

— А кто? Может, сказать отцу, он найдёт тебе врача, он что угодно для тебя сделает, всё перероет, ты же знаешь, он очень энергичный иногда, когда очень надо...

— Нет, нет, только ничего не говори отцу. Он тут совершенно ни при чём. Он ничего мне не сделал, кроме хорошего. И он не может мне помочь. Он тоже не может, я знаю.

— А кто? Есть кто-нибудь, кто может тебе помочь? Ты его знаешь?

— Есть. Да, есть. Должен быть, это определённо. Иначе было бы всё просто невозможно — ни эта трава, ни голубое небо над Альпами, ни наши подмосковные колокольчики... Но только я его не знаю. Никак мне его не встретить. Да пожалуй и поздно... Поздно уже, пошли домой, мама не поймёт, куда мы могли запропасться, да и Кэт, наверно, уже подогревает что-нибудь... какую-нибудь еду. А то она говорит, что ты

очень худой для своего темперамента, тебе надо быть крепче, говорит она, чтобы нервная система... Прости!

И она вдруг заплакала. Я молчал, как пойманная на месте преступления кошка, прямо у мяса, что вызвало у меня к тому же прилив возмущения: ну какое ей может быть дело до моей личной жизни, почему это должно меня смущать! Просто безобразие, сумасшедший дом какой-то, ещё эта дура Кэт ляпает зачем-то какие-то глупости, не видит, что ли, что Каська серьёзно нездорова, не любит она её, что ли, а делает вид, что любит, ничего у них не поймёшь, у этих баб, когда они кому друзья, когда кому враги, просто лучше вообще с ними не связываться, честное слово, вот как я с Антониной — держаться от них подальше, и дело с концом. Что-то в этом духе. И тогда же я решил, что надо мне сматывать удочки, потому что всё это мне надоело, этот бедлам, и пора в Москву. Только на обратном пути надо было заехать в Цюрих по поводу возможного делового контакта, что я и сделал, и хорошо сделал, что заехал, не поленился, хотя был довольно-таки расшатан всем своим этим совершенно чуждым — теперь я это понял окончательно — мне семейством. Так что с тех именно пор у нас постоянные совместные проекты с Цюрихом, не Бог его знает какого уровня и масштаба, но всё же — мне доводится там бывать, и даже заезжать в Розавиль, когда там бывает мама — а теперь, после всего случившегося, она там проводит довольно много времени. Совсем одна, в пустом доме, который она так и не привела в порядок, и конечно же, не собирается ничем таким заниматься.

В этот Каськин приезд я жил уже совершенно по-другому. Я, можно сказать, никого не пускал к себе в дом, на квартиру, которую я сначала снимал на Ждановской, а потом выкупил — уже в Выхино. Я имею в виду семейство. Даже отец не был у меня ни разу. А уж тем более теперь, когда там дневала и ночевала приехавшая опять в Москву на одном рейсе с Каськой Марианна. А Каська, естественно, остановилась у родителей — у отца и Антонины, которые купили уже свою новую буржуйскую квартиру на Остоженке, и ей отвели дальнюю спальню, которую сразу же, ещё во время ремонта, назвали «девичьей». Я вообще не хотел, чтобы она у меня даже в гостях бывала — просто не хотел пускать их никого в свою жизнь, даже не из-за того, что они могли мне сказать — они давно уже ничего сказать не смогли, а из-за того, что они могли подумать, какие там шевеления могли происходить в их совершенно разных, не очень-то понятных мне мозгах относительно меня и моего образа жизни. Я был как Синяя Борода. У меня не было приятелей — только сотрудники, не было никакой компании, не было среды, ни социальной, ни уж тем более ду-

ховной (и не было никогда, даже в школе — тем более в школе, где никто понятия не имел о том, например, кто такой Борис Поплавский, и всё такое), но за постоянными и неотложными делами я не ощущал никакой в ней — среде то есть — потребности и недостатка. И мне странно было воспринимать Каську с её такой интенсивной тоской одиночества. Теперь она вообще ничего не делала — бросила Кембридж, бросила свою службу на почте, столько лет подкармливавшую её, что мне она стала казаться уже не временной, а постоянной — ну и пусть бы работала на этой своей почте хоть всю жизнь, какая разница, живут же люди на свете, работающие не то что на почте, а вообще мусорщики. Я слышал о парне, у которого своё мусорное дело в Нью-Йорке и который при этом выпускает известный какой-то русский эмигрантский журнал, пользующийся влиянием даже здесь, в метрополии (разумеется, влиянием литературным, речь не идёт о деньгах или о чём бы то ни было серьёзном). Так что я её просто не понимал — Кассиопею, я имею в виду. Тем более, что у меня было что-то вроде медового месяца с Марианной — почти всё свободное от службы и служебной беготни время я проводил с ней — либо в постели, либо в ресторане. Даже несколько раз пришлось повести её в театр, удовлетворить её культурные запросы. Или изобразить наличие у себя таковых, может быть даже хотя бы для самого себя — чтобы не казаться себе уж чистым скотом, кто его знает, то, что происходит в моей подкорке. Впрочем, что-то, а скотом в те времена мне никогда не приходило в голову казаться себе — наоборот, я привык — и ещё к тому времени не отвык — жить в самоощущении себя как элиты, духовной элиты этой населённой по большей части спившимися рабами, сатрапами Софьи Власьевны, оставшимися подыхать на обочине после того, как она приватизировала всё. Что там делала дома у родителей Каська целыми днями — я в тот её приезд представлял себе плохо. Уж как-нибудь, считал я, а они с Антониной да развлекаются — уж отец не пожалеет, небось, на это денег, даже если им вздумается пойти в казино и проиграть там всё содержимое своих сумочек до нитки. Тем не менее подложечкой глодало тихое какое-то подспудное чувство то ли долга, то ли вины, то ли не знаю чего — но уж вряд ли я предчувствовал что-нибудь такое, ни о чём таком я и не думал, меня скорее возмущало её жизненное поведение — и я пару раз позвал её погулять в Коломенское, решив даже, что поговорю с ней серьёзно, как старший брат. Даже додумался до того, что предложу ей остаться в Москве, найти хорошую работу — а с этим, с её знанием языков, проблем не будет, скажу, что поддержу её первое время, в том числе и материально.

Стояла золотая осень. На это я и рассчитывал — что там будет красиво, и за эту красоту русской природы Каська простит мне многое: и то, что я не писал ей писем по Интернету, и то, что давно — уже несколько

лет — не говорил с ней о книгах, не ездил на море, на Женевское озеро, на хотя бы нашу подмосковную дачу и не ходил собирать грибы.

— Как папа? — кажется, она понимала, в чём у меня, собственно, с ними дело — с отцом и Антониной, только у неё всё было по-другому: она была задавлена матерью, чисто эмоционально, её душевным надрывом (я только предполагаю), и мои, отец и Антонина, казались ей опорой и надёжей, жизненным оплотом, пусть и Антонининого оттенка серости, ей уже было всё равно, объяснял я себе их удивительную для меня дружелюбность.

— Папа? Папа? — она приехала на метро и вышла к кинотеатру «Орбита» в длинной джинсовой вышитой юбке, свекольно-красного цвета свитере и джинсовой же куртке — довольно дорогим джинсовым костюме, что было для неё не характерно: наверно, уже отец успел повести её в какой-нибудь немыслимо дорогой бутик на Новом Арбате, верх пошлости — всё сверхмодное, как у Антонины. — Папа, как всегда, викинг. Работает, но не сдаётся. У него желудок пошаливает. Боясь, как бы не язва.

— Ну да. Он же хроник. А ты не знала?

— И он хроник? Вот это новость. Так значит, все мы хроники, абсолютно все, а я папу считала нормальным. Думала, он викинг. А он — хроник. Что делать? Куда деваться?

Дерева, среди которых мы шли, будто электрические машины рассыпали листья разных цветов, как в Луна-парке, или из детской вертушки — крутится мельничкой, и из всех четырёх сопел — разноцветные листья: жёлтые, зелёные, красные, бурно-фиолетовые, коричневатые — глубокая похоронная умбра, и глубокий же ультрамарин — там, на плоском высоком фоне которого всё это летает, переходящий в свинец в гнетущей нависшей над городом дали, и вороны. Смотрят, каркают, есть просят — а что им дать? Мы-то сыты, пришли сюда так, без ничего.

— А есть люди, которые о них думают, — будто прочитала мои мысли Каська. — Приходят с хлебом для воробышков, для белок с орешками и сушёной даже морковкой. У вас так?

— Ну, примерно. В общем-то, во всём мире люди одинаковые. Примерно. Так скажи мне, что ты собираешься делать?

Она пожала плечами:

— Пока ничего. С тобой вот гуляю. Это для меня целое событие — разве непонятно?

— Нет, я вообще имею в виду, в жизни. Что ты вообще собираешься делать в жизни? Поведай.

И она поведала, чёрт меня побери, очень искренне, честно поведала, как на духу, как будто в те непримиримо далёкие уже дни, когда мы

с ней обегали колхозное поле по периметру, объедались неспелым зелёным горошком и говорили об Аполинии Сусловой и Достоевском, читали стихи на разных языках — она мне, а я ей — и сравнивали русских поэтов с английскими, с немецкими, с французскими, приходя к выводу, что таких, как наши, чёрта с два где сыщешь, у которых всё — настоящее, из сердца, ничего головного. И вот теперь она говорила:

— Бог к себе зовёт, люди несовершенны, нельзя к ним так принимать душой — в них столько слабости, столько муки, столько вожделений... Греховных...

— Ты что, влюблена в этого Джереми?

— В католичестве обет безбрачия, ты что, не знаешь?

— Ну всё-таки, может, ты хочешь быть ближе к нему, а не к Богу. Уж я-то тебя знаю, меня не проведёшь. Без всяких греховных вожделений, просто быть там, где он?

— Так он же в Кафедральном соборе, ты что, не знаешь? Этого Кэт тебе не доложила? А я иду в простой женский монастырь, довольно-таки в глуши, возможно, даже в Швейцарии. «Семь бегиннок» читал Метерлинка? В общем, мне всё равно. Хоть женись на этой дурочке Марианне. Всё это уже так бесконечно далеко от меня... Как в другой жизни.

— Тогда тем более зачем? Зачем, зачем? — не понимаю. Если тебя и так отпустили греховные вожделения. В чём, кстати, я тебе очень завидую. И кстати же — что ты называешь греховными вожделениями?

— Ну ясное дело что: для плоти без духа. Плоть, сказал Блаженный Августин, лишь лампада духа, и всё, что мы ядим или жаждем, должно быть маслом для неё. Когда же вожделеешь для плоти самой и плоти же самой вожделеешь — возьмём хотя бы умерщвление на скотном дворе баранчика или хоть охоту, я теперь не употребляю в пищу мяса, знаешь? — это и есть умерщвление духа. Не только твоего — он ведь в тебе не личный, а на всей то есть планете, всей то есть её судьбе скажется. И сказывается, ясное дело. И все это видят, и продолжают. Просто понять нельзя.

— Так что же, вообще желаний никаких ни иметь, ни выполнять нельзя? А как же тогда развитие? Мы же развиваемся только по похоти по своей, ты не думала? Хотим быстро приехать к женщине на свидание — и придумываем автомобиль. Разве не думала?

— Вот, когда вожделения плоти самой движут — туда и движемся. А ты разве не видишь, куда?

— Да господи, мало ли кто чего там пишет по этому поводу — разве кто знает по-настоящему? Может как раз и улетим к чёртовой матери с этой планеты вовремя — скажи своему Джереми. А вообще-то, каждый из нас просто умрёт в своё время, и всё. Надо же как-то дожить? Прожить это время как-то же надо, которое нам отпущено? Что твой

Джереми и делает таким вот, кажущимся ему увлекательным, способом, ну а я — другим, третий — третьим, и так далее.

— Да он тут ни при чём, как ты не понимаешь. Нет, нет, нет, ты не понимаешь. И не понимал никогда. И я это знала, чувствовала. Вернее, сначала не чувствовала — думала, всё это во имя Господа: и лес, и луг, и колокольчики. Господа — закона единого на земле и на небе, понимаешь? — а оказалось — греховные вожделения.

— Ну, предположим, у меня греховные вожделения — женщины, то, сё, пятое, десятое, но ты-то тут при чём? Зачем тебе-то в монастырь — не понимаю? Ты так молода, ты ещё не знала любви — ты встретишь человека, полюбишь его, и всё станет на свои места.

— Ах, нет! Нет такой любви вокруг — как же я её встречу?

— Как это нет? А люди, а семьи, а дети — это же откуда всё берётся, по-твоему?

— Вот-вот, я и вижу, что ты не понимаешь. То есть совершенно не понимаешь — всё это греховные вожделения.

— А за ради деторождения? Как же тогда — плодитесь-размножайтесь? Это кому говорится, по-твоему?

— И за ради деторождения. Если лампада духа не горит между брачующимися. Иначе — от кого чада? Чьи они будут? Всё того же Молоха всепожирающего, всяческой похоти — хочу того, хочу этого, мама, дай леденец... И кровавым златом кончая, все эти пожирания плоти, поцелуйные, закрыв глаза. Это ведь закрывание глаз на Бога — ты целуешься, закрыв глаза? А? Потому что тебе стыдно? Стыдно чего-то и перед чем-то — вся эта темень альковная, все эти ваши любви так называемые...

— Это тебе Джереми твой проповедует? Вот скотина!

— Да как ты смеешь так говорить? Как ты смеешь? Он... Он... В сто раз выше тебя, лучше, мы вообще ни о чём таком не говорим, ты даже представить себе не можешь, кто такой Джереми!

И она побежала от меня прочь по дорожке, сквозь крутящуюся золотую пургу, да так прытко, что я не успел сообразить, лучше ли её догонять мне или лучше оставить... Господи, неужели, слава Богу, влюбилась, думал я, зашагав в противоположную сторону и решив, что просто позвоню ей вечером по телефону, и всё наладится. Но нужно же было такому случиться — что вот, наконец, влюбилась, так в католического священника — всё у них не слава богу, в этой сумасшедшей семейке. Просто маразм какой-то.

Однако вечером её дома не оказалось, и Антонида сказала, что она срочно уехала — собрала вещи, вызвала такси и помчалась в аэропорт, оставив отцу записку.

— Хочешь, прочту?

Поколёбавшись секунду, я выразил желание узнать, что там она ему написала.

— Дорогой папа! — прочла Антонида. — Мне пришлось срочно уехать из-за личных дел. Они не касаются ничьей болезни, так что совершенно не волнуйся, и вообще не думай обо мне никогда. Может быть, скоро встретимся. Твоя Кася.

У меня, естественно, тормозилась на кухне Марианна — готовила ужин, придумывая салат из имеющихся ингредиентов — варёная картошка, помидоры там, перец, зелёный горошек... Зелёный горошек! — вспомнил я, и почему-то заныло под ложечкой.

Марианна до сих пор с увлечением занимается придумыванием всяких салатов и вообще кухарит. Ей это нравится. Нравится заниматься домом, совершенно безотносительно ко мне — она чтит институт семьи. Её не только не смутило, когда у неё на УЗИ обнаружили в животе двойню, она сказала радостно, когда я вечером пришёл домой:

— Представляешь, какая удача! Один раз отмучаешься — и сразу большая семья. Потом можно будет несколько лет отдохнуть. Пока ты заработаешь на большую квартиру нам всем. Вообще, может быть, на дом. Как у твоего отца с Антонидой. А может, даже лучше. А может, они нам этот отдадут и будут приезжать к нам на выходные летом. Может же такое быть? Для Антониды это будут настоящие внуки, я полагаю. Как тебе кажется?

Обычно я её почти не слушаю, думая о своём. Но тут как-то не успел отключиться. Она совершенно не вспоминает о случившемся, Марианна. Это так странно. Будто то не имело к нам, к ней, к её близнецам никакого отношения. Правду сказать, они с Каськой и были-то едва знакомы, никогда не имели ничего общего. Вообще, может это нормально, что живые не думают о мёртвых и живут себе так, будто смерти нет. Может, это правильно? Может в этом смысле и говорится в христианской традиции — что смерти нет. Не могу сказать, есть она для меня сейчас, когда Марианна ждёт ребёнка, двойню, или нет — но с каськиной смертью смириться как-то трудно, она всё время у меня в уме, в сознании, как будто половина меня умерла тоже, а я, порядочно омертвевший, продолжаю барахтаться в житейской луже без всякого вдохновения, по инерции. Благо, когда занят всеми этими бесконечными служебными и домашними делами и забываешь об этом. Истинное благо, говорю вам.

Она и двух лет не выдержала в этом пресловутом монастыре. Да и как могло быть иначе? — не представляю. Каська — и в монастыре, без ненавистной музыки от Генделя до Шнитке, без перелётов и переездов по всей Европе от Лондона до Москвы, без мамы и Кэт, с которой она с

самым серьёзным видом вела бесконечные феминистские разговоры, наконец, без меня и отца, которые всегда так или иначе были ей рады, особенно без отца, для которого, возможно — я только допускаю — она была единственным пятном радости на протяжении последних десяти лет в его заскорузлом обесчеловеченном, по-моему, мозгу, и он же, как ни странно, волею невидимого дирижёра оказался последним человеком, которого она увидела, умирая.

Потому что когда она выпила это проклятое снотворное, кстати, так и неизвестно, откуда взявшееся у неё — последним человеком, навещавшим её там, была Кэт, но задолго, за полгода до всего этого — и её попытались откачать — мать-настоятельница немедленно вызвала скорую, как самый нормальный современный человек, кстати, без всяких монастырских благоглупостей — отец, страшно не любивший ездить, даже по делам своего бизнеса, вследствие характерной советской географической робости, немедленно вылетел в Швейцарию, в больницу, где она лежала, и застал её ещё в помутнённом, но сознании, пока её мозг не угас окончательно.

Журчит свет, видимо, в моём сне; я лежу на животе — так совсем не больно, мягкий солнечный свет проливается сквозь тонкие веки, хотелось бы их прикрыть чем-нибудь, голубой шарф, где-то у меня должен быть голубой шарфик, но я не могу пошевелиться, не могу попробовать разыскать его, у меня совсем нет сил, мне его так не хватает, не хватает зелени в этой голубизне, вернее, тени от зелени, что за моим окном. То есть — за этим окном, я не знаю в точности, где это и чьё это окно. Вероятно, я, наконец, в том санатории, куда мама давно стремилась поместить меня, чтобы мне поменяли плохое сердце на хорошее — возможно, сердце какой-нибудь свинки или овечки, какой-нибудь клон — но у неё всё не хватало на это денег. Вода журчит не переставая, голубая вода внутри серебристых водопроводных труб, как кровь внутри моих вен и артерий. Я и во сне вижу за этим своим чьим-то чужим окном желтеющие прямо на глазах скверы, жизне-радостные автостоянки между ними, узкий краешек пристани, у которой то раскачиваются рыбацкие мачты со свёрнутыми парусами, то проносятся быстро, как по ветру, золотые гирлянды автомобильных фар длинной окружной дороги, и опять паруса, розовые на закате. Я чувствую приближение любующегося мною тела, струящегося в этом закатном мягком потоке света, мерцающей дымкой обволакивающего предметы пленительного заоконного мира, в котором соединились причудливым и в то же время узнаваемым образом слоистые гребни Кара-Дага, куда в детстве ездил Женя с отцом и куда я так всю жизнь мечтала попасть с ними и так и не попала,

читая всё, что ни попадалось по поводу мифа Волошинской жизни, — и предночные синеватые, словно зрелые сливы, плащи загородных зарослей Розавиля, Москвы и Кембриджа, золотистая мгла исчезающего вечера, который продолжает мне сниться и сквозь который приближается тело, насквозь просвеченное нежностью и устричным дыханием холодных морей, сопровождающих его приближение. Между тем совсем незаметно, когда гавань заполнилась яркими иллюминаторами разнокрылой подсветки, трепещущими в окончатальной темноте воздушного пейзажа, гирлянды движущихся по окружной дороге фар заскользили мимо танцующих иллюминаторов, пространство сна раздвинулось за пределы окружающих кровать стен, и тело, устричное, морское загорелое тело, движущееся было ко мне, испарилось в торжествующем воздухе жизни, коснувшись мимо-лётно золотисто-русскими прядями притиснутого к шее одеяла, чуть-чуть задев плечо, или, вернее, ключицу — и этого ощущения касания хватило бы, возможно, на весь остаток сна жизни, если бы я вдруг ясно не вспомнила, что в моей жизни не было и в заводе чувствовать свою руку не в своей, а голове — на плече брата, а лицо — на груди отца... Я встала с постели, потому что мне пора было пить лекарства.

Ах, какие это были чувства, если бы вспомнить, — если бы только вспомнить! Спала я всё-таки или не спала?

День был ужасно трудный. Просыпаясь, как обычно, постепенно, я очень-очень медленно вспоминала, что это утро, да, это скорее было утро, чем вечер, и даже уже не просто утро, а... Надо было посмотреть на часы. Они стояли очень далеко, за лампой, до них было не дотянуться, и они вечно падали — проваливались куда-то за автоответчик, который никогда никому не отвечал, почему — я не знаю. И ко мне ведь приходили довольно какие-то знакомые молодые люди, пытались его починить, открывали крышку, включали запись, она говорила моим голо-сом: please, leave your message, но потом ничего не приходило. Ни одно-го сообщения. Тем более мессиджа.

Чем моложе приходили люди, тем моложе я казалась самой себе. Когда приходили плотные, большие, от которых разило медицинским спиртом и медикаментами, я понимала, что умираю, что прошла большая, разная жизнь в разных городах и разных квартирах, с разными людьми, в большинстве случаев очень чужими, но почему-то привыкшими жить с кем попало вместе, делить туалет, ванну, кухню, говорить зачем-то кому-нибудь по утрам:

— Я сегодня ужасно плохо спал. И голова болит. Наверно, погода...

А когда часы находились, они показывали что-то несуразное — то двенадцать часов, то час. За окном было светло и пасмурно, значит, надо было вставать, даже если и хотелось поспать ещё немного.

Иногда они показывали девять, и было темно, тогда я шла и слушала приятный голос по радио, приятную музыку, большинство мелодий были знакомы, но мне нравилось, что говорил русский диджей из Парижа:

— Чао! Всех вам благ и хорошего уикенда. Ваш Д.С.

Я всегда представляла себе, что он похож на моего брата Женю, и я могла выбрать его жить со мной в одной квартире, в одной ванне, могла даже написать «нашему Д.С.» по электронной почте, что пусть пришлёт мне большую фотографию, я повешу её в ванне и мы будем жить вместе, пусть даже в этом случае я и буду казаться себе немного старше, чем мне бы хотелось. Единственное, что было для меня невозможно, так это чтобы в одной квартире со мной жил мой брат, настоящий брат-близнец. Потому что ему надо было ещё что-то от жизни, от времени, от будущего, чего никогда не показывали мои часы.

Я боюсь ему звонить, боюсь ему писать, так как боюсь что-нибудь испортить. По-моему, я и так не совсем ему нравлюсь. Я часто делаю не то, поэтому стараюсь совсем лучше не сделать ничего, чтобы не сказать и не сделать что-нибудь лишнее.

Лучше всего, когда я сплю: журчит свет, дом будто непрерывно заливают и не может никак залить водой, пахнут угасающие флоксы, так совсем не больно, наверно, мне уже удалили все омертвевшие органы — осталась только форма: руки, ноги, пряди золотистых волос, длинные выпуклые ногти. Как я люблю эту форму, эти руки, они такие гибкие, так умеют вздыматься ввысь — и ноги, мои быстрые ноги, они умеют убежать от всего, что могло бы быть у меня в жизни. Я не могу, я задыхаюсь от красоты осени, от красоты мира, от пустоты его, от красоты себя, от простора своего безграничного одиночества, ненужности никому, кого бы я могла любить и уважать.

— Женя! Почему я такая маленькая, а деревья такие большие, всё, всё больше меня — и так велико, так пространно, так пусто и так солнечно? Может быть, это и есть Рай? Я имею в виду ощущение Рая: за счёт всех бесчисленных промахов своей жизни я вступила каким-то образом в область Рая — ощущения Рая?

Но этим высоким блондином, нежно смотрящим сквозь свет и воду моего сна, оказался отец:

— Кася! Я не хотел тебя будить...

Он огладил мои волосы вниз с макушки, и я почувствовала вдруг, что я потому так мала, что меня никто никогда не обнимал так искренне и тепло, чтобы этому можно было верить — и я поверила вдруг, ни с того ни с сего, что этот загорелый нордический блондин с мелко кучерявящимися волосами меня по-особенному любит, и притом бескорыстно.

Игорь БОЛЫЧЕВ

О ПРОЗЕ ОЛЬГИ ТАТАРИНОВОЙ

Главное достоинство прозы Ольги Татариновой — прозы как искусства словом преображать действительность — художественная целеустремленность, подчинение частей целому, умение не допустить любых, пусть даже самих по себе выдающихся, но лишних с точки зрения общего замысла деталей или образов. Черты, которые обычно ассоциируются с мужской писательской рукой, точнее было бы сопрягать просто с настоящей русской прозой, такой, какой она всегда и была — серьезной, ответственной, и не столько эстетически совершенной, сколько художественно обоснованной и укорененной не в быте, но в бытии и пытающейся отвечать на «главные вопросы».

«Невеста в черном»* образец именно такой прозы. Сборник повестей и рассказов, на первый взгляд связанных только «любовной тематикой», на самом деле — единое произведение, своего рода «Темные аллеи», в известном смысле первый серьезный ответ женщин на великую книгу Бунина. Женский взгляд на проблемы любви. И если у Бунина в «Темных аллеях» любовь выступает по большей части как нечто стихийное и традиционно «непознаваемое» — «божий зверь, господень волк», Татаринова не ограничивается констатацией непознаваемости и фиксацией эмоциональных нюансов, она отваживается на анализ «вечного чувства» во всех его проявлениях — от физиологии до высокого духовного соединения душ. Один из неутешительных выводов: Жена, облаченная в солнце, Вечная Женственность, которую некогда так любили воспевать поэты, в современном мире настолько «невостребована и непопулярна», что рискует остаться Вечной Старой Девой. Один из итогов книги «Невеста в черном» — полное одиночество Вечной Женственности (на самом деле, лучшего, что есть в женщине и вообще в человеке — духовной тонкости, душевного изящества, подлинной красоты, в конце концов). Она не находит себе пары. Главная трагедия всех героинь Татариновой — в том, что они не находят пары, достойной себя. Современные мужчины не способны стать тем, чем они должны стать, мир, созданный такими мужчинами, губителен для подлинного женского (да, видимо, и вообще человеческого) начала. Что губительно и для самого мира, и тех, кто его таким сделал.

И беда даже не в том, что героини не находят своей идеальной половины — в конце концов закон «двух горошин в вазе гороха» со времен «Анны Карениной» вряд ли утратил силу, — а в том, что этих «вторых» горошин, похоже, вообще нет в данный момент на возу. Героини Татариновой

не могут найти свою половину, потому что этой второй половины просто нет. Мужчины не выдерживают духовного напряжения, которого требует современная действительность. Они либо бегут от этого духовного напряжения в омут быта и физиологии (Евгений и его отец из «Кассиопеи», одаренный ученик из «Умирать приятно»), либо не выдерживают и гибнут в жерновах жестокого мира (несчастный Ким из «Сонетов к Орфею», герой «Невесты в черном»). Любовь и нежность остаются без ответа.

Безответная любовь к миру — прямо-таки цветаевского накала, но только осмысленная и структурированная в лучших традициях европейского интеллектуализма. Эта любовь не угасает до последнего вздоха. Похоже, она вообще неугасима. Сама гибель героинь Татариновой — благословение на подлинную жизнь. Не замкнутую животным кругом, но способную разорвать этот порочный круг единственной в мире силой, которая не приносит зла, единственной подлинной силой, — силой любви. Возможно, это и есть главный оптимистический посыл «Невесты в черном», книги, на первый взгляд трагически безнадежной: пока существует такая любовь, у мира остается шанс откликнуться на нее и, возможно, спастись.

Музыкально выстроенная композиция книги, вариации одних и тех же тем, но с новыми нюансами постепенно создают содержательный пласт более высокого уровня, пресловутый «метатекст», который придает объемность и подлинную реалистичность прозе Татариновой. Это не «роман в рассказах», скорее, симфония, созданная человеком прекрасно оснащенным технически, владеющим всем арсеналом современных художественных средств. При этом Татаринову не интересует прием сам по себе, прием как таковой, ради приема, «ради красного словца»; почти кинематографический монтаж, коллаж, поток сознания — в ее руках лишь средства для создания подлинной реальности. Она не хочет и не может ограничиться бытовым уровнем существования, это противоречило бы ее фундаментальным мировоззренческим постулатам: именно самой тканью прозы Татаринова как бы доказывает, что этот быт, эта «чернуха» могут и должны быть преобразены в действительности, — так, как происходит это преобразование в басово-лирических волнах интонации ее рассказов. Принципиально важно — не избегать быта, «низких реалий», не «витать в облаках», но, трезво глядя этому миру в глаза, тем не менее продолжать его любить, а значит, и пытаться преобразить. Это и есть подлинный реализм, которым всегда была сильна русская проза. Она всегда имела мужество посмотреть миру прямо в глаза. Психологически безошибочная «Сексопатология» и жесткий, в каком-то смысле художественно абсолютный «Эдем» — яркие тому свидетельства.

Представляется, что эта симфония о неразделенной любви достигает максимального напряжения в «Кассиопее». Здесь кажется, будто сама природа делает невозможным полноту чувства. Инцест стоит на пути и

брата-близнеца и отца, по-своему влюбленных в Касю и по-своему предающих ее. И есть глубокий смысл в том, что любовь «простоватого» отца (далеко выходящая за пределы обычных родительских чувств) оказывается чище и сильнее нервной и слабой, о духовно импотентной и не по-хорошему мимолетной любви «утонченного» сына. «Кассиопея» — гимн неразделенной любви, в каком-то смысле даже попытка возвести саму неразделенность подлинной любви в метафизический принцип. И в то же время сам лирический строй этого произведения, его высокая нежность — опровержение этого принципа. Это не просто парадокс. Соединение несоединимого давно уже освоено поэтическим сознанием. Пришлось. Сама жизнь, которая «через запятую» «растит цветы, расстреливает пленных» (Георгий Иванов), весь XX век давала художникам весьма впечатляющие уроки.

В рассказах после «Кассиопеи» напряжение спадает. В «Йенсе Мюллере» и в «Умирать приятно» звуки становятся глуше, безнадежнее. Автор постепенно переходит на шепот, который становится все тише, пока в «Beyondness» музыка окончательно не растворяется в хаосе бытия.

Лирическая стихия в прозе для поэта Татариновой не случайна. И проявляется она не только в музыкальном принципе построения целого, но и в особом подходе к детали, к поэтической структуре отдельного образа. В современном произведении образ не может быть локально-декоративным, он должен быть глубоко укоренен в произведении, работать на целое. Женщина «такая высокая, узенькая, будто яхта, в своем белом прямом сарафане» («Золотой песок»), «испускающий церковно-католическое сияние непомерно разросшийся хрен» («Кассиопея») — образы не просто рисующие «реальную» картинку, но и связывающие эту внешнюю реальность с той подлинной реальностью, которую Вяч. Иванов называл «реальнейшей».

Необходимо отметить интеллектуализм прозы Татариновой. Не умничанье на пустом месте, не «игру в бисер», но подлинную причастность, заинтересованность и участие в интеллектуальных мистериях лучших умов человечества. Кроме естественного в данном случае влияния западно-европейской философии (от Платона до Ницше и Хайдеггера), важное воздействие на Татаринovu оказало то, что она переводила западно-европейскую поэзию и особенно — лирику выдающегося немецкого поэта XX в. Готфрида Бенна. Во многом именно с ним перекликается ее высокий эстетический стоицизм, ее тяга к духовному аристократизму, ее естественная сама собой разумеющаяся ответственность за мироздание.

**НЕВЕСТА В ЧЁРНОМ (сборник повестей и рассказов), в который вошли «Невеста в чёрном», «Сонеты к Орфею», «Золотой песок», «Сексопатология», «Море в Дании», «Эдем», «Рита», «Кассиопея», «Йенс Мюллер», «Умирать приятно», BEYONDNESS, готовится к печати в издательстве «АСТ Олимп».*

Ольга ТАТАРИНОВА

Река стояла. Лед хранил лягушек.
Неслись по льду коньки, снежки и санки.
Но здесь себя я вдруг не обнаружил,
вдруг весь — не здесь,
а в чьем-то мнимом замке:
в широком мире хладных стен и чувств.
Я не хотел во взрослый мир нарочно!
И незаметно я ему поддался.
Но вдруг вокруг
все тяжело и сложно,
а я смотрел на санки и смеялся.

Он — вундеркинд, веселый Моцарт,
он тоже к кошке норовит
бежать, рояля крышкой хлопнув, —
и шерстка музыкой искрит!
Искрится день, искрится вечер,
в осколках неба — чистый звук
листвы, звенящей, как бубенчик,
кристальной светотенью фуг.
Игра с утра на клавиатуре,
игра узора хлебных глаз,
и мечется по крыше ливень
игрой, пассажем претворясь.

Пока на тридцать пять симфоний
хватает детства и проказ,
ты — вундеркинд, веселый Моцарт,
и развозимый напоказ.

Когда ж почувствуешь однажды
боль от холодной простыни,
и звуки пьешь без всякой жажды,
и трешь усталые виски,
и знаешь, что играть за деньги

тебе не нужно и нельзя,
ты — просто Моцарт, бедный гений.
Ты сам поэт и сам судья.
И музыка теперь осталась
лишь одному тебе нужна,
и Бог к тебе уж не приставлен,
а только музыка одна.

День, как только что снесенное яйцо,
в оболочке розоватой хмари
дышит мне в дождливое лицо
запахом садовой гари.

Попрошу рассады у соседа,
высажу-ка астры на балкон.
И неважно — если я уеду,
а потом распустится бутон.

Андрею Тарковскому

Никому ничего не даровано,
кроме жимолости на кусте,
кроме солнца на цинке кровельном,
кроме солнц на большой высоте.
Мы сами выводим заглавия
наших лет, и добыча легка:
сок плодов — целомудрие гравия,
скромность вереска, боль ивняка.
Все, что вывели, все, что вынесли,
светлым голосом отольем,
не мольбой чтоб дышало, а истиной
и опорой служило во всем,
что дописано нашей смекалкой,
нашим сердцем и нашим огнем
после крикнувших спозаранку,
что и виселица — божий дом.
Никому ничего не даровано,

и по-прежнему волен тот,
кто придумал послушным оловом
затыкать непослушный рот.
И не с первого взгляда зримы
по лицу улики примет:
но научимся видеть! Не зря мы
все рисуем, рисуем портрет —
Бога! Ищем в облике Бога
человека достойных черт.

Есть что-то в осени, что с ней меня роднит, —
Намек в общении, неточность настроений
Рифмует сердце с цветом мет осенних.

Призывна кленов краснота, как дальний звук
Охотничьих рожков, и одинокий дух
Волнует холод астр, как дым из-за холмов.

Есть что-то в октябре, что в путь цыган влечет,
Такая тяга: каждый блик зовет,
Зовет по имени он каждого бродягу.

Я стояла у окошка,
ты сидел напротив в кресле,
на тебе пиджак был светлый,
ты спокойно говорил.
Я не помню дня недели,
и погоды я не помню,
и до сей поры не знаю —
был ты прав или не прав.
Опершись на подоконник,
я в руках держала сердце,
и цветы в руках держала —
тихо рушились миры.

январь 1984

Захотеть клубничного варенья бы,
или прочесть стихотворенье бы,
или что-то белое мелькнуло бы,
с неба выпавшее, и в груди кольнуло бы.
Вы ее утратили — любимую,
мы же потеряли — ненавистную,
и над нами крышку века стылую
забивают ангелы, насвистывая.

памяти Альфреда Шнитке

слово начинается
там где жила струны вытягивается болью
жизни в виолончельное пиано сонаты
большой как воздух
в котором светятся листья
осени одна тысяча девятьсот тридцать четвёртого года
и осени одна тысяча девятьсот четвёртого года
и осени одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года
и первого года по Рождестве Христове

слово папирусное и коптских рукописей слово в
виолончельном звуке вытягивающем жилы жизни
слово берестяное и Лик Богородицы
матери всех матерей
Пьета жизни
длящейся в звуке и в слове и в боли

наши слова и наши звуки тянутся в воздухе паутинками осени
между светящихся листьев две тысячи третьего года
наше слово берестяное вытягивается в виолончельный звук
боли и скорби и тихого плача о жизни
проходящей исчезающей тающей вечной

жизнь — это не жизнь одного человека
одного звука одного слова
жизнь это что-то другое
длящееся пока длится звук

Готфрид БЕНН

Перевод О.Татариновой

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ЛЕТА

День окончания лета —
поданный сердцу знак:
убыло страсти и света,
пьянящий азарт иссяк.

Лица, пейзажи и даты
смешались во мгле, и поток,
их отражавший когда-то,
ныне уже далек.

Битвы ты знал упоенье,
в сердце жив ее взлет,
но полки с подкреплением
ушли далеко вперед.

Розы, лук арбалета,
звон тетивы и злость —
все далеко, все лета
невозвратимость.

ЛЕЖИШЬ, МОЛЧИШЬ...

Лежишь, молчишь, блаженно сознаешь
как счастье близость чьей-то жизни милой;
чья власть над кем? — Берешь, даешь, берешь,
наполнен мир одной даращей силой.

Особенное виденье вещей,
особый счет минут в каком-то часе —
никто не исключен из кровной связи
крапивы, ландышей и орхидей.

Но Парки нить порвать всегда готовы,
лишь руку хрупкую ты можешь взять,
извлечь из недр особенное слово
и в этот раз, сейчас — его сказать.

ЧТОБ СПРЯТАТЬСЯ...

Чтоб спрятаться, на то есть грим и маска,
прищурься, будто свет тебя слепит;
не предавая глубину огласке,
овалом чистым пусть лицо парит.

Среди садов в померкшем освещенье,
под небом, полным ночи и огней,
ты должен спрятать слезы и мученья,
чтоб плоть не выдала, что происходит в ней.

Пробоины, разрывы, все улики
того, что в недрах кроется распад,
спрячь — сделай так, чтоб с пенем дальним, тихим
плыла гондола в каждый встречный взгляд.

РОЗЫ

Когда увядают розы
и лепестки кружат,
будто падают слезы, —
плачет и наша душа.

Это — тоска о начале,
желанье вернуться назад,
тоска перед бездной печали,
куда лепестки летят.

Это — о воскресенье
несбыточные мечты
перед исчезновеньем:
когда облетают цветы.

ЕСТЬ ГИБЕЛЬНОСТЬ...

Есть гибельность особая — кто знает
ее приметы, тот меня поймет:
росою чистой вздох наш оседает,
руно седых туманов вдаль влечет.

И в самом пылком чувстве нет спасенья
от тянущей воронки, ничего
мы знать не знаем в саморазрушенье,
в душе одной раздольной Волги пенье,
степей чужих, далеких торжество.

Есть гибельность особая — не больно
совсем, таким уж Бог явился нам;
для счастья беднякам гроша довольно —
для милой петь пойдешь ты по дворам.

РЯБИНА

Рябина — тускло-розовая медь,
лишь только первый признак, за которым
придет последний пламень, осень, смерть.

Рябина — грозди цвета обещанья,
предсказанных тонов неполнота,
преддверье мига горького прощанья —
все лишь сейчас, и больше никогда.

Рябина — смена дней, ночей и лет,
от бледных красок путь к тому итогу,
что в зрелости своей обещан Богу —
но где берешь ты прелесть, форму, цвет?

Андрей ГОЛОВ

Публикация Светланы Головой

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Жизнь — это то, от чего устаешь быстрее,
Чем осознаешь разнство стихов и прозы.
С этим едва ли станет спорить Борей,
Тем паче — Барух Спиноза.

Ибо душа — если забыть Декалог
И пчелу, в чей-то нимб вплавленную в полете, —
В сущности, лишь предлог или сверхсхемный слог
В гесиодовом гекзаметре плоти,

Жаждающей броситься в веру, в бред, в бой,
Слезами и кровью упраздняя формулу бденья,
И за миг до ухода почувствовать над собой
Бога — или знак ударенья,

Пока Летучий голландец, витражом своих парусов
Слегка поправляя знаки надмирного алфавита,
Еще не запер пространство на обомшелый засов
Тире — или раззолоченного бушприта,

На кончике которого устало мерцает звезда,
Не уместившаяся в фабулы, формы, числа:
И кроткий призрак «нет», уступая призраку «да»,
Явь исцеляет от смысла.

МЕТАФРАСТ

Все то, что недописано судьбой,
Молитвой, плотью, творчеством, дорогой,
Однажды посмеется над тобой
И подведет итог настолько строгий,
Что дрогнет закосневшая душа,
Не в силах с обреченностью смириться,
И взмолятся Христу, едва дыша:

— Чувств просвети простую пятерицу!
И мнози позовут твой дух во тьму,
И неции укажут тропку к свету —
А ты замрешь, не в силах ни тому,
Ни этому последовать завету.
И на краю никчемности чудес
Узреешь в страхе, вставши на котурны:
Господень ангел и неvemый бес
Твой путь и жребий достают из урны.
И высока и осиянна высь,
И все земное тщетно и ничтожно,
И ты взыскуешь верить и спастись —
Но человеку это невозможно.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Кого Господь торопит, тех догонять вотще
На крыльях ласточек или на быстроногих ланях.
Куда вы так спешите, старик в дорожном плаще
И хрупкая Дева с Младенцем в усталых дланях?

Последний раз в сторону Иерусалима взглянуть,
Последний глоток сикеры центурионом выпит.
Может быть, вам налево или вправо направить путь?
Ведь это — дорога в Египет.

Горький дымок костра и тусклые блики монет
В ненасытных ладонях римской стражи.
Как рано брезжит за спиной беглецов рассвет
И солнце прорезает туман Вифлеемской пряжи.

Но вновь над дорогой плывёт и реет звезда,
Призраки яви пред Предреченным развеяв.
— Вы слышали про перепись? — Разумеется, да.
— Что ж, проезжайте. Кто вас поймёт, иудеев...

Но напрасно пред ними время разъяло свой зев
И втуне ощерились Иродов меч и пламя.
Видишь: их путь охраняют Агнец, Телец и Лев,
И Орёл, паря над дорогой, их осеняет крылами.

Шагает старик, а Дева на осляти минует прах.
 Спроси её, вещунья, на камень присевшая с краю:
 – Знаешь ли ты, голубка, Кто спит у тебя на руках?
 И Матерь ответит: – Знаю.

ЗОСИМА И САВВАТИЙ

Погляди, как, клочками облаков
 Заслоняясь от бесовых объятий,
 К валунам непоклонных Соловков
 Подплывают Зосима и Савватий.

Явь дрожит, как скорлупка на волне,
 И предызбранной манит красотой,
 А у старцев, укрывшихся в челне,
 Только крест — и в душе, и за душою.

С хлябью вспененной ратует весло,
 К цепким взорам притягивая берег,
 Где пространство ещё не обрело
 Образ истины, соприсущий вере.

Но не зря здесь стожаров письма
 Книгу Света избранникам открыли,
 И, как в храме, душа осенена
 Вещим реяньем ангельских воскрылий.

Ибо — здесь топоры молитв врубать
 В толщу стуж, и скорбей, и лихолетий,
 И, апостольским рыбалям под стать,
 В мир закидывать истовые сети,

Над посевом молиться на заре
 И хребет подставлять под коромысло,
 И веками в берестяном ведре
 Носить влагу светящегося смысла,

И весь век не щадить души и плеч,
 Воспоследовав тени серафима,
 Чтобы камнем и золотом облечь
 То, что сердцу и так давно уж зримо.

ПИНГВИНИЙ ИСХОД

Сложите свои кисти, богомазы,
 Олифою покрывши райски виды:
 Се — кроткие пингвины — скалолазы
 Восходят по гранитам Антарктиды.

Куда Господь ведет их, словно Моше,
 Бродившего по пустошам Синая,
 Пославши им лишайники поплоше
 В обетованье будущего рая?

Куда они воспростирают шею,
 Глазенки от земного отрешают
 И воздеянием рукую своею
 То бишь косыми лапами, свершают

Жертву вечернюю? Бог весть... Кого-то
 Тропинки эволюции учили.
 Сакральным суррогатом перелета
 Исход их длится стадии и мили,

Скрывая тайный смысл свой от смиренных
 Пушистопешешественников. Лыдины
 За спинами их рушатся мгновенно,
 А их влекут голодные долины

И чувство упоительной обиды
 На смутного предшественника Феба,
 Что небо много больше Антарктиды,
 А Некто Всемогущий — больше неба,

Которое лучится, словно призма,
 И радужными пазорями длится,
 И сумрачной аскезой альпинизма
 С пингвинами не устает делиться,

Чтобы они, родов смежая звенья
 И рваные заципывая раны,
 Стезеею смутной Божьего веленья
 Брели к своей Земле Обетованной.

НЕСЕДАЛЕН

Знаю стол локтем, знаю путь мерой,
 Знаю смерть жизнью, знаю ночь — днем:
 А Христа — сердцем, а Христа — верой,
 Той живой правдой, что горит в Нем.
 Все стези святы, все пути правы,
 По каким, Благий, Он ведет нас:
 Христос — Бог верных, Христос — Царь Славы,
 Христос — Смерть Смерти и души Спас.

Господи, искупивший ветхоадамлю природу,
 Иисусе Сладчайший, восшедший за нас на крест;
 Христе Господень, в вино претворивший воду,
 Сыне Пречистой Владычицы, Невесты Невест;
 Божий Агнец, паки грядущий со славой,
 Помилуй при грозном конце мирови и Руси
 Мя недостойна, погрязша в скверне лукавой,
 Грешнаго паче всех — прости и спаси.

Так далек Петр Твой, так тяжел камень,
 И трещат ребра, и ослеп глаз:
 Но в душе — вера, но в душе — пламень,
 Не огонь — искра, но и в ней — Спас.
 Спасе — хлеб духа, Спас — вода жизни,
 Спасе — День судный и благой час;
 Пусть иссоп рая и на нас брызнет,
 Пусть зерно Царства прорастет в нас!

Святой Моисея от пучины черноморския избавитель,
 Боже, Первопричина тварей и зданных миров,
 Святой Лазаря четверодневного воскреситель,
 Крепкий Заступник, прибежище и покров;
 Святой Параклет, Утешитель-охранитель,
 Бессмертный Податель неизреченных даров —
 Помилуй истомленных в житейской борьбе
 Нас, с верой притекающих к Тебе!

Светлана ГОЛОВА

ПОПЫТКА К БЫТИЮ

А смерти нет — но есть рожденье к жизни. Рождение к бытию, в котором нет сна, желания слиться с бездыханной тенью, прихотливо заброшенной на зигзаг дороги. Непрестанное бытие — удел святых у престола Божья.

Предпринять попытку к бытию удастся лишь немногим в нашем грешном и постоянно дробящемся мире. И эта попытка не может быть совершенной.

«Попытка к бытию» — так называется последний сборник Андрея Голова, изданный за свой счет. В нем личное бытие совершается на языке различных времен и культур. На языке китайских свитков, самурских мечей и скарба скарабея, где отыщешь и девушку — ложечку, и атрусский шлем, и цилиндрическую печать.

Андрей Голова говорил об онтологической сущности поэзии:

Творчество. Тяготенье твари к Творцу.
 Исступлённо покачивающееся тяготенье лунного блика
 К соловьиной Селене. Склонность духа помочь лицу
 Облачиться в обличье лика.

Слушая его стихи, оставалось лишь удивляться, зачем совершать таинство «тяготения» твари к Творцу на языке атрибутов чуждых христианству культур и эпох. Думается, в основе «протеизма» и восприимчивости к голосам чужих культур, лежал не дар памяти, позволявший вжиться в чужое, как в свое. А широта русского духа, которую лучше было бы не сузить, а развернуть по оси — преобразить широту в протяженность вертикали — от земли к небу, — в ту онтологическую вертикаль, к которой стремился поэт. Он подбирал мелодию к своей душе, пользуясь музыкальными системами других культур, ибо хорошо темперированного клавира ему было мало, и учился воцерковлять языческие широты своей души.

Музыка, литература и живопись «второго» ряда часто была ему ближе и родней «вершин». Смирненное вслушивание в широту бытия научает любить неприметное. Хрестоматия — могильный памятник культуры, которая не терпит избирательности. Но такая позиция не исключает высокого духовного ценза на право называться культурой, поэтому очень многое из того, что наш век называл культурой, он таковым не считал.

Он был живым доказательством того, что эрудиция вере не помеха и что можно быть хорошим христианином, всматриваясь в напоминающие иероглифы тени бамбука на полотне собственного подсознания.

Но чем насыщеннее материальностью и вещностью онтологические чаяния духа, тем больше искушений и страданий ждет человека на пути его духовного восхождения. Земля нам не дом, а гостиница. И чем восприимчивее душа к красоте мира, тем больнее язвит мир душу, стремящуюся придать нашей любви к дольнему устремленность и «тяготение» к горнему. Земля мстит желающим от нее оторваться.

Мне кажется, что его прикованность к инвалидному креслу была платой за тонкое чутье к «мистерии материи» — точнее противостоянием от материальности, которой он стремился придать направление онтологической вертикали.

Все начиналось с музыки. Он говорил, что чувство слова в нем проснулось благодаря сочной речи его бабушки — простой крестьянки с редким именем — Агапия, — и старинной музыке. Синкопическая прихотливость мелодий становится богатством логоэтических размеров. Он не воспроизводил метры античных поэтов, его логоэды — это изломанный ритм сердца, учащегося у музыки смириться с изысканными сбоями и полюбить их. Он мечтал умереть от болезни сердца, еще в молодости бившегося логоэдами.

Первой его любовью стал русский XVIII век. Поэт упивается барочной сочностью переживаний людей той эпохи, но вместе с тем созерцает на лицах отсветы сиреневого (фиолетово-левкойного) цвета, который был для него цветом смерти:

На пороге могилы. Исступленьем
Согрешают юнцы и старики —
Но ложатся сиреневые тени
На знамена, на кубки, на штыки.

Любимым его цветом также был левкойный, который он особенно ценил в колокольчиках и анютиных глазках.

В годы своего духовного подъема он жил практически без отдыха. Переводил в день по половине листа (20 000 знаков) с английского или немецкого языка (вышло 23 книги в издательстве «Росмэн», 28 — в «Эксмо», в «Водолее» — «Сильвия и Бруно» Л. Кэрролла, 11 путеводителей в «Polyglott — Дубль В»), вечерами писал или переводил стихи, читал книги.

Постепенно совершался исход из увлечения XVIII веком, Китаем и Японией. Андрей Голова все более становился православным поэтом.

Одно из последних стихотворений в прозе, посвященное Японии, написано в форме акафиста. Впрочем, любовь к Востоку не оставила его. О Китае он говорил, что в нем красота заменила Бога. И учился у китайцев радости в скудости и любованию камнями и цветами.

«Мистерия материи» постепенно превращается в литургию, в которой животные сослужат человеку и помогают ему спасти вечную душу. Мир артефактов вытесняется «ковчегом твари бессловесной». Космос, ценный своим прошлым, культурными памятниками и историей, становится живым дыханием, разлитым во Вселенной и славящим Бога.

Как ценность творчества человека измеряется силой тяготения его ко Творцу, так тварь бессловесная совершает свой творческий акт в сослужении человеку. В результате поэтическое пространство оказывается согрето ласковым присутствием бельков, ежиков, пингвинов и т.д.

А затем становится невысказанной и вселенская литургия человека с тварью бессловесной — теперь онтологическая вертикаль касается земли лишь в храме. Так язычествовавшая и постепенно преобразившаяся широта становится залогом устойчивости онтологической вертикали:

И птахи за окнами, поеживаясь до дрожи,
Поглядывали из несвитого гнезда
На мир, который не токмо творить не может,
А ничего не стоит без Христа.

Лики святых и «иконное умозрение» становятся последним этапом его духовного пути. Удивляло что он, обладавший столь богатой памятью, уверял, что не помнит своих стихов наизусть. По земным меркам это было не совсем так — при необходимости он цитировал свои стихи. Но это было правдой в высшем смысле слова. Он совершал именно духовное восхождение и не должен был соотносить настоящее с зафиксированным в стихах прошлым. Собственное творчество не было для него «запасом на черный день», к которому можно вернуться, чтобы подкрепить духовные силы.

В редкие периоды молчания он не перечитывал написанного и, если будет на то воля Божия, готов был перестать писать стихи совсем, не испытывая при этом комплекса богооставленности и ущербности. В такие времена он говорил сначала, что утратил чувство сопротивления материала — формальная и реальный сложность стиха перестала быть сложностью, и он не мог найти форму, энергетика которой соответствовала бы энергетике его мысли. Но затем оказалось, что предельной энергетикой обладает простота. Ее невозможно стилизовать, в ней чув-

ствуется всякая фальшь и малейшее неверное движение души и мысли. Трепетно ценил детскую простоту. С формальной точки зрения его стихи последних лет не столь изысканны, но в них несравненно больше теплоты и нежности к миру, в них описанному.

Впоследствии он говорил, что духовное делание обесценивает творчество.

Если вы откроете том его стихотворений, вы не увидите напряженного духовного восхождения. Его воля состояла в том, чтобы печатать стихи не в хронологическом порядке, а составлять тематические циклы — и даже внутри циклов стихотворения представлены отнюдь не в порядке их создания.

Сборники его стихов скорее отдаленно соответствуют эстетике клейм на иконах. В центре — лик, а по кругу — сцены из жития, представляющие взору одновременно. Так хронология втекает в большой хронотоп времени, избавляясь от оков обязательности и последовательности.

В лирическом преодолении хронологии запечатлелась готовность души войти в вечность. Я верю, дух его предвечно бдит, лишь плоть столь немощна, что спит, но тоже чаёт воскресенья и помина:

Солнце плавит из бурой руды — зрачки
Душа прозреет, откинув плоть, аки шубу,
От снов былых будили нас прежде сверчки,
А от грядущего — архангельские трубы.



СТИХИ

Игорь БОЛЫЧЕВ

Зачем так много слов на свете.
Зачем так мало в них тепла.
На берегу играют дети.
Играя, строят города.

Шероховатой жижи струйку
Сжимает детская рука,
Витиеватую постройку
Она возводит из песка.

На небе солнце. В поле лошадь.
Над речкой — паутины нить.
Пришла пора смотреть и слушать.
И ничего не говорить.

2006 г.

Человеческой жизни не хватит,
Притяженья не хватит звезде,
Чтобы мальчик в пальтишке на вате
Научился ходить по воде.

Он умрет от тоски и презренья,
Он иссохнет, считая часы,
Ожидая любви и прозренья,
Как трава полевая — росы.

И слова, что хранили народы,
И слова, что хранили века,
Как подводные атомоходы
Тихо лягут на дно языка.

Человеческой жизни не станет
Притяженье изменит звезде,
До поры, когда мальчик восстанет
И пойдет по бурлящей воде.

Из-под ног, словно серые горы,
Субмарины всплывут из глубин.
С залпом ядерным новой «Авроры»
В мир придет человеческий сын.

И когда во вселенскую слякоть
Ухнет всё с ненадежных орбит —
Что он сможет? Проклясть да оплакать.
Да и то, если Бог пособит.

Снова осень за окнами плачет.
Мокнут липы, скамейка и стол.
Ничего это больше не значит,
Жизнь твою этот дождик иначе
И смывает в холодный подзол.

На дорожке овальные лужи,
Человеческой жизни года —
Мельче, глубже, пошире, поуже.
Да, конечно, бывало и хуже,
Но бессмысленнее — никогда.

В сером небе гудят самолеты.
Льется с крыши на землю вода.
Капли, паузы, брызги, длинноты —
Русской музыки вечные ноты —
Ниоткуда летят никуда.

Пароход, пароход, пароходик...
Ю. Огарченко

Не оглядывайся. За спиною
Давно не на что больше смотреть.
На ковчег благонавному Ною
Догружают последнюю клеть.

Уходи, помаши им рукою —
Всякой твари в попарном строю.
Собирается дождь над рекою.
Всё одно к одному. Всё — в струю.

А хотелось — всего-то — «немного»:
Света, счастья, простора, любви,
Благосклонности мира и Бога,
Музыкального звона в крови.

И казалось — вот-вот — и начнется —
Соберись, напрягись, продержись, —
И в сияющий воздух взвьется
Черно-белая ласточка — жизнь.

Человек, человек, человек.
Жил и жил бы — да горя не знал.
Пас бы козочек или овечек,
Да хороших детишек строгал.

Спал и спал бы. Зачем разбудили?
Музы дёвичий голосок!
О могиле поет, о могиле.
О могиле и пуле в висок.

А все могло бы быть иначе,
И — «через годы и века» —
Цветы на подмосковной даче,
Трава, деревья, облака.
Невдалеке резвятся дети.
И Вы читаете мне вслух.
Неважно что — хотя бы эти
Четыре строчки. Хватит двух.

Да плевал я на ваши законы —
Не смирюсь, не пойму, не прощу.
Дед пускал под откос эшелоны,
Я — всю вашу эпоху пущу.

Не за то, что вы жрали и пили
И в шампанском купали блядей,
А за то, что вы души растлили
У ни в чем не повинных людей.

На пустой «исторический прочерк» —
На бессмысленный ваш балаган —
Хватит пары проверенных строчек,
Музыкальных моих партизан.

И на очередном перегоне,
Просыпаясь по малой нужде,
Вы проснетесь не в мягком вагоне —
Вы вообще не проснетесь нигде.

Горний звук — он пощады не знает,
Потому что любовью горит.
«Это музыка путь освещает»,
Это музыка рельсы взрывает,
По которым эпоха гремит.

Симе

*...И небо синее, как пятна
Чернил на пальчиках твоих*

Игорь Чиннов

Играй нам, Сима. Ты не знаешь
сама, о чем играешь нам.
Неверным пальчиком — по краеш-
ку-ку, ку-ку холодных клавиш —
перебираешь жизни хлам.

Ку-ку, ку-ку, играй нам, Сима,
пускай фальшивишь ты, пускай
порою попадаешь мимо,
привычных нот, не умолкай,
не прекращай.

Играй нам, Сима,
в свои неполных восемь лет
о том, что всё непоправимо,
о том, что жизнь проходит мимо,
и как она невыносимо
красива. И спасенья нет.

Вальдемар ВЕБЕР**ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА**

У нашего военрука не было правой руки.
Он почти не рассказывал нам о войне
и совсем ничего
о руке.
Вспоминал,
как пахнет земля и небо
в перерыве между боями,
о стуже, о страхе,
о сибирячке — связистке,
и как однажды в окопе
ему захотелось ее пощупать
в самый разгар артобстрела ...
Прямо так и сказал
нам, пацанам,
доверительно,
как мужчина мужчинам.

После войны
в нашем классе
у меня одного был отец,
за что остальными,
случалось,
я был беспощадно бит.
До сих пор не забыл
вкуса крови во рту
и кто бил, и куда.
Ничего не забыл,
но знаю:
им куда тяжелей
вспоминать об этом.

Казахстан. Начало 90-х. Бывшее село под Павлодаром.
Перед одним из домов сидит казах на скамейке, курит.
В целом селе один-одинешенек.
Говорю: немцы ау, русские фьють, как жить дальше будешь?
Глаза еще больше сузил, запел:
Степь баальшой-баальшой,
ветер дует, песок летает, трава растет.
Челавэк приходит, челавэк уходит, трава растет.
Сидим, молчим,
слушаем, как хлопают двери пустых домов.

А. Казанской

Каждый день просыпаюсь от боли
с надеждой
что боль не моя
а чужая
мне стыдно
мне страшно
но боль надежды
сильней стыда и страха

В таллинской мастерской моего приятеля, скульптора, на специально изваянной колонне-цоколе стоял оправленный в бронзу человеческий череп. По будням его приспособляли как фонарь, во время пиров использовали как кубок для вина.

Мой широкоскулый друг уверял гостей: это череп тевтонского рыцаря, что подтверждается его ярко выраженным долихоцефальным строением.

«Вот и все, что осталось от славы тевтонов, — восклицал он, не в силах обуздать хихикающей интонации, — «мог ли мечтать мой чухонский предок, что однажды череп его господина его потомок наполнит настоящим рейнским вином...»

Кубок переходил из рук в руки, от уст к устам, снисходительно молчалив.

Там, в глубине России,
мы не ждали известий.
Прикладывали ухо
к рельсам,
к стенам разрушенных монастырей,
и слушали, слушали...

Детство. Похоронная процессия,
распухшие от слез лица,
черно-красный гроб,
сверкающая медь духового оркестра,
весенняя кашня дороги...
На деревьях, заборах
любопытными стайками
галки, грачи, мальчишки.
Грешная красота чужого горя.

НА ПОСЛЕДНЕМ ОТРЕЗКЕ ПУТИ

Мертвецы выходят к обочине дороги,
зовут в темноту
к своему костру
побеседовать по душам.
Но их костер не греет,
я мерзну,
а им хоть бы хны,
им что ветер, что дождь.
Не выходит у нас разговора.

В КВАРТАЛЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Потомки их жертв
гуляют здесь без опаски,
как овцы среди каменных львов.

ЛЕДОХОД

Льдины рвутся вперед.
Рычат, расталкивают друг друга.
«Учись у них жить», —
говорит мне, пацану,
капитан спасательной службы.
Помню тишину, наступавшую
после ледохода.

Совість солдата чиста.
Присяга — священный родник,
в котором он
время от времени
омывает ее, словно
лезвие штык-ножа...

Собственная смерть
непредставима.
Еще невозможней
себе представить
собственное бессмертие...

Время — наркотик, не лечит,
лишь притупляет боль утраты.
Приходится постоянно
увеличивать дозу.

Поражение
останавливает
победное шествие суеты,
заставляет присесть у огня.

Татьяна ГРАУЗ

ПОДАРОК

друг мой как сохранить эти совсем невесомые вещи
пазлы из солнечных бликов на тёплом арбузе
звон колокольный у парка с названием «Липки»
тяжесть речного прибоя воздух прозрачный
дней быстротечных неутолимую жажду
может подскажешь?

радость дней приворотных
небо чуть выгоревшее на солнце
редкие звуки в комнате полупустой

день переливается в день
тихий час соседствует с звоном разбившейся чашки
в тёмном под вечер красном дальнем углу
как воздух
в отшлифованном янтаре

на ветхом сиротстве Божьей травы
свет Фавора

алый цветок на деревянной дощечке — портрет моей матери
до самой зари
капля взгляда его дождевая

ПОЛЕ И КЛЕВЕР ПОД ОБЛАКАМИ

я обняла это поле взглядом особым
алое сердце клевера тихо заняло

это было как пиросманиевы клеёнки
тревожно и одиноко вначале
трава пробивалась в тёплое дня
проводница вносила сияние
одуванчиков
дождь влажно чиркал по стёклам
наши тени плели
узловые станции
и полустанки
владыка длинного царства
ночь
суровой нитью связывал иные миры
в здания мира
в милосердные утра
дудочкой будущего
в колыбельную
-чь

на фотокарточке освещённой светом апреля
4 число
года
да Бог с ним с годом
цифры давно меня не волнуют
даже счётчик электричества проверяет соседка Евгения Валериановна
несколько лет назад ей шунтировали её глубинно-тёплое-сердце
иногда шрам выползает из-под голубенькой кофты
тонкой белесоватой строчкой
она улыбается светом поля нездешнего
«не буду вас, тая, собой утомлять»
а за спиной её — фотокарточка моей мамы с книгой в саду

вот и дождь зарядил
ударяются каплями тихие души

Алексей КАЩЕЕВ

Я пил Главспирттрест. Я пил Смирнов.
 В Твери наливался настойкой гадкой,
 Я пил куда-то пропавший Тинькофф
 И вечно зеленую «Балтику-девятку»,
 Я пил граппу, вино и портвейн,
 Я пил перцовку, закусывая салом,
 Я пил с теми, с кем пил Евгений Рейн,
 И с теми, кого уже не стало.
 Я хлебал ракию, я тянул Малибу,
 Я хлестал коктейль за семнадцать баксов,
 Я ставил бутылку на ржавую трубу
 Одной из улиц Красноярска,
 Я наливался спиртом, разбавленным физраствором,
 Я жрал неизвестный напиток на букву «бэ»,
 Напившись виски, я пел сам с собою хором
 (Лучше всего выходили песни «Любэ»),
 Я пил в одиночестве, пил с пожарником,
 Бухал с мрачным санитаром Димой,
 Я пил с пограничником и алтарником,
 С любимой женщиной и с нелюбимой,
 Я запивал соком, заедал салатом,
 По утрам глотал холодную вкусную воду,
 Я мучился тошнотой, воображая себя солдатом,
 Боящимся тягот, но все же идущим в пехоту,
 В пьяном виде я летал в самолете,
 Писал стихи, разговаривал со своим котом,
 Играл в бильярд, спал за столом на работе, —

Но ни разу, ни разу не думал о том,
 Что, когда покинет душа моя брненное тело,
 И явится ангел с блокнотом, сквозь чьи-то всхлипы
 Он спросит меня не о том, что я в жизни сделал,
 А только о том, сколько и с кем я выпил.

Алексю Панову

мой прадед был артиллеристом
 с крыши ныне снесенной гостиницы
 его расчет сбивал неистово
 самолеты бомбившие столицу
 от прадеда остались игральные карты
 десятки медалей и автографы тогдашних писателей
 теперь я пользуюсь кредитной картой
 одного из банков страны-неприятеля

мой прадед хотел погибнуть за Родину
 он был характером строг десятка не робкого
 так говорила прабабушка вроде бы
 он умер от рака
 кажется
 левого легкого

с медалей Сталин щурится взглядом пижона
 когда я лезу в сервант протирать пыль
 как будто не Сталин убил сколько-то там миллионов
 как будто не прадед мой а я победил

я боюсь смерти не знаю молитвы
 в армию я не пойду упаси Боже
 кто сейчас помнит день Куликовской битвы
 все победы забудут и эту тоже

но когда в местах где по его желанию
 стреляла в небо зенитка снарядом советской кройки
 в тех местах где стояло могучее здание
 а теперь леса бесконечной стройки
 в тех местах проходя по грязным ступеням
 я поднимаю голову в небо синее

потому что мой прадед выжил за это мгновение
 потому что меня называли его именем

Прилежная еврейская семья
летит в Нью-Йорк. Курчавый длинный парень
Глядит в иллюминатор, а за ним
Не менее курчавая трава.
Там, за стеклом имеют место быть
Два облака и внуковская башня,
Да человек на взлетной полосе.
Все это потеряет после взлета
Свой первозданный вид, оставшись лишь
Воспоминаньем, тенью, каплей в море.
Сторонний зритель скажет, может быть:
«Бывает так, что родина бывает».

Подобное испытываю я,
Когда поеду с кладбища. Автобус
Придет пустым. Я выгляну в окно:
Не менее курчавая трава.
В весеннем небе солнце освещает
Два облака, а если глянуть выше,
Не видно башни, а вот крыш полно —
Мой самолет летит не вверх, а прямо.
Как ни лети, не скрыться даже так
От родины, обжитой нами насмерть.

БЛОГГЕР И ПЕСОК

Известный русский блоггер Аркадий Иванов любил свою квартиру и не имел врагов. Он жил на Бережковской, куда издали несет неспешно волны спокойная река, и в окна Иванова глядел речной простор, пока стучала клавиша, светился монитор. Друзей имел он массу — точнее, тысяч пять, — и часа не хватало френдленту прочитать. Писал он о России (что власти в ней плохи), и раза три в неделю выкладывал стихи, кросс-постил чьи-то фотки, придумывал опрос, комментариями своими он ум и ясность нес.

Меж тем по речке плыли бесчисленные суда, песок везли оттуда, песок везли туда, гудел пожарный катер, звук уносился прочь, на теплоходах свадьбы играли день и ночь. И снилось Иванову, что лучший день настал, и пост его последний в топ Яндекса попал. Он вскакивал с кровати, смотрел вокруг с тоской, и взгляд его встречался с привычной рекой.

Одним морозным утром в начале января особенно ужасно он чувствовал себя. Надев пальто и шапку, не застелив кровать, впервые за неделю он вышел погулять.

Над льдом холодным вьюга сугробы намела, но он увидел: сбоку проталина была: должно быть, в этом месте был сток каких-то вод, и между льдин, как пропасть, зиял водоворот.

И Иванов увидел в чернеющей воде свое лицо худое и иней в бороде, стащил с себя он шапку, и, сквозь морозный дым, прищурившись, увидел, что стал почти седым. Седой мужик в ушанке выглядел из льдов. «Как это получилось?» — подумал Иванов.

Вот он окончил школу, окончил институт, женился и развелся, работал там и тут, — но это все неправда, одно он точно знал: что крайне популярен его живой журнал, — и тот неполноценен: Есть в Пензе остолоп — френдов имеет больше — есть те, кто вышел в топ, кто больше популярен, кого не тронет тлен, кого упоминают МК и CNN.

В отчаянии смертельном, спеша, как только мог, он побежал в квартиру писать последний блог. Он написал, что старость пришла к нему теперь, что больше жить не хочет — и выбежал за дверь.

Он взял бутылку водки, поднес ее к губам, и, смелости набравшись, купил феназепам.

Ходил он возле дома в вечерний этот час, он водку пил, и думал, что все в последний раз. Но в полвторого ночи вернулся он домой, и, просто на прощанье, журнал проверил свой:

За честность выражали ему большой уважение, за сутки зафрендрили сто двадцать человек, и пост его последний цитируемым стал, и утром, несомненно, в Топ Яндекса попал.

Теперь на месте дома построили кабак, огни горят у входа, рассеивая мрак. Весной официантки там ходят налегке, и окна ресторана направлены к реке.

Ползет пожарный катер, его гудок высок,
И баржи перевозят
Песок, песок, песок.

Мария КОЗЛОВА

Вот лист стоит перед травой,
Вот жизнь стоит передо мной.
Вот шум шагов по мостовой,
И мы идем к себе домой.

Вот мы идем рука в руке
Издаека, а вдалеке
Стоит наш дом, цветет наш сад,
И мы идем к нему назад.

А там, где сходятся навечно
И скатерть белую кладут,
Там разговоров не ведут
О том, как счастье быстротечно.

Там снег ложится, как овечка,
Там лед, как коночка, звенит,
Там счастье — медное колечко,
Выходит мама на крылечко
И тихо с папой говорит
О том, что сердце не болит.

Над ним — земля.
Над ней — гранит.

Я же знаю, как это бывает,
И какая потом пустота
Темно-синей волной проплывает
Под изменчивой аркой моста,

Где, как стебли, колышутся звуки
И звучит в тишине вековой
Тихий голос любви и разлуки,
Растворенный в крови голубой,

Поднимаясь неостановимо
Из бездонной печали твоей
К светлой жизни и неоспоримой
Темной смерти, парящей над ней,

Чтобы вечно звучало и цело
То, что в сердце звучит и поет
В час когда, отрываясь от тела,
О бессмертье душа узнает.

Звучит мелодия простая,
Как эта улица с дождем,
А мы с тобой живем, не зная,
Зачем живем и как живем.

Бывает день, и солнце светит,
Бывает ночь, и тьма кругом,
А мы живем на этом свете
И будем жить на свете том

Через года, через столетья,
Никто не стар, никто не нов,
И смерти нет, в каком-то третьем,
В четвертом смысле этих слов.

Прости меня, как ни печально,
Но я ничего не могу,
И осени голос прощальный
Звучит на другом берегу,

В холодной воде отражаясь,
Плывут облака по реке,
И берег плывет, превращаясь
В неясную тень вдалеке,

Всё тает в тумане и дымке,
Всё глуше звучат голоса,
Всё больше следов на тропинке,
Ведущей в невидимый сад.

Прости меня, слышишь, я плачу,
Я тоже прощаюсь с тобой,
Быть может, все будет иначе
В какой-нибудь жизни другой,

Быть может, от нашего века
Останутся голос и свет,
Печальная тень человека
И чёрный его силуэт.

Просто воем на улице ветер,
Просто холодно стало в дому,
Просто всем одиноко на свете,
А не только тебе одному,

Просто жизнь оказалась печальней,
Чем любые рассказы о ней,
Просто нет ничего изначальней
Этой смутной тревоги твоей.

Так давай же бродить до рассвета
И на синие звёзды смотреть,
Потому что когда-нибудь это
Перестанет гореть и болеть,

Потому что когда-нибудь это
Не сумеет тебя обмануть,
И не станет ни этого света,
Ни другого какого-нибудь.

Послушай, этот воздух гулкий
Из сотни соткан голосов.
Гудят пустые переулки,
Своих не помня адресов,

Звенит стекло, бормочет глина,
И ветер воем в пустоту,
И кружит свет, как балерина,
На мелодическом мосту.

И звук летит навстречу звуку —
Большого сердца мерный стук.
Мой друг, мне грустно, дай мне руку,
Летит навстречу звуку звук.

Как будто этот мир звенящий
С тобой прощается навек,
И он уже не настоящий,
И ты уже не человек.

Хорошо бы теперь затеряться
Среди этих лугов и полей,
В жарком шёпоте сонных акаций,
В серебристом дыму тополей,

Чтобы музыка тихо звучала
И шумела сирень у крыльца,
Чтобы жизнь начиналась сначала,
Повторя себя без конца.

Лишь бы жить до скончания века
С этим странным пожаром в груди,
С обречённым лицом человека,
У которого всё впереди.

Александра КОЗЫРЕВА

УИМБЛДОН

1.

Альбионовы звуки толпятся во тьме гортани —
без стакана — почти никак, но на Уимблдоне
не известно, топ there, ничего заране,
только плавится воздух в почти сексуальном стоне.

Публика, воплощенная доброобразность, прикроет темя
сытой алчбы трибун — как во время оно.
Односложный выкрик арбитра, как Бога, «время!»*.
И не выиграть гейма, не угробив травы зеленой.

2.

Примеряйся теперь и к буржуйским будням,
но голодай опять, заглядывай в кратер своей могилы.
Начинай отвыкать от бесконечных сплетен и блуда.
Начинай прощание с тем, что находила милым.

Прости, наконец, и себе появление в мире
где всех-то рас, как сказала психиатресса из «Сербского» —
только кролики и тигрицы,
не придавай чрезмерно значения затоплению «Мира»,
может, потом и тебе повезет с когтями родиться.

Может быть, даже выйдет и нечто лучшее на десерт,
или даже лучше — просто лучшее, ибо
из процентов, как говорят, пока только на восемьдесят
разрушили Будду талибы.

07.03.2001

*time

3.

11.09.2001

Когда самолет вонзается в небоскреб
с легкостью пальцев, определяющих вязкость сметаны,
разум берет time out, превращается просто в скарб,
и ты не в силах поделаться что-либо с этим изъясном.

Из всех эмоций сильнейшей оказывается немота,
изумление с отчаянием отодвигая на третьи роли,
это не то что б кассета по пьянке не та,
это над небом Нью-Йорка и впрямь — дьявольские гастролы.

Липни к экрану, чтобы увидеть вновь,
как насекомо падают в бездну люди —
не бойся, в клубах адского взрыва неразличима кровь,
это для них — конец, а для тебя — всего лишь его прелюдия.

Станет ли нечто после осевшей пыли ясней,
так ли уж трудно будет этот сентябрьский день на задворки
сознания задвинуть?

Но если мне повезёт прожить ещё несколько тысяч дней,
я сделаю это — по одному за каждого, испепелённого в TWIN'ax.

4.

Вот и война в Ираке вошла в свою колею,
ее регулярно транслируют ночью в прямом эфире.
И я крокодиловы слезы у телеэкрана лью
вместе со всеми, толкующими о мире.

Старый феллах из берданки подбил «Апача»
и с библейской — арабы сказали б, наверно, суфийскою — простотой
на похвалы сородичей мерно кивает: а как, мол, иначе,
и поправляет ремень на выдавшем виды халате — узловатой рукой.

Перед тем, как отлететь в небеса,
души убитых — на миг встают на пуанты,
и Христос с Мохамедом, притворяясь, что под ногами — просто роса,
бредут, обнявшись, позади похоронной команды.

...только ночью однажды поймешь:
 эта жизнь — нескончаемый праздник...
 И взрослеющей осени дрожь
 вдруг сольется с твоею. И разве
 этот мир суеты и тоски
 не замешан на радости круто?
 Боль прозренья ударит в виски,
 и запомнится эта минута:
 ночь, свинцовая тяжесть воды,
 резкий ветер, и в саване дыма —
 фонари и река, и мосты...
 Облака, проходящие мимо.

Так: выйти из тюрьмы небытия
 и быть приговоренной к высшей мере.
 Там — сонм без чисел, здесь (пока что) я,
 хотя бы и не с бритвой в «Англетере».

И словно бы в насмешку, затаясь,
 на нас примерили аркан железный плоти.
 Что, голубь, что, светлейший неба князь,
 зачем тебе провал Буонаротти?

Иль груда мышц не может тешить взор?
 Или надрыв душе твоей не близок?
 Иль муки? Умирания позор?
 Иди, слабак, ступай себе в Ассизи...

Там золотое небо Лоренцетти
 и сумрачная нежность Чимабуэ.
 И если бы за нас вступились дети,
 Ты выбрал бы для нас судьбу иную.

И дорогие мальчики вернулись
 по щиколотку в смерти и крови.
 Что им теперь до опытов Бернулли —
 с клеймом чужезычным — шурави ?..

Театр гор — театр военных действий,
 песчаный плен мне застигает взгляд.
 Невзрослых глаз поруганное девство.
 О, Господи, верни мне их назад —

из лютого шатра Шахеразады,
 из тьмы сиреновой забвенья и руин,
 из крючьев озверенья и надсады,
 оттуда, из ущелий и равнин,

где их душа, на привязи, нагая,
 кричит и плачет в дьявольском огне —
 такую боль теперь преодолая,
 какая и не снилась мне.

Вот этот пруд — и вроде бы не Дания,
 и Гамлет смылся — врет, что на гастроли —
 и клены в королевских одеяниях —
 деревья лучше нас играют роли.

Ты помнишь — в третьем акте — облака,
 быть может, наскитавшись по столетьям,
 они устали — и времен рука
 швырнула их дождями в воды эти.

И почему-то мнится иногда,
 что там — Офелия, и чуточку обидно,
 что мутная зеленая вода
 такая мутная, что и лица не видно.

РИСУНОК

Когда из сердца выплывут объемы
и задрожат на кончике пера
и мы, тоской межзвездною влекомы,
себе напомним: кажется, пора.

О, поскорее, абрис и зиянье
там, где не свет, и свет, где нету тьмы!
Есть белый цвет, но есть еще сиянье —
оттуда ли приходим мы?..

О, свет и тень! Какой порукой кровной
один с другой навек соединен?
И в этой бесприютности огромной
что звезды: обещаенье рая? Сон?

И что есть тьма? Не верное ли благо
нам, не привыкшим к яркости луча?
Она добра, иначе как бы плакать,
по видимости только хохоча...

Словно мертвым друзьям, отлетевшим в чертоги Твои,
я должна отчитаться за годы смятенья и боли,
словно на сердце нынче идут огневые бои,
словно мертвый журавль все никак не застынет над полем.

Словно в сад по ступеням, свечу прикрывая рукой,
я, спускаясь, нечаянно трону струну половицы...
Как бесстрастно качается маятник мэтра Фуко,
не давая планете ни на волос остановиться...

Может, в том и разгадка, что даже ни на волосок.
Утекай, словно жизнь, скорлупою ореха в апреле.
Говори только с сердцем. Оставь напоследок висок.
Может статься, что мы существуем на деле.

05.04.1996

Елизавета КУЛИЕВА

ЗОЛОТАЯ МАМКА

И придёт Золотая Мамка, пророчица. И будет так.

У младенца янтарный леденец во рту перекатывается — день
сменяет ночь.
Полоскала Мамка красное солнце, приговаривала: «Гори, озеро-
око негасимое».

Темнота окрест. Злая Крикса в кустах ворочается.
Всплеснула Мамка руками и ожерелье рассыпала.
А он смеётся. Схватил бусину — и как бросит. И стала на небе
звезда.

Экий ты. Спи, мужичок, не балуй.

А он так и смотрит, так и смотрит, потому у него три головы, кроме
одной,
и он глядит: где утро, а где ночь и где живут четыре времени года.

А кто он — знать заказано. Но в нём — вся сила земли. И стать его
от молодого дуба.

Хороший бог. Сильный бог. Спи.

А в руке у него меч. И облаки на бороде повисают.
Спи, дитяtko. Спи, голубь. Не балуй.

Вихрастая лошадь.
Река и рука.
Старуха полощет
В реке облака.

Старуха стирает
Траву и дрова
И пот оттирает
Ладонью со лба.

Квадратное мыло
Старуха берёт —
Лицо наклонила
И тихо поёт:

«Ах, волюшка-воля!
Ребята весной
Нашли в чистом поле
Топор расписной».

Старуха стирает
Поля и леса
И пот отирает
Подолом с лица.

«Здравствуйте!..»
Быстрые строки,
как ступени, сбегают к воде —
каждый день я вхожу в эту реку.
Как бы пустившись в погоню за смыслом,
буквы насканивают друг на друга,
но, спутав следы,
от абзаца к абзацу меняется почерк —
это пространство играет со мной в кошки-мышки:
то раздвинется, приглашая войти,
то станет, как раньше, с игольное ушко.
Есть такие места — Вы их не найдёте на карте —
есть такие места, куда не всякому можно,
но бывают такие слова
и созвучья, и знаки такие...

«Здравствуйте!» —
это злое заглавное «З»
с детских лет не даёт мне покоя
(половинкой луны в глубоком качнувшемся колодце,
это встала на цыпочки и глядит на меня Бесконечность)...

С удивлением перечитаю
эти строки:
там резвились менады
и безымянная гостя
башмачок обронила хрустальный —
там глядит на меня Бесконечность.

Post scriptum:
Передайте привет
тёте Полли и Билли, и Салли.
И спасибо, что Вы написали.
До свидания.

Что именно — не знаю, всё на свете:
И снег, и струйка дыма над трубой,
И воробьи, и лошади, и дети —
Всё это как-то связано с тобой.

Хотя бы как-то связано, немного,
Но как — неясно, временно, на миг —
И небо, и железная дорога,
Дома и люди, и собаки их,

Их женщины, их голоса и руки,
И снова небо, и лицо в окне.
Не знаю как, из жалости, от скуки,
Пожалуйста, подумай обо мне.

Зачем — не знаю. Просто почему-то
И это утро, и овальный пруд,
Зима и лето, каждая минута —
Всё о тебе напоминает тут.

Вот и кончилась война,
Стала небом, снегом стала.
Как июльский дождь, она
Пронеслась — и перестала.

Больше нет Добра и Зла,
Нет войны — другое время —
Между этими и теми,
Между нами, между всеми:
Заронила в почву семя
И водой в песок ушла.

Блуждая в темноте, как опишу я
медлительный и хрупкий свет, когда
в Лонг-Айленде купается звезда —
и освещает комнату чужую,
не эти переулки и сады?..

твоё лицо прекраснее звезды:
нет ничего настолько дорогого —
другой звезды и имени другого.

Но больше нет (случайное соседство:
в мерцающей воде — привет из детства —
сверкая и двоясь, звезда дрожит) —
нет ничего, что мне принадлежит.

ДОЖДЬ

Страшно, Господи, впасть в немилость —
но на город обрушился дождь.
Солнце выглянуло — и скрылось.
Не обо мне ли ты слёзы льёшь?..

Неизбывна твоя забота —
просто я не умею понять...
сжался, Господи, дай мне что-то,
чего никто не сможет отнять:

маленький зонтик, верного друга
или дерево на пути,
не дом с камином — всего лишь угол,
просто место, куда идти.

СОЛДАТ

Шрам на твоём животе
светится в темноте.
Таких, как ты, прощают и ждут,
за такими в огонь и воду идут.

Если я одна на войне —
значит, это моя война.
Если ты забыл обо мне —
это моя вина.

ЛЕТО

Памяти Ольги Ивановны Татариновой

*Солнце и вода — это, пожалуй, то,
что я люблю больше всего на свете...*

*Ольга Татаринова,
«Non-fiction: «Кипарисовый ларец»*

Не на Останкинском пруду,
не в Коктебеле на причале...
я думаю, она в саду —
в таком саду, где нет печали.

В таком саду, где нет зимы, —
и долго варится варенье
(так новое стихотворенье
рождается из недр земли).

И там, где скруглены углы,
где есть и радуга, и море,
единственное в мире горе —
укол шипа, укус пчелы.

А здесь такой ужасный год,
и всё не так, и всё мешает —
напрасно мама утешает
и ужинать меня зовёт:

«Не выход — запереться в детской
и плакать. Не грусти, не плачь:
должно быть, с девочкой соседской
она в саду играет в мяч...»

Она бросает ей строку,
где жарко, где искрится лето,
где столько ультрафиолета, —
и прыгает с мостков в Оку.

Такой простор, такие дни,
цветы такие, что от солнца
укрыться можно в их тени.
Я думаю, она смеётся.

Вот бабочка летит, а вот
пчела целует незабудку...
всего-то вышла на минутку.
Она в саду — сейчас придёт.

Иван МАКАРОВ

Я, как чум, топлюсь по-чёрному.
На плечах моих ядро.
Чем ответит гласу горнему
Прокопчённое нутро?

Я боюсь ночного холода
Даже в полдень и в жару.
По какому в жизни поводу
Я нечаянно умру?

По какому, по какому там...
За стеной стоит стена.
По просторным общим комнатам
Громко ходит тишина.
Не укрыться, не подвинуться.
Ни туда и ни сюда.
Монастырская гостиница.
Грех надежды и труда.

Дни бегут, бояться поздно им.
Время вертит головой.
Ясный свет стоит над соснами
Неподвижный, но живой.

Август 2008 года, Свято Пафнутиев-Боровский монастырь

Мелкие злодеяния,
Мыслей полутьма.
Письма ради действия
Самого письма.

Время исказилось.
Бредим, как поём.
Косо отразилось
Всё и вся во всём.

Белые, как флаги,
Облака в воде...
Больше нет бумаги,
Кажется, нигде.

Жало и кружало.
Поиски тепла...
Как она бежала!
Как она прошла! —

С пастбища до хлева...
Краем, вдоль межи.
Называлась Ева,
Называлась жизнь...

В увенчанье бреда
Холод поутру.
Завтра я уеду.
Может быть, умру.

Незабытое забытое
Нежно светится во мгле.
Недобитые убитые
Тихо ходят по земле.

То ли вечер, то ли ночь.
Что пропало, что осталось,
То ли просто сутки прочь,
То ли это снова старость.

Жизнь пройдёт, и вспомнишь ты
Исключительно подробно,
Как ложился на кусты
Снег лениво и неровно...

За стеною шум и смех,
Ощущенье побега,
Потому что первый снег
Может стать последним снегом.

17. (YEARS OLD)

Заблужусь в себе, утону в росе.
Вопрошу про всё, не дожусь ответа...
Меня снова вылепят, такого, как все
Ни на что не похожего, из грязи и света.

Свет живёт, волнуется, в грязи отражён.
В мире осень, временное потепленье...
Не скажу, что я горним огнём обожжён,
Но и мне знакомо бедной души томленье.

Я не только червь, я ещё и грех.
Узник общей истории, из которой знаю:
«Самый древний грек канул в русский снег
И совсем замёрз». И я замерзаю.

Я один такой, невежда и паразит,
Глух и нем, как все, как чурбан берёзовый...
Я в татарском ватнике пройду по Руси,
От монастыря к могиле Морозовой.

Горе мне, забывшему, что смерть красна...
В недостатке веры спастись хотя бы надеждою
На любовь, которая одна честна,
Ни на что не похожая. Живая. Безбрежная.

Никого здесь нет. Мне 17 лет. —
Неужели, правда, такое было?

То ли звон оружия, то ли звон монет.
Протопоп. Морозова. И её могила.

Дождь идёт, и вода испаряется,
А потом это всё повторяется.
Хоть какими венцами увенчано,
До чего же здесь всё переменчиво.

Приближается, но удаляется.
Собирается, но расточается.
Общей мерою всё измеряется,
Измеряется, но изменяется.

Даже если всё это закончится,
Измеримое будет измерено,
Ходит вечное, где ему хочется,
Иногда притворяется временным.

Мысли туда и сюда.
Все врассыпную, навеки
Тонкие, как провода,
Жалкие, как человеки

Мысли вперед и назад
В поле, в лесу, на вокзале
Главное, чтоб тормоза
Не до конца отказали

Всуе шатает, несет,
Вертит в просторах печальных?
Может быть, все же спасет
Самых на свете случайных —

Нищих, детей и старух...
Только бы не разлучило
Всех, кого видел вокруг
Камень над братской могилой.

Александр МОСКАЛЕНКО

Жизнь — репетиция игры
на поле, разграфлённом мелом.
Вращающиеся миры
с трудом вмещаются в пределы
своих кисельных берегов.
На опрокинутое небо
упали кляксы облаков.
Уныло бредит Кастанеда
в свинцовом томе номер два,
страница семь,
строка семнадцать.
А на траве лежат дрова,
не вызывая деформаций земной коры.
Модель игры
содержит свод невнятных правил.
А во дворе рассыпан гравий,
внутри которого — миры.

Т.Щербине

Я пью полумрак листопада
под запах древесной трухи.
И кажется больше **не надо**
забрасывать в бездну стихи.
Кривые неровные буквы
давно никому не нужны.
Везут в магазины продукты
и цены уже не важны,
а книги стоят и пылятся.
Припомнив забытый рефлекс,
я вновь ухожу удивляться
в осенний, зияющий лес.
Пригубишь чуток листопада —
и мир погружается в тишь.
И кажется — больше не надо...
А ты всё стоишь и стоишь.

Оглянись на небо —

и ты пропал,
 если различишь сквозь нечёткий дождь
 яростной звезды матовый овал.
 И, как в юность,
 в доску вонзаешь нож —
 и не можешь прошлое расщепить,
 и бессильно бьёшь в дерево кулаком,
 и тарелку с надписью «Общепит»
 превращаешь в облако молотком,
 и в осколках гаснет твоя звезда,
 и остатки света смахнув в совок,
 ощутишь грядущие холода,
 и поймёшь,
 что небо покинул Бог.

Время — осень.

Дождь.
 Нескоро упадёт последний лист.
 Глаз зелёный семафора
 осветит платформу.
 Вниз по закону тяготенья
 падает с небес звезда
 на исходе воскресенья.
 Шпалы. Рельсы. Провода.
 Горизонт лежит полого
 и теряется в воде
 параллельная дорога
 параллельная судьбе.
 Неевклидово пространство
 переполнила вода.
 В жидком маслянистом глянце
 проплывают поезда
 и увозят вероятно время в осень.
 В кулаке — проездной билет.
 Обрато уезжаю налегке.

А жизнь идёт —
 и не проходит...
 И, может статься, не пройдёт.
 Плывёт по небу парходик,
 не превращаясь в **пароход**,
 плывёт, расплёскивая звёзды,
 плывёт, неведомо куда.
 Прочерчивают полоски
 внизу ночные поезда
 и поглощают расстоянье
 под мокрый перестук колёс.
 Шагреневые расставанья
 и душный запах тубероз
 скитаются во тьме вагонной
 который час,
 который год.
 А парходик монотонно
 по облакам плывёт, плывёт.

Когда **отрешённость** в природе
 достигнет последних высот —
 деревья уснут в позолоте
 застывших аминокислот.
 И будет над городом реять
 бесстрашный лесной паучок.
 И чашку разбитую клеить
 возьмётся седой мужичок,
 но тщетная эта работа
 ему не даётся никак:
 ведь золото — не позолота,
 а жизнь — не последний пятак.
 Работа не стоит усилий —
 забудь, мужичок, Хохлому.
 Разбитую чашку России
 не склеить уже никому.

Риэлтор, холдинг, ипотека —
бесмысленный и тусклый бред,
накопленный за четверть века
прилежным чтением газет.

Какая скудная эпоха!
Тоску пытаюсь превозмочь,
произнесу с циничным вздохом:
риэлтор, холдинг, дилер...

Ночь.

Летят мухи вислоухие,
помаленечку жужжа.
За опушкой пушки ухают.
Вниз по лезвию ножа
солнце медленное катится
за военный горизонт,
а застиранное платице
раскрывается, как зонт.
И танцует, безмятежная,
под разбитый патефон,
санитарочка небрежная —
та, в которую влюблён
покалеченный, израненный
лейтенант наивных лет
из столицы белокаменной.
Но трофейный пистолет
в кобуре надёжно прячется
под подушкой у него
и шуршит льняное платице
для него, для одного.
Медсанбат.
Цветочек аленький
из бумаги, из цветной —
в гильзе медной,
в гильзе маленькой,
в гильзе, пахнущей войной.

О. Татариновой

Это та же **вода** —
тощий дождь,
превращающий снег в серый сахарный наст
на исходе настырной зимы.
Мир вращается и завершается в нём человек —
потаённый сосуд для воды,
что у неба займы ненадолго берёт Демиург.
Я тебя позову —
мой расплывчатый крик исчезает бесследно вдали,
где деревья грустят, потеряв безвозвратно листву,
и над городом кружат, сужая кольцо, февраль.
Я почти растворился в метели, в последних снегах.
Как хрустит под ногами шершавый, нетронутый наст!
А судьба близоруко плутает по миру впотьмах
и не может найти в замирающем времени нас.

Привычно открой **деревянный компьютер**,
пеньковой верёвкой связанный с небом.
Гусиным пером в деревенском уюте
скрипи свои рифмы богам на потребу.

Читателю чужды подспудные смыслы,
ему импонируют чувства простые.

Девушка к колодцу несёт коромысло
и медленно звякают вёдра пустые.
Собака в пыли потянулась всем телом
и снова свернулась в тени у дороги.

И мнится: нельзя эту жизнь переделать,
особенно если живёшь на востоке Европы —
в России, где время не деньги,
но суть благодати, дарованной свыше.

... А Пушкин на сайте своей деревеньки
последние строки всё пишет и пишет.

Илья ОГАНДЖАНОВ

Лишь глаза закрою и сном забудусь,
душа серой цаплей над озером лесным закружит —
облака на дне его и опавшие листья.
Женским голосом кричит и плачет птица,
кличет милого друга.

А проснусь: ни озера, ни цапли.
Солнце на небе, как лист осенний.
И не вспомнить имени друга.

ты спишь в воздушном замке
гроздь сирени лежит на сердце
ты не слышишь
как рушатся твои песочные миры
и полночь марширует по брусчатке
ты спишь
твоя невеста расплетает седую косу
у стен грозит осадой тишина
рассветный сумрак пчёлы собирают в соты
и на штыках врывается в твой сон пехота

я только эхо ветра и дождя
умолкнет ливень и меня не станет
и палюю листвой по руслам строк
скользнут земли и неба отраженья
ни шелестом ни шёпотом ни криком
мне горней тишины не потревожить
и тенью звука в ней не отразиться
мгновенная струна бессонной ночи
я только голос спорящий с волной
кораблик-слово на реке забвенья

Пока солнце на цыпочках ходит по каплям росы
в почках набухших зреет шум листопада
птица слетает к земле на свидание с собственной тенью
и как пустая лодка оторвавшаяся от причала
улыбка Бога плывёт в облаках

к каким берегам пристанет
о камень какой разобьётся

и где безмолвию камня положен предел
и есть ли у камня душа
или нет у него ничего кроме себя самого
и нет у меня ничего кроме голоса

но если нет у камня души
о чём же тогда моя песня

и лепет листвы и жалоба ветра и вздохи приборя

Волны на лунной дорожке
лоза бесшумно струится к небу
как будто там её судьба и устье
и родина её плодов

оглянись
твоя тень полыньёю чернеет в закатных лучах
честнее зеркало найдёшь едва ли
едва ли дверь найдёшь распахнутую шире
и след отчётливей оставишь на земле

сквозь сумерки сквозь слёзы сквозь года
вглядись в неё и ей шагни навстречу
и на заре нежданно отразишься
в траве и листьях камне и воде

и камень и синица и звезда
недремлющих зеркал распахнутые двери
и ни в одном себя не узнаю
ни за один порог ступить не смею

но разве в жилах моих не та же тьма струится
что взламывает лёд и вспарывает землю лезвием травы
и разве в затопленной сумраком памяти я не найду
ни сотканного стрекозами луга
ни меланхоличного пруда
ни ивы склоненной над водой

нет ничего
лишь несколько исписанных страниц
и в никуда путём окольным карандашным
жизнь убегает ученической строкой
и почерк неразборчив и неровен

возьми займы у шелеста листвы
когда-нибудь вернёшь не ямбом так хореем
или ропотом шёпотом вздохом
в одиночестве ночью во сне
но пусть последний лист слетел с твоих ветвей
и пусть душа сиротствует в оледенелых кронах
найди лазейку в мёрзлой тишине
и сад тебе откроется такой
что кажется лишь руку протяни
и с ветки на ладонь созревший мир бесшумно упадёт

брошу в лужу монетку
не на счастье
не чтобы вернуться в этот мир
пережив ещё одну осень
а так от скуки
и на воде закружится пластинка
и музыка неслышно зазвучит

ветер дождь листопад
духовые и струнные
настройщик плакун-травы
беру как скрипку ветку клёна
и в тёмном шелесте мерцает звезда
и вьётся музыки бесцельная тропа
и я на ней один
без компаса и карты

качнётся лодка у причала
растает облако вдали
опавший лист в груди прошелестит
это время проходит моё
как поступь его величава

как звонко струится по венам рассвет золотой
как горестно память стрекочет
ответь мне кузнечик
одной ли печалью полны мы
с лесом облаком и рекой

в стрёкоте щебете шелесте тонут слова
в небе сияет заря чудотворной иконой
брат мой кузнечик
какая ширь над нами какая тишина
и в полный рост на косарей идёт трава.

Сергей ПРОНИН

Нет правды. Молодые облака,
не разобрав откуда свет, уходят
по длинному пути восход-закат
(хотя, пути длиннее есть в природе)
и растворяются как люди в переходе,
как в волосах моих твоя рука.

не выходя из дома можно сойти с ума
не то что познать целый мир
все кто были со мной стали героями сна
стихотворения — сводками СМИ

я полжизни мечтал оставаться один
и чтобы нельзя отыскать
но погружаясь в кровать я окружаюсь людьми
окружаюсь памятью словно водой батискаф

потому что сто лет одиночества это не
двадцать тысяч лье под водой
потому что на неизведанной глубине
я всегда остаюсь с тобой

дни останутся в памяти отпечатками нашей кожи
рук набирающих смс и кучу других сообщений
окажется не шелуха а древа рисунок сложный
открывающий кольца любви вражды и прощений

так в этой общей истории я узнаю твои буквы
среди прочих других узнаю твои пальцы
стучащие мне становится грустно мы будто
навсегда потонули в волнах информации

каждый возвращается к спаму который оставил
потому что за что ни возмись вспоминать уже нечего
тут приходит на ум как кто-то до нас наспамил
ЧАСТЬРЕЧИЧАСТЬРЕЧИВООБЩЕЧАСТЬРЕЧИ

ветер окраины лижет и по воде бежит
я тебя обнимаю и начинаю жить

весело и прекрасно падает лето вниз
ласково приручай меня я твой несчастный лис

будем руками сростаться и говорить об одном
быстро продлится осень с тобой за моим окном

это предсмертная спешка запомнится навсегда
боже как медленно льется и замерзает вода

на пустынных диванных полях
пали в грустной любви половой
пациенты больницы больной
те кто были живыми на днях
те кто жили когда-то со мной

и следы их хранит высота
белой наволочки неземной
а земная моя нагота
упивается мыслью одной
я всегда был на свете тобой.

Евгений САЕНКО

Когда на масляной неделе
Бразды правления мороз
Отпустит — оттепель, капли —
Какая синь в ветвях берез!

На спинках солнечных скамеек
Кто с сигаретой, кто с пивком,
Легко бегут без батареек
Часы — водою и песком

Весенний воздух — смех и слезы,
Все так прекрасно, все зазя,
Но снова, снова видишь грезы
В лазури нежной Грабаря.

И все смешав, стихи и прозу,
Чужую жизнь, родную речь
Еще последние морозы
По льду успеют пересечь

В потемках Волгу или Каму —
Все тленье, прах, Екклезиаст...
Ты помнишь — «Мама мыла раму» —
Кто это время мне отдаст?

Над Охтой облака что твой потешный флот
Ботфортами Петра измеренное время
Заброшено в канал как яблоко плывет
Там шпили осенит холодный свет и темень

Над парками зажжет холодные огни
И птичье отлетит цыганское кочевье
И вот уже стволы одни как снегири
Но чуть светлы как тайная вечеря

Так вечереет век но лишь окно толкни
Сквозным пространством лоб остудит хмурый воздух —
На пригородный сесть и спрятаться вдали
В отчизне растворясь пока еще не поздно

Пока еще тропа назад не заросла
Пока язык ведет и время в изобилье
Пока душа жива увечна и тоска
Пока еще сильна и чувства не остыли

Осветит солнце яблоки в саду,
И станет плод запрещен и прозрачен.
Пар изо рта кентавра много значит
Для вышедшего рано поутру.

Осенний сад, скажи, что не умру,
И яблоко, и часть его большая
Послужит не изгнанию из рая,
А украшением осеннему ковру.

Ковер летит и вниз не упадет,
Но круто забирая выше в небо,
Скорбь от земли уносит и не хлеба
Он даст нам днесь, но птичий перелет.

Алена ЧЕРНЫШЕВА

Она идет по улице многолюдной, где каждый третий — удачливый и
святой,

Она идет — и шаг бесконечно труден, кончается месячный
купленный проездной.

Она идет — Москва для нее смеется, роняет облака на ее лицо.
Она идет под мартовским светлым солнцем, где каждый третий
окажется подлецом.

Она спускается — снег на ступеньках тает, подземка открывает
свои врата.

Она спускается вниз — тяжело вздыхая, в сердце вползает липкая
пустота.

Она спускается. Люди тихи и редки, как будто лодкой Харона
плывет вагон.

Она спускается. Низ оживленной ветки нынче похож на чей-то
тревожный сон.

Она боится, Боже, колонн высоких, всех этих мрачных сводчатых
потолков,

Она боится, Боже, не зная, сколько невинных жизней жертвуют
свою кровь.

Она боится, поезд бежит по рельсам, поезд трясется, дергается,
дрожит,

Она боится. Бьется тревожно сердце, даже не бьется — пулей в
груди летит.

Господи, дай ей смелости быть спокойной, ей что ни звук — то
чудится громкий взрыв,

Господи, позволь ей не стать покойной, не дай упасть на шпалы в
глухой обрыв.

...Подземка нынче — минное поле Смерти, Судьба кидает случаи на
костер.

Она молчит и крестик на шее вертит, зная, что из нее никакой
сапер.

Тридцать мыслей, накиданных контуром карандаша,
Замирают, оставив на сердце знакомую сладость.
Эта боль не оставила мне ничего — ни гроша,
Ни души, ни намека на тихую прежнюю радость.

Мысль первая — будем. Не важно, когда или где,
У тебя, у меня, в этой жизни ли, в этой ли смерти,
Я сейчас благодарна своей неразумной судьбе:
Благодарна за то, что мы все-таки встретились вместе.

Дальше следует множество разных и ясных: ты мой,
Я твоя, счастье есть, как всегда — неразлучное с горем.
Эти мысли меня умирляют, как ветер морской,
Как последняя ночь перед самым безвыигрышным боем.

Я влюбилась — как раньше, до стонов в весеннюю ночь,
До глубоких царапин на бледных тончайших запястьях.
Мысль последняя — если и может мне небо помочь,
Пусть подарит тебя — мое личное горькое счастье.

Не протягивай ко мне руки, не трогай плечи,
Я не выживу иначе, не уцелею:
Передоз тобой — от встречи до новой встречи,
Вспоминать, как твои губы касались шеи —

Невозможно. Ни сил не хватит, ни стука сердца,
Чтобы имя твое — царапкой, яркой, длинной...
И твоими нежными пальцами не согреться:
Лишь забыться, до боли стискивая простынку.

Выдыхаю — [задыхаюсь] — ничто не вечно:
Тихим шепотом не баюкай меня ночами.
Мне не станет от этого не радостнее, не легче...

...Только память
будет дергаться
за плечами.

III
ΠΡΟΖΑ

Вальдемар ВЕБЕР

СТО ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

Я рос в маленьком среднерусском городке, невзрачном, как пыльный камень у обочины. Начинался он с деревянной выкрашенной темным суриком железнодорожной станции. За крохотным окошечком маячило сонное лицо кассирши. Время от времени на перроне появлялся с флажком начальник станции, угрюмо дожидаясь отхода поезда и, зевая, вновь удалялся.

До Москвы отсюда 101 километр. Те, кого в Москву после лагерей и тюрем не пускали, поселялись у нас. Сожительство блатных и политических, типичное для сталинского лагеря, было характерной особенностью нашего городка. Здесь оседали и надзиратели, вышедшие в отставку или на пенсию.

Главная достопримечательность — предприятие, вырабатывавшее ситец. За ним речка Серая, от стоков красильни сине-чернильная. Мой отец, инженер и преподаватель ФЗУ, выполнял и перевыполнял план, осенью ездил с рабочими в деревню помогать колхозникам убирать картошку, мама учила в вечерней школе немецкому языку ткачей и ткачих, засыпавших на уроках от усталости. Вся жизнь городка настолько была связана с фабрикой, что казалось, не она, а он расположен на ее территории. Три фабричные трубы коптели день и ночь, но их никто не замечал.

Был в городе большой памятник Ленину и поменьше Сталину, и много других гипсовых памятников, стоявших на клумбах.

В начале лета устраивались массовые гулянья, завершавшиеся футболом, пьяным весельем и мордобитием. Со стадиона толпа возвращалась мимо руин разрушенной церкви и тысячекратно мочилась на остатки собора и разбитые надгробья.

У меня в школе был товарищ, сын городского художника. В обязанности его отца входило рисовать по праздникам портреты вождей. К каждому празднику новые. Моделью служили фотографии из «Огонька». Рисовал он их по клеточкам на холсте.

Я часто бывал у товарища дома. На одной стене висел портрет мамы мальчика, на противоположной — плакат с портретами членов Политбюро. В углу избы икона с лампадой. «Маму папа тоже по клеточкам рисовал?» — спросил я. — «Не, маму он так рисовал. Маму не по клеточкам можно, вождей нельзя. Вдруг выйдет непохоже!» Он говорил наставительно, как старичок, и при этом сильно окал. — «Мама простит, правительство никогда. Посодют». Бабушка товарища, лежавшая на печи, перекрестилась.

Когда бабушка решила помирать, позвали священника из соседнего Александра. Прибывший поп с порога перекрестился вначале на портреты членов Политбюро, потом на икону.

От нашего дома начинались три улицы. Одна вела к фабрике. Вторая — к стадиону. Третья — на кладбище. Улица 3-го Интернационала. Улица Горького. Улица Победы. Кроме них, в городе было много других улиц, носивших имена революционеров, ученых, поэтов, детей-героев. Они уходили в лес, в заглохшие парки, в овраги, упирались в монументы, обелиски, заползали в подворотни, терялись в песке...

ГАГУРИН

В нашем двенадцатиквартирном доме поселился новый жилец Гагурин. Лицо у него было круглое и безбровое. Он работал в милиции, и ему разрешалось носить наган. Когда он напивался, то бегал по двору в майке, размахивал наганом, кричал, что он ворошиловский стрелок и всех нас ликвидирует. Всерьез никто угроз не принимал, все знали, что наган не заряжен.

Как он попал в наш город и откуда, никто не знал. Говорили, что служил после войны в Польше, где и научился целовать женщинам ручки. Это у него неплохо получалось, в остальном же его жизненная философия исчерпывалась фразой, которую он любил повторять, наставляя нас, подростков: чтобы бабы давали, мужик должен мужиком пахнуть — табаком, водкой и потом.

Глуховатой Клавдии Лазаревне Грановской, жившей под нами и Гагурина панически боявшейся, он каждый раз, повстречав ее на лестнице, кричал в ухо:

— Как! Вы все еще здесь? А я думал, вы уже в Биробиджане!

Однажды ему взбрело в голову проверить жильцов на благонадежность. У некоторых обитателей дома были весьма экзотические для наших мест фамилии. В соседнем с нами подъезде, например, жил ма-

ленький невзрачный по фамилии Донауэр, говоривший с крутым владимирским оканьем. Вырос он в интернате, родителей не помнил, объяснить происхождение своей фамилии затруднялся. Гагурину она напоминала вражеские имена тех времен: Эйзенхауэр, Аденауэр... Он расспрашивал жильцов, с кем Донауэр встречается, у кого бывает, почему так часто и подолгу пропадает в командировках. Жена Донауэра, Машка, крупная томная баба, в отсутствие мужа ему всю изменяла. Бегал к ней и Гагурин. Гагуринской жене доложили, она расцарапала Машке лицо, но потом все улеглось, Гагурин сумел убедить супругу, что действовал по заданию.

Затем он переключился на моего отца. Немца живьем он и близко не выдвигал даже на фронте, а тут под твоим боком, на одной с тобой лестничной клетке проживает. Бледную дочку свою заставлял подслушивать под нашей дверью, расспрашивать нас, детей, о родителях.

Узнав об этом, мой отец сказал Гагурину:

— Какой же ты дурак, Гагурин, опоздал ты года на два — на три. Теперь оттепель. Теперь за такую самостоятельность у тебя, глядишь, и наган отнимут.

— Да я, что, Александрыч, я, это самое, того, в шутку...

Исчез он из нашего города так же неожиданно, как появился. Куда-то перевели. На следующий день все про него забыли.

Прошло несколько лет. Однажды солнечным апрельским утром прибежала с сообщением Клавдия Лазаревна:

— Гагурин в космосе!

На лице у нее был ужас, словно ей представилось, как Гагурин кричит ей из космоса про Биробиджан.

Отец успокоил:

— Клава, он оттуда не вернется, как Лайка...

Включили радио.

1998

«Знамя» №7, 2001 г.

Татьяна ГРАУЗ

ВЕРКА И ТОЛЬКО

щуплое тело *верки* безотрадно белело у кромки пруда, *верка* ёжилась, стаскивала с себя теснившие её колготы и пестрое с индийским рисунком платье, перед глазами у *верки* прыгало бликами солнечными (задержать немного дыханье) водонерастворимое нечто.

о барабанах

верка без возраста, с запрятым вглубь себя полом, с пучком полудлинных волос вышедшего из моды тёмного цвета, с узкими бёдрами (на зависть друг-не-друг-по _ читать как анаграмму), близорука и безоглядна, осенью и до весеннего солнца безбашенно барабанит на двух барабанах, ходит в кружок при посольстве, *верка* любит кружки, ручательство круговое, песчаную мандалу, которую непременно наутро стоит лопаточкой в кучу сгрести, по вечерам в пустом светозарно-беспечном уличном торжестве шествует по воронцовому полю, лицо подставляя сусальному листопаду, идет отбивать (отбивать), барабанить, богиня урзуме — и только.

о счастье

шла *верка*, как танцевала, будто мизинцем левой ноги расшевеливала сладостные мгновения жизни, и как всегда (как никогда) была счастлива, скрипуче цедила гимны царице-атоссе, и потолок её комнатки (читай ___ головы), казалось, пронизан был светлыми (зачёркнуто ___ тёмными) точками, а оттуда (из точек) шнурами свивался над *веркой* неведомый свет, (как говорили) была она не от мира сего, но говорила порой то, что думала, но не думала, что говорила, тезаурус пополняла, лёжа на узкой кушетке, как аэспушкин, читала всё, что ни попадя, что попадалось.

о плаваньи

сегодня конец рабочей недели, *верка* у кромки пруда, щуплый зад её облепляют пятнистые трусики, лифчик купальный тёмного (в тон трусикам) цвета, и размышляет *верка*, как лучше нырнуть, фыркая, пеня прудовую воду, чтобы потом, разбивая плотную материю волн, самозабвенно доплыть до середины, а после, греясь на берегу, восполнять воспоминаньями вечер.

о былом

противогазы им выдавали по пятницам, натянув на веснушчатый азиатский свой лик презер противогаза, *верка* (как все) отбивала повинность пятничной энвэпэ, чувствуя плоским своим животом стылость кожаных матов и слыша над ухом сильный истошный «огонь (мат ___ нецензурно) огонь», выпаливала из винтовки в полную силу девичью один за другим два быстрых разряда, промахивалась, как всегда, и, стряхнув с коричневой юбки сухую вонючую пыль, неслась из подвала (где было устроено стрельбище) в школьную раздевалку, сунув быстрёхонько крепкие ноги в узкие (цвета морской волны) лодочки, ладьей проплывала по коридору.

о чувствах

яичная скорлупа дня растрескивалась под медленным натиском *верки*, а *верка* неторопливо жевала ломоть нарезного батона с докторской (лечебной, наверное) колбасой и выплывала в «свой» шумящий «десятый», её окружали тотчас же тереховы-близнецы близнецовым своим совершенством, она садилась меж ними, рядом с одним, рукой протянуть до другого, и принималась насмешничать над шамсутдиновым (спина его через две парты, голос — царапиной в сердце) или язвить над зюечкой фёдоровной (географичкой), зюечкафё сужалась вся книзу, а в вышине зеленовато мутнела (как нил полноводный) взглядом пугающе-доверчивых глаз, тереховы-близнецы перекатывали тиснённые шутки над африканской пустынной географией зюечкифё, выбалтывали последние сплетни, мол, зюечкафё была многократно любима и однократно бездетна, мол, в доме зюечкифё побывал (с короткими останковками) весь маскулинный учительский (ограниченных войск) контингент, тереховы ворковали над *веркой*, первый на бедную *веркину* голову налеплял цитаты из Екклесиаста, а от второго в плоском *веркином* животе пульсировало (до мунковской жути), после уроков *верка* срывалась к широкому подоконнику, распахивала окно, парк сухостью, тусклым жаром осенним врывался в пропахший телами и подростковыми мыслями класс, *верка* усаживалась на подоконник и (медитировала ___ зачёркнуто) созерцала, а тереховы, расположившись по разным углам гранёного кабинета, втягивали по-азиатски косящую *верку* в неведомые ей разговоры, от разговоров всё в *верке* мутнело и стыло, и ей казалось, что близнецы — это карма, что ходят они по близнецовому кругу, а *верка* сидит на карусельной лошадке, а у лошадки (привет вам, дедушка фрей) облупленный зад.

о доверительном

верка поёжилась, развела в разные стороны слегка загорелые руки, стала грести энергичней, она доплывала обычно до середины пруда, покачиваясь на толще воды, делала несколько рыбьих движений, блаженствуя, щурясь на солнце, и лишь потом плыла к берегу, с которого как на ладони видела дни-часы-годы, когда была маленькой *верочкой*, когда доверительно бормотала «иже еси на небесах», а потом, потом она быстро и безоглядно легко подросла, пару лет была хрупкой *верой*, а после её называли по-панибратски — *веркой* и только.

ну вот и всё.

Полина Земцова

ПАПИНА ДОЧКА

Я родилась в маленьком провинциальном городе, целью существования которого было питать своими соками безбрежный беспомощный мегаполис, любить его, ухаживать за ним и безропотно работать во славу его. Наш город, тихий и скромный, не был примечателен ничем, кроме атомных реакторов в нескольких километрах от городской черты. Мы славно жили в своём крошечном городе, где люди были так полны пустотой и одиночеством, что воздух был лёгок и свеж, как долгий весенний дождь. Ходили на работу, в школу, в институт, ровно в половине десятого ночи, после программы «Время», выключали в своих квартирах свет и затихали, одинокие и умытые, красивые и не очень, но все такие похожие в своём одиночестве. Наше одиночество было таким большим, таким фатальным и необъяснимым, что мы не могли осмыслить, понять или просто почувствовать его хоть сколько-нибудь до самого конца. Оно было повсюду: вокруг и под кожей, у самых пор. Мы спали и видели один сон. И, если это всё-таки был сон, как же приятно было нам спать.

Он и сейчас есть, мой маленький тихий город, но как далёк он от меня теперь. И как далека от него я, беспечная блудная дочь, забывшая все притчи, все истории, которыми он поучал и воспитывал меня. И всё ж одну я помню. Трагичную для тех, кого она коснулась, для остальных же — весьма обычную и даже заурядную. История эта была лишь небольшим бликом, неосязаемым всплеском на глади глубокого, беспробудного сна начала нового века.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Мои родители, как и родители знакомых, как и вообще почти все родители в городе, работали на станции. В те годы, когда я была ещё крошкой, это было единственное место, где было не важно, кто ты: инженер-строитель или архитектор, учитель или кандидат наук, бухгалтер или врач, — где платили мало, но почти аккуратно. Платили за работу гардеробщицей или буфетчицей, за ежедневную чистку или ремонт реактора, за облучение, за добровольную готовность рисковать

не только своей жизнью, но жизнями тысяч. А где-то там, в мегаполисе, люди, спешащие утром на работу, не знали, должно быть, не знают и теперь, что их жизни зависят от одного-единственного слесаря, или элетрика, или инженера, которых на самом деле сотни, которые стоят и вот прямо сейчас курят в реакторе, лезут в провода без перчаток, не следят за датчиками. Эти люди спокойно живут в своих комнатuşках, ужинают на мелких кухоньках и даже не думают, что всего лишь в десятках километров от них живут такие же люди: в респираторах и белых халатах, с пометками о дозе облучения, халатные и ответственные, но все склонные к ошибке.

Для нас станция — словно ручной медведь, к которому ты давно привык и относишься, как к котёнку. Ты вырастил и воспитал его, научил танцевать и есть с руки. Ты отвык опасаться, хотя этот зверь дикий. Зверь, которого создали наши деды и приручили отцы, к которому однажды придут наши братья и мужья, чтобы кормить, ухаживать, чистить, выгребать. Любимое ли, ненавистное детище — оно было общим для всех.

В детстве меня вовсе не занимали эти вопросы. И не надо раздувать из этого трагедий. Мы не несчастные дети Чернобыля, пусть даже наши папы были там, мы были рождены не на реакторе, среди нас нет трёхруких или шестипалых, а если даже и есть, то ничуть не больше, чем в остальных городах мира. Мы не знаем об этом ничего, кроме того, что нам говорили на уроках физики. И это нас совсем не тревожит. Мы боимся намного меньше, чем те, в километрах от нас, кто впадает в истерику при слове «радиация», потому что знают об этом ещё меньше. Мы дети 90-х, а не атомной энергетики. Для нас станция — это синие блоки, высокие трубы и облупившаяся цветная мозаика над главным входом. А детство — безвкусное финское мороженое, белые хлопчатобумажные колготки и красные лакированные туфельки.

Моё детство, цвета коричневых сосновых иголок и с запахом еловых шишек, было таким прекрасным, что теперь кажется, будто его никогда и не было.

2.

Мама уходила на работу очень рано, когда я и папа ещё спали. Она работала дезактиваторщицей, а проще говоря, мыла реактор. Теперь я знаю, что это самая грязная работа и доза их облучения — закрытая информация для всех, даже для них самих, но в те времена я жалела её потому, что ей приходилось просыпаться первой. Часто, сквозь сон, я слышала, как она собирается на работу и легонько думала о том, что, значит, мне тоже скоро вставать. Ещё час — и я сижу на кухне, подсу-

нув под себя руки, смотрю на тёплое яйцо в мешочек и холодный сыр. Папа опаздывает, бегаёт из одной комнаты в другую, торопит... А я — сижу и смотрю, размышляя о том, что вот, наступит такая минута, когда его хрупкое терпение треснет и он закричит. Тогда придётся съесть всё очень быстро. Папа будет заплетать «колосок» — не так больно, как мама, вынимать из ушей серёжки, протирать спиртом, вставлять обратно — не так больно, как мама. Скажет быстро одеваться, доведёт до калитки и... убежит на автобус, уедет в неведомый и загадочный мир труб, паров и реакторов.

Детский сад всегда встречал меня одинаково: хлопаньем дверей от шкафчиков и барахтающимся на полу мальчиком Славой. Слава не любил садик. Каждое утро мама со слезами отдирала его, воющего и несчастного, от своей длинной шерстяной юбки. В стороны летели пуговицы и улепётывали любопытные дети, но славини цепкие пальцы, казалось, не может разжать ничто: ни железные руки воспитательницы, ни мамини плач и уговоры. Каждый рабочий день славина мама с расстройством нервов опаздывала на работу, за что каждый раз её отчитывал начальник. Да, Слава нисколько не жалел маму. Он ещё долго дрыгался, рыдая, и катался по полу возле шкафчиков, пока воспитательница не подходила к нему и не начинала упрасивать: «Слава, она ушла. Прекрати. Слава, ты не можешь весь день — поднимись». Иногда ей приходилось поднимать его самой. Что и говорить, сопливый, зарёванный мальчик у твоих ног — не самое приятное начало дня. И здесь мне предстояло провести весь день. Здесь мне предстояло проводить каждый свой день в течение... Но нет! Я не разрешала себе думать об этом. Не то чтобы я не любила садик, но все эти рисовые каши на завтрак и омлеты с запеканками на полдник... Но об этом я тоже запрещала себе думать. Единственное, чем я могла заниматься в садике, — ждать вечера, когда наконец-то придёт мама и скажет:

— Здравствуй.

Мама будет улыбаться и присядет только на минутку, чтобы помочь завязать непослушные шнурки. Она поговорит с воспитателем о чём-то совсем неважном, найдёт мой глупый рисунок среди кучи чужих, нисколько её не интересующих, возьмёт меня за руку, и мы пойдём домой. Мама будет идти медленно и устало, строго цокать тонкими каблуками, держать за руку и немножко лениво молчать, давая сполна насладиться собой, долгожданной, своей близостью и своей тёплой мягкой ладонью. Ничего на свете я не любила так, как стук маминих каблуков об асфальт. И как нравился мне её медленный, тягучий шаг, когда она неосознанно подстраивалась под мой — всё ещё неуклюжий и короткий.

Воспоминания о детстве всегда похожи на мозаику, в которой не хватает деталей. Мои воспоминания — мозаика со свиньёй и свинопасом. Самая любимая и самая трудная. Я собирала её множество раз, но ни разу не собрала. Вот толстая нахальная свинья переваливается по дороге с боку на бок. Вот тощий и ленивый свинопас в старой помятой шляпе, шаркая, идёт позади со скучающим видом, грызёт соломинку, прутиком погоняет свинью. Всё вроде есть, всё на месте, а чего-то не хватает. Нет кусочков с пейзажем, домиков и холмиков. Нет чётких краёв у картинки. И сразу разваливается. Всё разваливается, но главное остаётся: осень — гербарий и зонтик с отломанной ручкой; зима — горка и мамин пуховый платок под шубой, чтобы теплее; весна — солнце, ручейки, но шапку ещё снимать нельзя; лето — черешня, шорты и карьер-залив-речка...

Домики и деревья. Ведь суть понятна и без них.

Я многое помню. Но то, что забыто, — слаще и радостнее, потому что будет открыто снова, потому что только через это, найденное, можно вернуться и вновь пережить. Оно есть где-то в этом мире, как детали мозаики, которые, конечно, не могли исчезнуть и валяются где-то в квартире, наверное, под диваном или за книжным шкафом. Их много, много этих открытий. И они ждут. Только бы успеть отыскать.

Проснёшься однажды утром, а солнце светит так знакомо. И уже не те обои, не та кровать да комната, может быть, не та. А солнце — то же. И опять лето, и кто-то врубил, выставив в окно колонки, как раньше во дворе: «В краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе...» И вдруг вспомнится вот такой вот день — сколько лет назад? — и простые деревянные качели на верёвках, сделанные отцом, как подлетала к потолку, тянулась за солнечным лучом, песня, шуршащие бобины. И, кажется, никогда уже не будешь так счастлива. Откроешь антресоли, и в первой же коробке — белые босоножки с маленьким синим цветком. И всё в этой коробке, всё детство: как лазили по крышам, как по камням прыгали, в «казаков-разбойников» играли, в «московские прятки», в «чай-чай выручай». В «резиночки». А какие правила? Да не важно, не важно. Главное, что застёжкой этой всё время зацеплялась за резинку и приходилось прыгать босиком. Об асфальт — больно. Сейчас бы больше двух раз не прыгнула, а тогда... Или выйдешь на улицу, заспешешь, заспешешь по делам и травку увидишь, похожую на ромашку, только без лепестков. И не даёт она тебе покоя и не даёт. Ну, что же?.. Ах, точно! Ведь салат резали, и головка эта жёлтая за вместо яйца была. И как же она называется? А раньше — то знала.

3.

Моё первое воспоминание — танцы. Думаю, танцевать я начала даже раньше, чем научилась ходить. Хотя достоверно это неизвестно. Но очевидно, что танцевать я всё-таки любила, раз мама сшила мне для этих целей костюмчик: юбочка и короткая распашоночка на пуговицах, зелёные в красный цветочек. Я знала, где должна щёлкнуть стрелка, чтобы папа пришёл с работы, надевала свой танцевальный костюм, залезала на подоконник и ждала. Папа бежал от автобусной остановки — знал, что жду, — не глядя в окна — знал, что сюрприз, поэтому нельзя меня увидеть, — дёргал дверную ручку, мама открывала дверь и... Я подбегала к магнитофону, который стоял в коридоре, заранее приготовленный, жала кнопку, единственную, что знала:

— Папа! Лямбада! — и начинала танцевать.

Я проделывала это каждый раз, когда папа возвращался с работы, но каждый раз это было волнительно, весело, неожиданно, будто впервые. Папа подхватывал меня на руки и кружился по коридору, подкидывал к потолку. Из кухни выходила мама: в простом халате в мелкий цветочек, синем фартуке — тоже в цветочек, как будто раньше не было другого рисунка — и с кухонным полотенцем на плече. Она прислонялась плечом к косяку и смеялась, закрывая полотенцем лицо.

А по выходным в солнечные дни они приходили в сонную комнату, раздвигали жёлтые шторы с красными, белыми, синими цветами и золотыми бабочками. Мама включала большой ленточный магнитофон, и они танцевали. Что-то такое лёгкое и прыгучее. Рок-н-ролл? И я сквозь ресницы глядела, как весело и легко папа подкидывает маму. Чем легче и выше — тем она красивее и радостнее. И нежно в окно смотрело солнце.

Так будет идти ещё много, много лет, пока из старого ленточного магнитофона вдруг не выскочит маленькая пружинка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Однажды, в тот вечер, когда солнце, вспоров себе живот о худую трубу чёрного судёнышка на горизонте, лопнуло и пошло ко дну, в тот вечер, когда солнце исчезло, но тьма не настала, в наш город пришли белые ночи. Было поздно, а я всё ещё шла из школы домой, беспечный ребёнок, загребая руками жидкий сумрак незрелой ночи. Я постояла немножко под окнами, запрокинув голову, представила, как мама выбежит в прихожую из кухни, вытирая красные распаренные руки о по-

лотенце, потому что они наверняка уже поужинали и она теперь моет посуду, которую должна была вымыть я. Она посмотрит с гневом, упрёком и облегчением и скажет очень строго, так, что у меня мурашки побегут по спине:

— Яна! Ты где была? Десятый час уже! Мы же волнуемся! Ни записки — ничего. Ты что?.. Ты что даже домой после школы не заходила? Говори быстро, где была.

Я буду врать самозабвенно:

— Мама, ну мы после школы гулять пошли. На залив. Сейчас, блин, не поймёшь, сколько времени.

Они у меня немножко странные — компанейские, что называется. Когда меня ещё не было — ходили в горы, ползали по ледникам, на байдарках плавали, картошку в костре пекли и песни под гитару пели. Всё прямо как в фильмах про советскую молодёжь. Им кажется, что один человек весь день на заливе просто так сидеть не может, что это скучно и даже в некоторой степени нездорово. А если ходили компанией — это хорошо, это можно и простить.

Мама выслушает мою глупую ложь, немножко раздражённо воскликнет:

— Не блинкой! — И успокоится окончательно. Папа — выглянет из комнаты, сдвинув брови, недовольно покачает головой и, удовлетворённый, вернётся к программе «Время».

Ужин, простой и вкусный, давно ждёт меня в сковороде под крышкой, а я, голодная, стою здесь, у подъезда, смотрю в освещённые окна, и мне не хочется уходить, потому что — я чувствую, — дома ждёт меня что-то неведомое и чужое. Оно ждёт меня больше, чем ждут родители. Я говорю себе: постой ещё, посмотри, как тепло и уютно в этих окнах. Но не стоять же здесь вечно. Делать нечего — пошла.

Когда я вошла в квартиру, мама не выскочила в коридор, не посмотрела с упрёком, и в зале было тихо: никаких важных новостей сегодня для папы не было. Я помедлила недолго в прихожей: может, они не слышали, как хлопнула входная дверь? Нет. Исключено. Я вошла в кухню. Мама, как я и думала, мыла посуду.

— Где так долго гуляла? — она всё так же мыла посуду, не оборачиваясь, не глядя на меня. — Иди быстро помой руки, ужинай и — в свою комнату.

Неужели она так сильно зла? Или обиделась на меня? Она может. И что за «в свою комнату»? Никогда прежде она не гнала меня.

— Папе сегодня что-то нездоровится, — сказала чужим голосом.

А сегодня — гонит.

Сначала папа просто приболел. Прямо так — летом, в белые ночи. Хотя чего же тут странного, будто человек не может заболеть во время белых ночей. Он лежал в постели и не ходил на работу, не смотрел телевизор, не читал газет. Он смотрел в потолок или в окно, иногда сморкался, кашлял и закапывал капли в нос, привычно говорил: «Извините». Кажется, он извинялся, даже если в комнате никого не было, наверное, даже когда он был дома один, он всё равно по привычке говорил: «Извините». Потому что не замечал: ему было всё равно. Что-то мешало, саднило, не давало покоя. Он подслушивал себя, немного склонив голову набок, рассеянно смотрел, садился и потерянно шарил ногами по полу, касаясь пальцами тапок, которые искал и не мог найти. Тут же вставал с дивана, шёл босиком, забывая о тапках, диване, о комнате и квартире, о себе, о нас. Папа отчего-то заскучал. Я принесла из своей комнаты старый ленточный магнитофон, чтобы развлечь его, поставила ленту и нажала на красную кнопку. Магнитофон сказал: «Шшшш...» — причмокнул, пожевал, щёлкнул, выплюнул на ковёр маленькую пружинку и замолчал навсегда. Папа дёрнулся, испуганно посмотрел в окно, потом — на нас, сказал:

— Всё, — и беспомощно откинулся на подушку.

Мама тихонько заплакала. И я почувствовала, что вместе с пружинкой раз и навсегда выскочило из головы моей детство и что-то очень важное выскочило из папы.

2.

Кажется, это был вечер. Да-да, мне кажется, вечер, хотя — не могу поручиться. Мы шли по длинному светлому залу станции метро М. или А. — теперь уж не припомню. Видимо, мы попали в час пик, потому что толкучка была ужасная. Нас толкали и наступали на ноги, сбивали с пути, а иногда и вовсе не давали пройти. Всё это было похоже на зелёную долину с огромным стадом бестолковых испуганных овец, которые чувствуют близость волков и испуганно жмутся друг к другу, и пастух — далеко. Так и мы: жались друг к дружке, стараясь протиснуться хоть на шаг вперёд, залезть поглубже в толпу, мелко перебирали на месте ножками, шарахаясь во все стороны от приходящих поездов. Поезда приходили часто, с гулом и воем, клацали дверями, разевая свои волчьи пасти, и утаскивали в чашу густого тоннеля тех, кому не повезло стоять с краю нашего стада. Они заглатывали людей целиком, легко расщепляли их в своём вонючем брюхе. И только последнюю жертву — кто знает, может, ей-то и везло больше всех — разгрызали на мелкие кусочки, немного приоткрывая двери и снова захлопывая их с силой. На это невозможно было смотреть, и стадо поспешно отворачивалось, чтобы не

видеть, что происходит с теми, кому не повезло. Этому невозможно было помешать или предотвратить, можно было в ужасе отвернуться: кроме того, что овцы непроходимо тупы, они ещё и безнадежно беспомощны, им нечем защититься от безжалостных волчих клыков.

Какое-то время нам удавалось держаться на безопасном расстоянии, но поезда ненасытны, и меня с папой оттеснили к платформе. Я знала, что бороться бесполезно, что все рады пожертвовать мной, лишь бы не стигнуть самим, но всё равно отчаянно сопротивлялась. Отец был рядом, но не мог мне помочь. Меня несло неудержимо, я уже почувствовала жаркое дыхание душного вагона, и на меня пахло жгучим смрадом его маслянистой пасти. Я перестала сопротивляться. Но вдруг мама ринулась в толпу, чтобы спасти меня. Она была похожа на дикую кошку, которая кинулась в реку, чтобы спасти своего утопающего котёнка. Моя мягкая, спокойная мама так яростно работала локтями, ногами и зубами (по-моему, она даже кусалась), что люди расступались перед ней. Наконец, мы выбрались из этого потока и обернулись, чтобы найти отца. Он был у самых дверей, и, кажется, ждал только, когда мы посмотрим на него. Он пронзительно вскинул руку, будто бы прощаясь, и воскликнул: «Я устал!..» Потом, не оборачиваясь, шагнул в вагон, и, когда двери захлопнулись за его спиной, я очнулась, не понимая сон это был или мираж.

3.

Настал июль. Белые ночи потухли, затерялись в темноте, и в наши края забрело зябкое ветренное лето. Я сидела на стуле у раскрытого окна, задернутого прозрачной занавеской с жёлтыми бабочками, и смотрела на закат. Маленький шарик солнца, размытый лёгкой занавеской, таял вдалеке, растекаясь алым цветом по белым кирпичным девятиэтажкам. От мягкого дуновения занавеска волновалась, едва касаясь моего лица, и бабочки чуть приметно шевелили крылышками.

И в эту самую минуту я вдруг почувствовала, как полна жизнью и любовью к ней. Никогда ещё я не чувствовала лето так остро, будто оно было не временем года, не средой, в которую меня поместили, а я сама была этим летом: этим солнцем, ветром с залива, пробирающим до костей, солёной холодной северной водой, соснами, и тенью от их иголок на песчаной дороге в лесу, и самым белым песком — словом, всем тем, чем было наше короткое, однообразно зелёное лето. Это ощущение сбивало с ног и не давало подняться, как волны при небольшом шторме, когда ты заходишь в море и тебя опрокидывает. Ты пытаешься подняться, но тебя накрывает новой волной — и ты снова сбит с ног, расплюсцен о гальку или песок. Всё, на что хватает времени и сил, — вдохнуть

поглубже. Это может продолжаться очень долго, пока ты, избитый и истощанный, улучив удобный момент, наконец не выползешь на берег. Так и я сидела перед окном, парализованная полнотой бытия, зажмурив глаза, осторожно дышала, слушала, как часто и судорожно, до боли, сжимается во мне сердце, выталкивая кровь, наполняя меня жизнью. И как странно было видеть рядом с собой почти полное безразличие к ней: отец совсем забросил работу и перестал бывать на улице, иногда постоит на балконе, посмотрит во двор и снова ляжет. Выбор зрел в его душе, важнейший в жизни. И похоже, глядя во двор, он выбрал второе: он сох. Порой хотелось наброситься, расцарапать:

— Что же ты делаешь? Живи! Живи! Ведь есть ещё мы.

Но отец был глух и нем, словно истукан, словно рыба об лёд. Молчал. Что-то запуталось в нём, и порой казалось — узлом выпирало из живота, как грыжа.

Что надорвало?

Было ясно одно: папа заболел.

4.

И он действительно заболел. Заболел маленьким чёрным пятнышком на лёгком. Говорили: «Из-за станции. Все так кончим!» Я часто думала об этом, и казалось, что дело вовсе не в станции, а в маленьком чёрном пятнышке внутри него, которое пустило уже глубокие корни, проросло. Дело в маленькой пружинке из магнитофона, в пружинке-царевне из городка Динь-Динь.

И понесло стремглав: врач-рентген-«У нас есть подозрения на...»-врач-рентген-«Думаю, вам лучше обследоваться вот по этому адресу...» Наверное, он не стал бы этим заниматься, если бы не мама. Он хотел, чтобы его просто оставили в покое. Ему было всё равно. Но мама умоляла не сдаваться и причитала-держала. Его положили в большую белую больницу в городе-гиганте, где машины ползали, точно черепахи, и люди копошились, словно жуки. Каждую субботу на электричке с ногами, холодными, как эскимо, — я и мама. Куда-то невозможно далеко, с мокрым снегом в придачу, отважные шагали через суровые кордоны... к нему. И вот она! Больница, белая и торжественная, как само слово «онкология». О лучезарная! Сколько восторгов ты можешь вызвать, чистейшая, если только не знать, что имя тебе — логово смерти.

Больница не могла не восхищать: всё белым-бело, тишина да покой, медсёстры в белых халатах порхают по коридорам, будто ангелы Божии. Но это царство белизны и стерильности с грохотом обрушивалось в бездну, стоило подняться в отделение и увидеть пациентов. Хворые, пегие, озлобленные они таскались по коридорам, торчали в холле, валялись на

койках. Они не знали, как занять себя и нужно ли это делать, или просто подождать конца, в который они всё-таки не хотели верить. Им казалось, что они всё так же вечны, что они не изменились, остались прежними, но все вокруг зачем-то стали дураками и остолопами. Всякое проявление жизни и здоровья было для них ненавистно, будь то их сын, внук, птица или дерево. Им хотелось доживать в статичном мире без движения, где их таскания, сидения, ворчания и немощная ругань выглядели бы полными смысла и желания жить. Сложно представить, как раздражали их ласковые медсёстры и деловитые врачи, крепкие, спокойные, уверенные в себе. Все они так лоснились здоровьем, что казалось, будто они высасывают из больных последние его капли. Здесь невозможно было выжить. Но мама старалась не замечать, шла на цыпочках в тапочках, не привлекающая лишнего внимания, чтобы не нарушить — не дай Бог! — покой больных. Всё это производило тягостное впечатление. Я с упоением шаркала и кашляла, глазела во все стороны, поднимала брови и улыбалась — в общем, выказывала все доступные и допустимые среди теней признаки жизни. Мама шикала и выразительно смотрела, поджав губы, но я делала вид, что не замечаю, не понимаю, короче, косила под дурочку. О нет, здесь невозможно было выжить.

Каждый раз, когда мы входили в палату, папа подсказывал с кровати так быстро и ловко, словно держал низкий старт. Кажется, он переживал ту самую эпоху напряжённого ожидания, которую мне уже довелось пережить однажды — в детском саду; когда, создавая иллюзию какой-либо деятельности, ты всем своим существом жадно вслушиваешься в шаги за дверью, отчаянно надеясь, что в этот раз — за тобой. Да, в больнице папа повеселел и даже взял моду курить. Не могу сказать перенял: там наоборот все бросают, а он вдруг закурил — нате вот, пожалуйста! И ведь даже не пытался скрыть — куда там!.. Показательное выступление специально для нас устроил, бесстыжий. Мы выходим из лифта, а он встречает нас с сигаретой в зубах и смотрит с залихватским прищуром — ждёт, какотреагируем. Развлекался, в общем. Мама зашла обратно в лифт и уехала. А он стоит довольный, смеётся. Я смотрю на него, и ударить хочется. Вот прямо по губам взять да как ударить со всей дури.

— Ну ты и дурак, — протянула разочарованно и побежала по лестнице догонять маму.

Она сидела на скамейке перед входом в больницу. Плакала.

— Зачем он так? Ну что, доча, скажи, что я ему сделала? За что он так надо мной издевается?

— Да блин, у него опухоль в мозгу уже образовалась от безделья, — я ковыряла ключом скамейку, обычную такую зелёную скамейку, ко-

торую до меня уже ковыряли тысячу раз и, может быть, не знали так же, как я сейчас, чем утешить, что сказать.

— Не смей так говорить. Он твой отец, — всхлинула.

Разве же это мой отец? Мудрый, правильный, ответственный. Нет, это не мой отец. У моего папы мозги всегда работали как надо. А у этого — крыша съехала.

— Ладно, пойдём к нему, — мама встала, взяла пакеты с фруктами, — сделаем вторую попытку. Глаза размазались?

Я посмотрела в её глаза, тревожные, серые глаза. Когда это они уже успели так выцвести? И уголки рта опустились, зарубцевались маленькими морщинками. Нет, ну это кем надо быть вообще, чтоб так себя вести. Я помотала головой: нет, не размазались, — взяла у неё пакеты, и мы пошли.

По всему было видно, что папа раскаивается. Он радостно соскочил с кровати и даже обнял нас. Он пытался загладить свою выходку, заглядывал в глаза и напряжённо смеялся. Просить прощения он не умел. Умел только говорить: «Извините», — когда чихнёт или наступит на ногу. Но мама привыкла — она у меня отходчивая, — а я, впервые испытывав такую злобу, была рада случаю поскорее всё забыть.

Его соседом по палате был старый-престарый дед. А я раньше думала, что такие умирают от инфаркта, а не от рака желудка. Дедушка этот был одним из немногих живых осколков — своеобразный рудимент внешнего мира, излишний и непригодный для здешнего житья. Его недавно прооперировали, и он долго и тяжело приходил в себя, однако бодрости духа не терял. Его всё ещё мучили сильные боли, и чаще всего, когда мы приезжали, он лежал, отвернувшись к стенке. Но в те редкие дни, когда боль утихала, он рассказывал одну и ту же историю:

— Я, дочка, пацанёнком ещё блокаду пережил, — начинал он поучительно. — Страсть, сколько ужасов было; как сам живёхонек остался — не знаю. С истощением второй степени из блокады этой вышел. Да речь не об том. После войны-то у меня и образовался этот самый... блокадный синдром, — тут он обычно тяжело вздыхал и качал головой. — Чревоугодником я стал — вот чего. Бывало, ем, ем, ем, покуда кусок уж поперёк горла не станет: это, значит, уж до горла-то я весь писчей заполнился. Уж наелся и есть не хочу, а всё равно ем — вот он какой, блокадный синдром-то. Вот и полез у меня этот... паук морской, как, бишь, его, — он всегда забывал это простое и страшное слово, — забыл.

— Рак.

— А! Рак, рак. Полез в желудке рак. Вот наказание-то! Теперь-то не разьешься — диета одна. Я-то старый уже, мне и так помирать пора, да на всё — воля Божья.

Он говорил запросто и с удовольствием, будто долго молчал, и теперь каждое слово само отскакивало от его языка, как мяч. Очень шёл к его худой, сутулой фигуре и блёклым слезящимся глазам глухой скрипучий голос. На обратном пути — по снежной осенней слякоти — мне чудилось, что иду я по крепкому, стоптанному снегу, снег скрипит под ногами и говорит мне всё о том же: о блокаде, синдроме, о морском пауке и воле Божьей. И я представляла, как этот старик лежит с измождённым после короткого разговора лицом, глядит в окно или, наверное, спит, выпростав из-под одеяла худую руку, смиренный и покорный судьбе, мерцающий уголёк жизни в подземном царстве Аида.

5.

Я открыла глаза. В комнате было ещё темно. Всё, что я могла разглядеть в полумраке спящей комнаты — розовые и голубые облачка на потолке.

Облачка. Розовые. Голубые.

Я снова закрыла глаза и попыталась вспомнить свой сон. Я умею вспоминать свои сны. Надо только закрыть глаза и дышать наоборот: выдох-вдох-выдох. И тогда сон, который осел где-то с внутренней стороны грудной клетки и который, казалось бы, не выскоблить уже ничем, сам, выдох за выдохом, вытекает из тебя. Медленно, след в след, аккуратно ступая с носка на пятку, чтобы не потревожить ни одной нейлинки своего сна, я иду вспать.

Мой последний сон оказывается в двух шагах от моего пробуждения: маленький мальчик падает с крыши пятиэтажного дома. Я бегу, чтобы поймать его, но не успеваю. Его тельце такое маленькое, что люди вокруг не замечают его. А я всё бегу, бегу. Что значит этот сон? Кто этот мальчик? И почему я так боюсь не успеть?

Нет, останавливаться нельзя. Выдох-вдох-выдох-вдох-выдох. Где-то рядом есть что-то важнее. Шаг, шаг, ещё шаг, и вот он — второй сон: я снова бегу по улице. Светло-серый асфальт, желтые кленовые листья под ногами. Какие-то гаражи с красными воротами. Я лежу на дороге. Нет, лучше на тротуаре. Да, я встаю и перебираюсь на тротуар. Мимо ходят люди. Они не замечают меня. Я полна одиночества и безумия. Почему? Почему люди вокруг так безразличны? Я лежу и смотрю на серое, гладкое небо, которое стало одним большим облаком. Ко мне подбегает кот и облизывает мое лицо своим наждачным языком. Нет, показалось. Это просто дождь моросит. Жаль, лучше бы это был кот. Я переворачиваюсь на живот и смотрю на проходящие мимо ботинки, туфли и кеды. Кто-то наступил мне на ногу. Ко мне подбегает огромный пес. Обнюхивает. Кажется, он пометил меня. Тепло. Теперь я — его территория.

Я должна вечно лежать на этом месте и принадлежать ему. Дождь закончился, и я заглядываю в лужу. Там рыба. Я ныряю за ней. Я вижу пыль. Только пыль. Я слышу, как вдалеке кто-то бежит. Чей-то резиновый сапожок шлёпается в мою лужу. Меня раздавили.

Но всё это какой-то бред. Почему я чувствую радость? Я знаю, что отгадка — в моём первом сне. Я должна вернуться к началу. И... ну давай. Выдох. Да. Вот оно.

Я открываю глаза. В комнате стало светлее.

— Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты, словно кровь...

Это слова заклинания, которое делает меня счастливой. Да, я чувствую себя счастливой.

Мне редко снятся добрые радостные сны. Это не моя проблема — это реальность моей жизни. Но сегодня... Сегодня мне приснилась песня. Эту песню папа часто пел мне в детстве под гитару. Папа пел хорошо, и мне нравилось смотреть на него, когда он пел. В детстве мне нравилось всё, что делал мой папа. Я закрыла глаза и начала петь эту песню про себя.

Там, где любовь, —
там всегда проливается кровь.
Словно статуэтка, девушка стояла,
и пират корабль свой к ней направить поспешил,
и в неё влюбился, и её назвал он
птичкой на ветвях своей души...

Я снова открыла глаза.

Папа.

Я вспоминала, как папа приспособливал на раму своего велосипеда детское сиденье, чтобы катать меня, как, не умея рассказать о своей любви, он неуклюже гладил меня по голове своей большой шершавой ладонью, как однажды испугался, когда я в кровь разбила себе нос на ледяной горке. Но тут в голову полез совсем некстати другой — с сигаретой, глупый и неродной. Я зажмурилась, стараясь отогнать его от себя, но он уже прочно засел у меня в голове. Воспоминания начали размываться и терять очертания, покрылись синей пеленой отчуждения, и вместо радости пришла злость. Предал. Предал! Предал! Предал детство. Проткнул сигаретой, и осталась уродливая воронка-дыра, затянула, высосала всю радость.

Нет, плакать не надо. Ни к чему это. Надо скинуть с себя одеяло, и тогда станет холодно: не до слёз и не до сна. Надо подскочить, включить

свет и побежать умыться холодной водой. Всё это надо. А вот плакать — нет. Я лежала в кровати, закусив одеяло, чтобы не расплакаться, и думала о том, что надо скинуть одеяло, включить свет, умыться холодной водой, чтобы не... пока не прозвенел будильник.

Я дотянулась рукой до стула, стащила свой тёплый махровый халат, надела его прямо под одеялом, вытащила из кармана шерстяные носки, надела их тоже, вылезла из кровати и, не зажигая свет, побрела в ванную комнату. Там под горячим душем я и разревелась.

На кухне сидела мама. Она сидела так уже неделю. На больничном.

— Доброе утро.

— Доброе, — она вяло посмотрела на меня и подняла немножко уголки своих бледных губ — это значило: «Я улыбаюсь. Я тебе рада».

— Давно тут сидишь?

— Не знаю. Часа пол.

Да, представляю себе... Торчит тут, небось, с пяти утра.

— Не спишься что-то. Мне.

— Угу.

— Кушай кашу — на плите.

— Угу.

Я знала, что каши на плите нет, но на всякий случай проверила кастрюльку: да, каши нет. Мама забыла, что не варила мне сегодня кашу. Она забыла, когда вообще последний раз варила кашу. Но ей не надо было об этом знать. Она сидела на табуретке у окна, сложив руки на коленях, сутулилась от страха и растерянности. Все её мысли были там, в большой белой больнице. Порой мне казалось, что она забыла обо мне, и я обижалась. Глупости, конечно. Не могла она обо мне забыть. Просто сейчас ей было... трудно. Да, ей было трудно.

Я наспех выпила чай с бутербродом и уже открыла дверь, когда она вышла в коридор, чтобы проводить меня.

— Яна.

— М?

— Ты поела?

— Угу. Я ушла. В школу, — уточнила на всякий случай.

— Хорошо. Возвращайся скорее, — и снова ушла на кухню.

В школе всё было, как обычно. Мой учебный день всегда начинался одинаково — с опоздания. Я опаздывала с тех пор, как папа, не успевая на автобус, довёл меня только до калитки детского сада в первый раз — иными словами, всегда. Даже не первое сентября в первом классе опоздала. Папа долго собирался, мама никак не могла завязать мне красиво

бант: всё он выходил то криво, то низко, то слишком высоко, — в спешке она дёрнула меня за волосы, от этого я уже ненавидела школу всем сердцем. В общем, всем было не до праздника, все нервничали и в конечном итоге забыли о главном — о моём портфеле. А портфель был прекрасен: малиновый с жёлтыми молниями и большой красочной наклейкой на кармане для тетрадок с изображением сказочной страны единорогов. Честно говоря, школа не привлекала меня ничем, кроме возможности каждый день ходить с прекрасным портфелем. И каково же было моё горе, когда этот-то самый портфель мы и оставили дома в первый же день. Меня успокаивали всем классом, но куда им было понять весь ужас моего положения: конечно, легко говорить «не переживай, ничего страшного», когда сам стоишь с ранцем за спиной. Папе пришлось вернуться домой, а мне на память осталась общая фотография нашего класса, где я сижу в первом ряду, несчастная, красная от слёз, с растрёпанными от переживаний волосами и съехавшим набок бантом. И вот прошло уже восемь лет, я учусь в другой школе, с другими ребятами, уже плохо помню, как звали моих первых учителей, но хоть что-то в моей жизни остаётся неизменным: каждый раз я опаздываю на первый урок.

Когда я пришла, раздевалку уже закрыли, но это было даже лучше: никто не приставал из-за сменной обуви. Хорошо, что первым уроком у нас стоит алгебра: Татьяна Матвеевна, наша классная, разрешает опоздавшим раздеваться в своей лаборантской. Я взбежала по лестнице на третий этаж, сняла куртку, постояла немного у окна, чтобы успокоить дыхание, — торопиться я не люблю.

Ну всё, можно идти в класс.

Знакомые всё лица. Вижу их почти ежедневно вот уже шестой год. Впереди сидят ботаны: Кристина, Валя, Таня, Дима, Саша и Катя. Это не люди — это машины. Они первые во всём, начиная с литературы и заканчивая астрономией. Каждому из них хочется получить золотую медаль, а дадут только двум — не больше, хотя помогать на выпускных экзаменах буду всем шестерым. Надеюсь, хоть они добьются чего-то в жизни, а иначе чего ради так напрягаться? За ними идёт в три ряда прослойка интеллигенции (я их так называю) — это ребята попроще: им не нужны медалки, они удовлетворятся аттестатом без троек. В самом центре их шайки сидит девочка Ника. Она уже разложила перед собой косметичку и приготовилась к уроку. Все 45 минут каждого урока Ника красится, чтобы к перемене быть самой красивой. У окна сидят Настя и Аня. В общем-то, они ничего, но я ни разу не видела, чтобы они молчали. Перед ними на второй парте сидят Вова и Юля. Вова страшный лодырь, но зато — незаменимый игрок в нашей баскетбольной команде. Он ху-

лиганизм, матерится и срывает уроки, но всё это он делает как-то безобидно и по-детски. Его посадили перевоспитываться к Юле — да, такое до сих пор бывает. Но Юля слишком мягкая и скромная, она не может перевоспитать Володю и потакает ему во всём. Дело в том, что Юля влюблена в Вову с пятого класса, и, кажется, скоро за полугодие у неё в табель выйдут больше четвёрки, чем обычно, потому что все уроки подряд она сидит красная как маков цвет.

Моё место — на галёрке, среди тех, кому всё равно. Я сижу с Ромой. Я сижу с ним за партой с памятного первого беспорядочного сентября. После окончания начальных классов мы вместе уносили ноги от беспредела общеобразовательной школы. А здесь — мы в тепле, сыты и довольны жизнью. Здесь у нас не какой-то гадюшник, здесь у нас — лица. В нашей школе учатся или самые блатные, или самые умные. Ну ещё такие середнячки, как я, которые есть всегда и везде. Рома умный. Он знает три иностранных языка и решает за меня контрольные по физике. Он всё время бормочет что-то себе под нос и разговаривает сам с собой; по временам он удивлённо смотрит на меня, будто меня тут не должно быть, и восклицает:

— До чего глупа!

Очень смешно это у него выходит.

Рома способный и быстро схватывает, но вот беда! Рома уже полгода не слезает с каких-то лёгких наркотиков. Рома одинок и равнодушен, но всё-таки ходит в школу, чтобы не расстраивать маму, которой и так достаётся от старшего сына. Я знаю, что Рома не закончит институт, а закончит совсем по-другому, и сам Рома это знает, и все это знают, но такое уж у нас время: мы не злые, мы просто беспомощные.

Передо мной сидит девочка Гала. Она тоже из тех, кому всё равно. Она рисует и заливается румянцем от тайного желания выйти на улицу и встретить своего принца. Гала живёт в крошечной однокомнатной квартире вместе с бабушкой, дедушкой, мамой и младшим братом и очень стыдится этого — в её положении сложно мечтать о чём-то другом. Мне нравится Гала.

Мне нравятся наши ребята — они неплохие.

За окном нашей школы — сосновый бор. Больше химии и биологии мне нравилось смотреть в окно, где сосны стояли под снегом, тихо и скромно, словно юные послушницы в простых белых платках — за всеобщей. У меня не осталось никаких воспоминаний о школе, кроме воспоминаний о ребятах и о тех кусочках леса, которые были видны мне из окон кабинетов, где мы занимались.

Окно было для меня своеобразным калейдоскопом, где, подобно цветным стёклышкам, деревья, небеса, дома и птицы каждый раз скла-

дывались в новый мир. По вечерам мне нравилось сидеть в своей комнате на подоконнике и смотреть, как сквозь острую листву ракиты, преломляясь, просвечивают солнечные лучи и забько ложатся бледными пятнышками на холодный асфальт — в октябре, когда солнце почти уже не греет, или как синее увядающий зимний день — в феврале и маленькие воробушки, покидая свои неведомые убежища, где они прятались от морозов, снова сердито громоздятся на голых ветках рябины. Однажды летом, в июле — единственном месяце в году, который у нас можно назвать жарким, я подошла к окну и увидела во дворе крысу. Она сидела на поребрике и грелась на солнце. Никогда прежде я не видела крыс, и сначала эта картина вызвала во мне только отвращение, но потом я подумала: «Сколько раз за всю свою жизнь ей везло посидеть на солнце в пустом дворе, без людей и без кошек? Ей тепло и хорошо сейчас так же, как мне. Отчего же я злюсь на неё за это?» И мы сидели с ней вместе: она на поребрике, я — у раскрытого окна, — и одним своим существованием и тем, что нам хорошо — и в этом мы едины, славили жизнь и мир.

6.

Папиного соседа, жизнелюбивого дедушку, выписали; он, как ни странно, пошёл на поправку. Его место пустовало недолго: скоро там поселился другой больной из недавно прибывших — мужчина, немного постарше папы, серый и безразличный ко всему. Он был недоволен каждым нашим посещением — наверное, потому, что его никто не навещал.

Папа, пожелтевший после операции, перестал отличаться от других пациентов, которых мы видели в коридоре. Будто вместе с лёгким из него вырезали всякий интерес к жизни. Мама гладила его худую руку, подсовывала яблоки, бананы и апельсины. Он морщился и злобно шипел:

— Меня тошнит от всего этого. От фруктов этих тошнит!

Мама горбилась и тускнела, смотрела в окно сухими глазами. За окном было темно и шёл мокрый снег. Я видела, как на её лице, словно свежая засечка, появляется новая морщинка от хлёсткого папиного слова. Захотелось вдруг крикнуть: «Ах ты, гадина!» — сделать что-то такое неприличное, укубить, может быть. Но я через силу подавляла — ему больно. Клала руку на мамино плечо, чтобы и она поняла: ему больно.

Потом — всегда — были перешёптывания с врачом:

— Вы понимаете, мы не думали... Очень глубокие корни.

Вот оно — корни!

— Пришлось вырезать всё.

— Надежда, доктор. Есть?

— Думаю, да, но пока ещё рано... Он должен пройти курс химиотерапии.

— Химиотерапии...

По пути домой, в электричке, мама тихонько плакала, а я смотрела, как один за другим жёлтые огоньки текут сквозь голову мужчины напротив, плавно всплывают в затылок и выплывают через глаза. Огоньки всё текли и текли, и я думала о том, что, может быть, такие же огоньки плавают в голове у папы, но я никогда не увижу их в тёмном отражении оконного стекла и не раскрою тайну чёрного пятнышка, сломанной пружинки.

7.

Папа лежал в этой койке долго. Настолько долго, насколько могут тянуться дни, когда время остановилось. Как будто мы стояли посреди большого лунапарка, карусели крутились, вертелись, звенели и мигали, но внезапно стало дурно, и от всего этого закружилась голова, потемнело в глазах, а музыка превратилась в неразборчивый назойливый шум. Как будто нас поместили за стекло, и мы видели, как движется мир, меняется жизнь, но не могли принять в этом участия. Всё, что имело смысл, — больница, борьба, ожидание. Это как если бы ты шёл с весёлой компанией, и шнурок на твоём ботинке спутался в узел. Ты отошёл немного в сторону, присел и пытаешься распутать шнурок. Но не получается. И ты сидишь минуту, другую, третью. Твоя компания уже далеко, но ты спокоен, ты знаешь, что догонишь быстро, ты не переживаешь по пустякам, ведь это всего лишь узел на шнурке.

Но проходит время, а пальцы твои мнут всё тот же проклятый узел. Голоса затихают, но это больше не интересуется тебя. Значение имеет только узелок, с которым ты не можешь справиться. И ты сдаёшься, ты начинаешь нервничать, ты чувствуешь, как потеют ладони, к голове приливает кровь, и тебе жарко, тебе душно, дыхание учащается, и пальцы перестают слушаться. Теперь каждая секунда бьёт в висок, как игла, словно кто-то делает строчку на твоём сознании. Ты сидишь ночью в свете фонаря, вокруг тихо, но всё это не важно. Тебя съедает страх. Ты боишься, что никогда не распутаешь этот узел. И ты понимаешь, как это глупо, но ничего не можешь поделать с собой. Ты на грани истерики. Ещё чуть-чуть — и ты заорёшь и заплачешь или потеряешь сознание.

Я часто переживала такие моменты. Знала, что надо успокоиться, и тогда всё получится, но не могла. Если бы это случилось с узлом на шнурке, я бы порвала шнурок. Я всегда так делала: рвала, разбивала, крушила, — лишь бы эта попытка прекратилась. Я чувствовала, что сломаюсь, если не сломаю.

И вот мы все вместе в этой ночи, под фонарём, распутываем узел на шнурке. Но длится это не десять минут и не час, а недели, месяцы. И порвать шнурок нельзя. Потому что от этого зависит жизнь. А распутать узел — сложно, потому что он внутри.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Химиотерапия не помогла. Метастазы, склизкие душонки, пошли в лимфоузлы. Узлы, узлы. В нём были узлы. Всё нутро — в один узел, и даже взгляд — узелком. Врачи вздыхали, качали головой, ковыряли папу. Мама... Ах, мама! Папа правда устал. Папу забрали домой.

Больница высосала из него всё, что сам он не успел изжить в себе, даже тот огонёк надежды, который в первые дни ещё теплился на кончике его сигареты. Это стало понятно вдруг и несомненно, будто кто-то поставил ему на лоб клеймо, которое невозможно было не замечать. Медленно и тяжело он перевалился из жизни в смерть, словно в глубокий высохший колодезь, откуда выбраться можно только чудом. Но он не жаждал чудес. Он шёл медленно, неуверенно ступая, словно сомневался в том, имеет ли он всё ещё право пользоваться своим телом: идти по улице, выдыхая пар изо рта, оборачивать шарф вокруг шеи и вдевать руки в рукава старого зимнего пальто или смотреть себе под ноги. Только облегчение порой мелькало на его лице.

Я обернулась, чтобы в последний раз увидеть больницу: она лениво разлеглась на ладони широкого плаца, словно отвалившаяся жирная пивка, которая наконец-то вдоволь напилась папиной крови.

И не видеть больше никогда.

Дни прыгали и кружили в чехарде, одна ночь тянула за собой другую. Зима, неудобная и сырая в этом году, была уже на исходе, но тем мучительнее было ждать, и весна, казалось, никогда не придёт. Каждое утро я в нетерпении открывала глаза, будто и не спала вовсе, а только лежала, ждала... Но там — не весна: снова и снова вместо снега, вместо солнца — дождь, наводивший тоску. И, как в детстве, я сидела неумытая и в пижаме на кухне, подложив под себя руки, прислушиваясь к папиному не-сну. Всё встало с ног на голову, и уже я — не он — готовила завтрак, сама заплетала косу и каждое утро проходила одна мимо скрипучей калитки детского сада, куда чужие папы вели своих дочерей. Папа тем временем сидел в кресле у окна, курил и шипел без лёгкого, как змей. Что он чувствовал? Может быть, ему было страшно?

Или тоскливо. Ждал ли он весну? И почему, для чего он начал курить? Так много вопросов! Столько же, сколько волос на его облысевшей голове. Иногда я тихонечко подглядывала за ним, когда он оставался один: может, наедине с собой он разрешал все эти загадки?.. Нет. Он кашлял, курил, шипел... Делал, что угодно, но всегда не то, что на самом деле должен делать умирающий человек. Должен ли? Ну, хоть что — то ведь должен?.. Казалось, что да. Может быть, он имел знание, недоступное нам? Я спрашивала:

— Почему так?

Он слабо улыбался, брал руку и подносил её к тонким тусклым губам. И губы дрожали, сдерживая миллионы маленьких морских капелек, которые, наверно, впитались в него тем далеким летом 90-какого-то года, когда мы все вместе катались на волнах в Крыму и он опасно хватал меня за руку, чтобы я не заплывала слишком глубоко. Я чувствовала своей рукой, что эти капельки жили у самых его глаз, искали выхода. И становилось до боли понятно, что море бывает не только в раковинах — море бывает в глазах.

2.

В этот раз мы куда-то торопились. Папа шёл быстро, подпрыгивая, как будто хотел убежать от нас, но всё-таки удерживал себя в прыгучем шаге. Мы пересекали огромную бальную залу. Мамины каблучки мягко бились о начищенный скользкий паркет. Этот звук дурманил меня и сейчас, словно я сидела под деревом грецкого ореха и вокруг меня в траву глухо падали его незрелые плоды. Это было так живо, я представила, как расковыриваю мягкую зелёную кожуру молодого ореха, и в нос мне ударил резкий запах йода.

Вокруг было очень светло: окна были задёрнуты тяжёлыми бархатными портьерами, но по всему периметру на стенах висели канделябры с горящими свечами, и с высокого потолка спускалась массивная люстра, усеянная мерцающими огоньками. Я ужасно боюсь таких штуквин. Не знаю, как с такой машиной можно находиться в одной комнате, тем более, если она висит у тебя над головой как дамочков меч. Одним своим существованием она бросала мне вызов, который я не могла не принять. Мы шли на сближение. Ещё каких-то двадцать метров, и я пройду прямо под ней. Даже частый стук маминых каблучков не мог меня отвлечь: десять метров до барьера — я мысленно видела, как она уже выпускает похожее на жало остриё внизу своего стержня, украшенного невинными бронзовыми завитушками. Пять метров — может, в сторону? Нет, в сторону нельзя. Где моя честь? Где моя гордость? И где, в конце концов, мой писто-

лет? Один метр — всё, сейчас она обрушится на меня. Я выдохнула и сделала последний шаг.

Ничего.

Висит, где висела.

Но пока я глазела на люстру, папа исчез. Куда он мог деться из этой залы? Впрочем, я знаю: сейчас возможно всё. Мы шли вперёд, вперёд. К чёрной стене. Кажется, там... или нет. Да. Да, теперь я вижу: в той стене есть узкая дверца. Наверное, за ней и скрылся папа. Я подбежала к двери и нажала на ручку. Закрыто. Хотя скважины для ключа нет. Только теперь я заметила: это не чёрная стена, это — тьма. В той комнате, за дверью, нету стен, но свет из залы не проникает туда. Я не вижу отца, но чувствую: ему страшно и одиноко. Стук маминых каблучков стих, и я боюсь обернуться и узнать, что осталась одна в этой внезапной давящей тишине. Но нет, мама здесь. Я ощущаю её дыхание. Мама в оцепенении смотрит на дверь, я, как собака, носом слышу её страх. Ей хочется убежать, но бежать отсюда некуда.

— Папа, папа, открой дверь, — шепчу и знаю, что он не услышит, а стучать — боюсь. Боюсь узнать, что — не откроют.

Так мы и стояли, пока я не проснулась, отделённые от него простой деревянной дверью, мы — в страхе и бессилии, он — во тьме.

3.

У папы отказали ноги. Да, вот так просто: отказали ноги. Что тут ещё добавить? Это случилось сразу, в один день, даже, может быть, в одну минуту. Если бы у него, например, немели пальцы один за другим, потом стопа, голень, колено, бедро... Но нет — всё сразу: бац! и он больше не ходит. К этому времени метастазы уже поразили костные ткани, и врачи отказали во всякой надежде. Впрочем, папа отказал в надежде намного раньше.

Он не мог больше спать с мамой на одном диване, и мы перевезли его в мою комнату. Боже, как унижительно всё это было! Хотя он и был худым и сухим, словно свиток пергамента, но ни мне, ни маме не хватало сил перенести его в одиночку, а тащить его за руки и за ноги — это было бы слишком. Наши старые кресла с огромными подлокотниками — нелепыми признаками убогого достатка порядочной советской семьи — с трудом пролезали в узкие дверные проёмы, а продвигать это кресло толчками вместе с немощным папой, без конца стучаясь о косяки, — об этом стыдно было даже думать. Перевезти его надо было во что бы то ни стало, и покончить с этим хотелось поскорее. Я прикатила своё пластиковое офисное кресло, которое является неотъемлемым атрибутом любого письменного стола в каждой комнате каждого здания, как будто

весь мир превратился с один большой офисный комплекс. Сидеть на этом кресле чудовищно неудобно, но все упорно сидят, потому что так теперь заведено. Мы перетащили на него бедного папу, и, придерживая его, я медленно поехала в свою комнату. Первое, о чём попросил отец, было:

— Убери эти противные жёлтые занавески, они меня раздражают.

Раньше никогда не раздражали.

— И закрой форточку — дует.

Так исчезли мои солнечные шторы с цветами и бабочками, а на их месте повисли мёртвые жалюзи. Моей комнаты, уютной и родной, — не стало. Вместе с отцом сюда въехала его болезнь. Она сидела в углу, наблюдала, сосала через соломинку дни. Тень её превратила комнату в склеп. Мы боялись, и она, почуяв это, вела себя по-хозяйски раскованно и нагло. Иногда — знала, что не прогонят, не приструнят — она залезла папе на грудь, не давала дышать. Или грызла его ноги, терзала своими тупыми зубами. Мама кидалась к врачам, ища у них если не избавления, то хотя бы — облегчения.

— Надо ждать, надо ждать, — пугливо шелестели врачи, уставившись в стол, — пока по позвоночному столбу не дойдёт до головного мозга. Мы уже ничего не можем сделать...

— Мучиться?..

— Недолго. У него саркома.

— Ах!..

Глупое слово «саркома» беспорядочно и бесновато кувыркалось в голове.

Сар-кома — сор-кома — сыр-кома — сэр-кома — кома...до бесконечности.

Папины глаза тоже кувыркались на онемевшем лице. У него сводило ноги. Порой так сильно, что месяцы-костяшки на его руках по очереди белели одна за одной, словно отсчитывали время жизни чёрного пятнышка, тугого узелка: май-июнь-июль-август, — и деревянные, искривившиеся пальцы скребли простыню. Оставаться с ним наедине было страшно, но я знала, что его боль сильнее этого малодушного страха. Я тихо подходила и опускала свою холодную руку на его лоб, сидела так долго, долго, пока рука не превращалась в горящее полешко и боль не уходила прочь, забивалась, обессилев, в изъеденный копчик.

4.

Дядя Лёша был старым другом отца. Он был одним из тех редких людей, от которых — ты чувствуешь — исходит только хорошее и доброе. Сколько я его помню, он всегда пил. Хотя пил, вообще говоря, за-

мечательно: вставал рано, до зари, ходил в лес за грибами и ягодами, радостный и свежий возвращался домой. Затем шёл на работу, и там начинался его ежедневный марафон. Такие люди, как он, пьют не потому, что не могут не пить, а потому что не видят смысла не делать этого. Это не стиль жизни, это — философия. Концептуальные пьяницы — так я это называю.

Наш дядя Лёша ходил в плаще, похожем на плащ-палатку, худой и коричнево-старый, без зубов, смешно смеялся, прикрывая рот рукой — не от стыда, а из скромности. Мы не помнили и не говорили о нём. Он приходил сам, без предупреждений, весёлый и неунывающий, вырос-тал, как леший, из земли. Дядя Лёша был единственным папиным другом, который навещал его, когда отец лежал, парализованный и одинокий.

У него была дочь Аня, старше меня лет на пять. Я хорошо помню её: голубоглазая девочка с волосами цвета топлёного молока, стриженными в скобку, отчего её голова казалась непропорционально большой, худая и угловатая, как её отец, похожая на нескладного лягушонка, всегда рассеянная и как будто чем-то ошарашенная. Мы дружили когда-то, хотя дружба не очень подходящее слово для чего бы то ни было, если это связано с Аней. Она не играла со мной в «дочки-матери», не возилась с игрушечной посудкой и не делала «секретки». Она никогда не подстраивалась под мои четыре, шесть, девять, она не подстраивалась даже под свои десять и четырнадцать лет — всё это было так далеко от неё. Мы бесцельно шатались по городу, лазили на крыши, забирались в заброшенные деревенские дома и ходили на речку, где она ловила стрекоз. В ней не было любви к природе в том смысле, в каком я привыкла это понимать: она могла запросто оторвать стрекозе крылышко, но не из жестокости, а из любопытства, — в ней был какой-то мальчиковый интерес разобрать и посмотреть, как устроено; она не восхищалась — удивлялась: ну надо же! и такая вот летучая тварь бывает на земле. Одно лето в банке у неё жил уж, и она ловила для него лягушат. Ей нравилось смотреть, как он заглатывает их — сначала только до половины — и они беспомощно дрыгают задними лапками.

Но однажды Аня влюбилась. Не знаю, как это вообще могло произойти с ней, вечно поглощённой своим деятельным созерцанием жизни. Просто однажды она уснула 16-летним подростком, а проснулась — юной девушкой. Теперь она не бродила по городу и не лазила по деревьям, она ходила в детский сад. Сходила и я с ней раз.

В детских садах, как и в любом маленьком городе, на обветшалых деревянных верандах, где днём играли дети, поздними вечерами соби-рались мутненькие компании из девочек и мальчиков. Маленькие и

большие, болезненные и свирепые, как крысы, они пили, курили и — что-то ещё. Они сидели и стояли на веранде, как по команде, чертили воздух по вертикали, одновременно поднимая и опуская свои сигареты и бычки, выдыхали дым, глотали дешёвое пиво. Развязные парни и девушки, бесцветные, потрёпанные, с замазанными плохой пудрой прыщами в одних и тех же местах на несвежем лице, с сухими ломкими посечёнными волосами, выкрашенными некачественной краской в чёрный цвет, и все, как одна, с хвостиком. И среди них — Аня. Всё такая же нескладная, с длинными худыми руками и тонкой шеей, большеглазая и смуглая. Как она старалась всем здесь понравиться, всем угодить, стать своей — даже курить начала. Её возлюбленный сидел на скамейке и мало интересовался происходящим. Я не могла понять, сколько ему лет — в детстве все, кто значительно старше, охватываются одним понятием «взрослые», — но мне казалось, что он «самый взрослый» и все как-то негласно подчиняются ему. Он обволакивал своим взглядом, будто щупальцами, шерстил грубо и бесцеремонно. Аня была так сильно влюблена, что не смела даже смотреть на него.

Я ушла. А Аня... Ну а что Аня. Папа пил, мама работала. Аня помаха-ла рукой и переехала к возлюбленному. Дала понять, чтоб не лезли. Мать повздыхала (дочь выросла), отец накатил — и зажили по-старому: папа пьёт, мама работает. А у Ани — своя жизнь.

Хорошо и спокойно было недолго. Очень быстро выяснилось, что возлюбленный посадил Аню на иглу — потащила из дома. Лечиться Аня не хотела, да и денег не было. Уговоры? Да, наверное, были уговоры, но разве они что-нибудь понимают? Сначала они слушают тебя, но потом: зрачок расширяется и они не могут уже думать ни о чём, кроме того, что скоро их начнёт кумарить, а дозы ещё нет. Правда, однажды Аня попыталась соскочить, залегла у родителей ломаться на сухую, но выдержала недолго.

А потом Аню посадили: была наводчицей, тем и зарабатывала на дозу. Мать повздыхала (вот до чего докатилась!), отец накатил — и зажили по-старому: папа пьёт, мама работает. А у Ани своя жизнь — зона.

Дядя Лёша приходил к папе раз в неделю, по субботам, в 11 утра. Он садился на стул у кровати и рассказывал об Ане. Всегда одно и то же:

— Вот Анька моя, может, освободится досрочно. За хорошее поведение. Амнистируют её, может, а? По-новому заживём! Я пить брошу. Она уже там бросила. Взять-то неоткуда. Да и за ум взялась, в себя пришла. Пишет мне письма: «Папа, папочка...» Домой хочет. И я пишу. А чего? Дочь ведь она моя, — громко сморкался в чистую тряпицу, и было

видно, как тяжело ему сдерживать слёзы. Мама наливала рюмку водки, он успокаивался и продолжал:

— Пить брошу. Все вместе будем жить, как раньше.

Клубы дыма от папиной сигареты задумчиво покачивались под потолком, и все молча слушали, как часы в зале били полдень.

Аня освободилась через несколько лет, и я видела её после освобождения лишь однажды: она стояла в очереди у ларька, почерневшая, с бесцветными жидкими волосами и синяками под глазами, измученная. Я даже не сразу узнала её — только потом, когда уже прошла мимо. Дядя Лёша все так же приходил в гости. Со своей бутылкой водки. Садился, выпивал и говорил: «Обманула, стерва! Всего меня до нитки обчистила! Даже раскладушку, на которой я спал, продала!». И начинал плакать пьяными слезами. И его худые плечи ещё долго вздрагивали уже без слёз под старым зелёным плащом.

5.

Время тянулось бесконечно. Мы оказались в другом измерении, угодили в замкнутое пространство безвременья, где не продохнуть, откуда не выбраться, и задымлённое, размякшее сознание перестаёт различать сон и явь. Всё исчезает, остаются лишь иступляющие наваядения пряного морока. Остаётся только день, знойный, душный, истощающий, и он длится вечность. Часы, сутки, недели здесь отсчитывала не минутная стрелка, а папина жизнь, вытекающая капля за каплей. Казалось, прошли не месяцы — годы. Я готова была отдать всё, лишь бы этот дурман не спадал, но уже нарывало, ныло в голове: «Скоро, скоро...».

Папа не умирал, жил, мучаясь, всё больше озлоблялся, становился невыносим. Он лежал, усталый и больной, в комнате с жалюзи, где когда-то жила маленькая девочка, милая и родная, где всегда было солнечно и радостно, где танцевал с любимой женщиной. Теперь здесь было темно и душно, затхло, нездорово, как и в его душе. Он неосознанно причинял боль другим, здоровым, чтобы поняли: ему-то гнить заживо тяжелее всех обид. Мама осторожно поднимала и усаживала его, когда он уставал лежать, наскоро взбивая плоские опавшие подушки, но он раздражённо отталкивал её тревожные руки:

— Не так. Сделала только хуже. Неудобно теперь.

— Серёженька, ну ты скажи как — я поправлю, — она старалась подоткнуть подушку, протискивая под него свою руку. Но это раздражало его ещё больше.

— Что ты всё лезешь со своей заботой. Надоела уже. Принеси мне куриный бульон.

Но стоило ему попробовать один глоток бульона, и он с отвращением возвращал кружку:

— Что за тухлятина. Готовить, что ли, разучилась?

— Да нет, он свежий, — мама неуверенно нюхала и отпивала. — Я только что с плиты сняла. Но папа уже отвернулся и не замечает её.

Иногда становилось так невыносимо, что он просил:

— Усыпите меня. Пожалуйста, просто усыпите меня.

Сразу охватывало это чувство, когда что — то неподъёмное тянет вниз и вот-вот где-то лопнет жила, главная в жизни. И не вдохнуть и не выдохнуть, а только из последних сил стоять рядом, класть прохладную руку на лобовую кость, которая скрывается под тонким налётом пепельной кожи и ждёт этой руки. От этого тяжелело внутри. Я не могла уснуть по ночам, ворочалась рядом с умершей — совсем на немножко — мамой в таком неистовом напряжении, что каждой клеткой кожи ощущала обессилевший папин вздох там, за тонюсенькой стенкой. И один-единственный вопрос железной сетью охватывал сознание, давил обескровивший мозг: что гуманнее?

Я знала, что папа тоже не спит, но страх перед близостью смерти, неразрешимость вопроса вдавливали в кровать, не давали подняться. Стоило надолго закрыть глаза, как начинало казаться, что откроешь, а над тобой в этой жуткой густой тёмной тишине, похожей на горькую жижу, молча стоит отец, иссохший, точно скелет, и смотрит прямо в душу, чего-то ждёт. Нет, глаза открыть невозможно; невозможно пошевелиться, чтобы не выдать себя. Лежи и обливайся от страха горячим потом, пусть он разъест твою кожу, как кислота. Обливайся слезами от своего малодушия, потому что этот умирающий человек в соседней комнате — твой отец. И ты слаба. Дорогая, как ты противна и мелка.

С мыслями об этом постыдном страхе, так и не открыв глаза, я наконец засыпала.

6.

Был конец марта. Погода была холодной, ветреной, но солнце светило ясно и пронзительно, и внутри уже оседало налётом терпкое предчувствие весны. Я вышла пройтись, немного и недалеко, потоптать последний, слякотный снег. Недавно рядом с нашим домом построили новый храм. Раньше церковь располагалась где-то в старой деревне на краю города в обычной избе. Теперь же, пройдя через столько мытарств, в центре города высился золотисто-белый, сверкающий единственным куполом храм «Неопалимая Купина» — какое наивное и смешное лицемерие: как будто это поможет, если станция рванёт. Он напоминал мне свежеиспечённый торт, и порой казалось: откуси я кусо-

чек побелки с угла — окажется, что глазурь. Храм был разлапистый, неуклюжий и походил больше на пирамиду. Говорили, что этот проект сделали лет 20 назад для строительства храма где-то в Средней Азии, но — перестройка, построить так и не успели, и наши городские власти теперь выкупили этот заваливающий проект по дешёвке.

Честно признаться, я ещё ни разу не бывала внутри. Всё как-то мимо, мимо, да и смущал меня этот праздничный торт. Но сейчас с каждым шагом что-то больно кололо: па-па, па-па, па-па. И тяжело опускались слова: ни разу не бывала внутри. Не бывала внутри. Внутри.

А ведь я даже и свечку за папу не ставила.

Я никогда особо не думала о Боге и о религии. В детстве у меня была тёмно-синяя «Библия для детей» с глянцевыми страницами и яркими иллюстрациями. Я любила эту книжку больше остальных. Мне нравилось смотреть картинки и придумывать к ним истории. Однажды я попробовала почитать, но всё, что было там написано, выглядело таким неоправданно скучным рядом с красочными рисунками. Наверное, к детским Библиям не стоит делать такие красивые иллюстрации, чтобы они не отвлекали от текста. Иначе у детей в голове не останется ничего, кроме картинок.

Родители тоже никогда не говорили со мной на такие темы, да и между собой-то они вряд ли говорили о таком. Иногда мы бывали в церквях. Заходили в шортах, с непокрытой головой — ведь мы же в сторонке, мы тихонечко, мы просто постоим и уйдём, — стояли недолго, закинув руки за спину, и выходили. Меня приучали смотреть на это как на достопримечательность, как на памятник архитектуры, культуры, живописи и чего угодно. Папа уважал Церковь как неотъемлемую часть нашей истории. Папа вообще уважал историю. Всё это трогало и интересовало его, но только если не касалось нас. Он фанатично боялся фанатизма, и стоило мне хоть раз перекреститься, он пускался в долгие и злобные увещевания о том, что все это ерунда, суеверия и надо проще ко всему относиться. Я не спорила с ним, молча верила во что-то своё, сама не зная во что.

Мама при случае ходила в церковь поставить свечку, но, кажется, сама не знала твёрдо зачем. Каждую весну мы говорили друг другу: «Христос Воскресе!» — целовались трижды, бились крашеными яйцами и кушали кулич. Пустое следование обрядам — никакого смысла.

Папа не верил в Бога, но у него, как у всякого атеиста, были свои божества: нравственность, мораль, совесть, — и он прилежно поклонялся им. Это напоминало игру, когда все делают вид, что чего-то вполне определённого и известного всем на самом деле не существует. Если делать

долго и старательно, начинаешь сам в это верить, хотя, конечно, это не означает, что это самое определённое и существующее действительно исчезло. Папа играл в эту игру всю свою жизнь, и его очень огорчало и сердило, когда кто-то пытался сдвинуть его с насиженного места.

Он выбрал достойных кумиров, но — не хватало смысла, не было полноты. Я видела, что вопрос «Зачем?», прежде заслоняемый понятием долга, подошёл к нему вплотную, поэтому ему было так тяжело и страшно. Страшнее, чем нам. И он заражал нас этим страхом. Страхом бессмысленности, беспощадности происходящего с ним теперь.

В храме было светло и пусто. Только на скамеечке сидели старушки. От их заносчивого, недовольного взгляда захотелось поскорее уйти, но я крепко помнила: папа. Икон было немного, и все были новые, будто и не писанные, а просто картонки. Я не знала, кому полагается ставить за здравие, нерешительно оглядывалась по сторонам, мешкала. Денег хватило только на одну свечку, поэтому ставить надо было наверняка. Бабушки — я чувствовала — зорко глядели за каждым несмелым, растерянным жестом, ждали, когда можно будет начать: вот молодёжь пошла, ни перекреститься, ни свечку поставить не могут... Мне было по-настоящему неловко и страшно. Первый раз я оказалась в церкви одна, без родителей, и пришла не поглазеть — поучаствовать. Мне казалось, что все непременно смотрят только на меня, ждут, когда я непоправимо ошибусь, сделаю глупость. Тянуть дольше было невыносимо, мне хотелось поскорее сделать задуманное и уйти, убежать. Я пошла к Богородице. Мама всегда ставила у Её иконы.

Икона была похожа на качественную распечатку, но, даже несмотря на это, глядеть на неё было приятно и хорошо. На ней была изображена только Богородица, без Младенца. Она сидела, хотя, может быть, и стояла с опущенными глазами, сложив руки на груди. В ней всё было прекрасно, наполнено смирением и покоем. Мне казалось, что в любую секунду Она может поднять глаза и взглянуть в ответ. Это ощущение было одновременно жутким и восхитительным. Я боялась и жаждала. У меня закружилась голова и потемнело в глазах — как и всегда, когда я сильно волнуясь; это какое-то подлое предательство моего организма. Не хватало ещё грохнуться в обморок посреди церкви прямо перед иконой, чтобы меня и вовсе сочли за бесноватую. Я подняла свечку и... тут только заметила, что свечей, от которых можно было бы зажечь свою, нет. Боже мой, что делать! Уйти? Но ведь бабушки видели, что я покупаю свечу, и потом, что я с ней сделаю? Не могу же я её выбросить. Бегать по храму и искать уже зажжённые свечи перед другими иконами? Не очень-то вежливо по отношению к другим святым. Может быть,

поставить её незажжённой? Нет, это слишком просто. Здесь должен быть какой-то подвох, и, если я его сейчас же не разоблачу, все поймут, какая я дура. Мне было стыдно за своё немолитвенное стояние перед иконой, и я была уже близка к тому, чтобы не просто уйти, но выбежать из храма и никогда больше сюда не приходить. Но наконец я сообразила: подвох заключался в маленькой лампадке на вершине подсвечника. Я долго зажигала свечу от маленького огонька, от волнения — сначала даже не с той стороны, и перекрестилась. Правой рукой сле... да нет же, справа-налево.

У самого выхода из храма ко мне подошла девушка. Я не заметила её, когда вошла. Должно быть, её не было. Хотя просторный сарафан скрадывал, я поняла, что она беременна: каждая чёрточка её спокойного, светлого лица кричала о новой жизни, о радости и счастья, которые, сама не зная как, она заключала в себе. Вся её фигура, и облик, и взгляд как будто бы говорили: «Скоро у меня родится ребёнок. И я люблю жизнь. И людей. И мир». Уже теперь она была матерью. Исчезло всё индивидуальное и личностное. Она была проста и уникальна в своей открытости и незащищённости. Кто посмел бы причинить вред? Не ей — им. Их было двое. И они были единым. Радостным, известным, но непонятым. Она улыбалась мне, но я видела, что, к кому бы ни была обращена улыбка, она улыбалась своему малышу.

— С праздником! — она протянула несколько веточек пушистой вербы.

И вдруг мне стало так стыдно, что в храме я первый раз, что иконы картинками кажутся и как свечку поставить — не знаю. Я взяла вербу, пролепетала «спасибо» и чуть не выбежала. Сначала кинуть хотела от стыда веточки эти, чтоб не жгли, не тревожили, но потом вспомнила своё волнение и глаза её радостные, и стыдно стало, что выкинуть хотела. До самого дома опомниться не могла. А там уж!..

— Гляди, папа! Верба.

7.

Я перебирала старые фотографии. Просто смотрела, а может, искала что-то. Вот он — папа. Стоит на широкой площади, улыбается, молодой, подтянутый, в коричневых штанах-клёш и узкой рубашке в красную клетку. Конечно, фотография чёрно-белая, но это непременно так, как хочется: коричневые и в красную клетку.

Здесь они с мамой зимой: в пальто и в высоких меховых шапках, похожих на барабан. Влюблённые — сразу видно.

Вот папа подкидывает меня совсем ещё крошку к потолку, смеётся, а я рот раскрыла и ручки растопырила — страшно и хорошо.

А вот тут втроём, в салоне фотографировались. Все такие нарядные, причёсанные — семейное фото. Они очень серьёзные. Мама сидит, папа стоит немного сзади и справа, руку на плечо ей положил, я — у мамы на коленях вся в слезах, скуксилась. Очень хотелось сфотографироваться на коленях у папы, но композиция и все дела... Зато на следующей фотографии я и папа, вдвоём. Папа улыбается, я тоже, сквозь слёзы.

А эта — самая любимая: папа учит читать. Он ведёт пальцем по букварю, говорит что-то, а я — очень заинтересована.

Их так мало, этих фотографий. Но от этого они только дороже и милее. Особенно теперь. Я раскидала их по полу и лежала: над ними, под ними, рядом. Слёзы, частые и чуть тёплые, узко резали глаз к виску, противно затекали в уши. Эти слёзы раздражали — не облегчали. Казалось, время безвозвратно затерялось где-то и когда-то давно, затёрлось повседневностью, а самое главное, важное, жгучее так и не было сказано. Слова спели. Но поздно.

Ой ли?

8.

Мои сны, тяжёлые и беспокойные, мучили меня. Просыпаясь среди ночи, испуганная, в слезах, я прижималась к маме, которая во сне отталкивала меня и поворачивалась спиной. Я верила своим снам, не понимая их, а иногда — даже не желая вспомнить, чувствовала, что все ужасы этих снов ведут меня к тому главному, что уже висит надо мной в воздухе, но ещё не поймано и не узнано. Я была похожа на маленький мячик для гольфа, который с силой ударили жесткой клюшкой, и вот я лечу, перепуганный и потерянный, над морями и лесами и попаду ли в заветную лунку — Бог весть.

Этой ночью мы гуляли по лесу. Стояла жара, но с залива тянул вечно холодный, никогда и никем не обогретый наш неугомонный ветер. Спотыкаясь о тело каждого дерева, увязая в суровой блёклой листве, он едва касался нас. Было тихо. Но тишина эта была живой и подвижной: то дятел где-то пристукнет клювом, то старая сосна у дороги сухо затрещит и защёлкает, то белка, скребнёт когтями кору, взбираясь на верхушку дерева. Солнце светило пронзительно, и воздух до краёв наполнялся медным звоном его томных лучей. Далеко разметав свои мощные корни, крепко вцепившись ими в землю, сосны тянулись ввысь, вместе с непокорной землёй тащили к небу и нас. Мы шли по широкой лесной дороге из белого песка, словно по дороге из жёлтого кирпича. Нам было весело и хорошо вместе, мы шли, не думая и не заботясь ни о чём, будто не было иной жизни — вне этого солнца, дня и ветра. Но вдруг дорогу нашу пересекла заброшенная железка. Она была ржавой и туск-

лой — видно, давно уж по ней не ходили поезда. Мы стояли в нерешительности, удивлённо переглядываясь: откуда она здесь? может быть, осталась со времён войны? тогда почему в городе о ней не знают? В воздухе появился какой-то назойливый писк, такой высокий и тихий, что родители не различали его среди живого гула леса. Я опустила глаза: рельсы едва приметно вибрировали, стряхивая с себя пыль ожидания. Постепенно вибрация перешла и в землю под нашими ногами, и вдали показался поезд. Он нёсся на нас из самой гущи соснового бора, неистово грохоча всеми своими колёсами. Мы не успели даже сообразить, что к чему, как он уже летел мимо, заслонив весь белый свет своими бесчисленными чёрными вагонами. Мы с мамой поспешно отпрыгнули назад, папа, словно замороженный, остался стоять на месте, пытаюсь найти хоть один мелькающий просвет в этой чёрной стене. Но вот и конец, я уже вижу размытые далью силуэты сосен за покатою спиной последнего вагона. Вот уже этот последний вагон гремит мимо нас, будто тяжкий занавес — за кулисы, как вдруг хватает папу, цепляет своей скрюченной железной лапой, торчащей вбок, и стремительно утаскивает за собой. Я, было, дёрнулась — за ним, но мама впились в руку: и его не спасу и сама пропаду.

Ну как же? Как же так? Ведь сам всегда учил: не стоять близко к дороге, чтобы ненароком не зацепило!

Мы постояли так ещё недолго, напряжённо прислушиваясь к затихающему скрежету и грохоту, потом мама развернулась и пошла обратно. Я в недоумении кричу ей, но она не оборачивается, просто уходит, уходит. Назад, назад. Гнев и смятение подступают к самому горлу, но я недвижима: куда идти? за кем бежать? Нога моя как будто сама собой поднимается в воздух и опускается — по ту сторону рельсы, на шпалы. И так я стою: правой ногой уже с папой, левой — всё ещё с мамой. Куда?

Я делаю ещё два шага. Всё. За рельсами. Спиной к железке.

Вечером позвонила Машка. Я всегда чувствовала, когда звонит она. Наверное, это был род какой-то телепатической связи. Предвкушая предстоящий тягостный разговор, зная каждое его слово наизусть, я всё же поплелась к телефону.

— Пойдёшь гулять?

— Нет.

— А чё? Пошли.

— Не могу.

— Да пошли, хватит уже дома сидеть. Пойдём пройдемся, воздухом свежим подышим, поболтали бы.

— Да блин, Маша, не могу я.

Ненавижу эти препирательства по телефону. Каждый раз у нас с ней так. Каждый раз!

— Чё так? — Вот оно, сейчас начнёт давить разочарованным голосом.

— С папой сажу.

— А мама?

— На работе. Она теперь вечером работает, а днём — с ним, пока я в школе.

— Аааа, ну ясно-понятно тогда. А к тебе можно? Посидели бы тихонько на кухне, чайку попили.

Если она захочет увидаться — она неистощима на выдумки, как это можно организовать. Все её предложения чаще всего неудобны ни ей, ни мне, но она будет осаждать меня, пока я не сдамся или не выйду из терпения.

— Не очень удачная идея. Я не могу оставлять его надолго. Или ты хочешь попить чая вместе с ним?

— Ну, может, я тогда спущусь? Постойм на площадке.

Она жила на шестом, я — на втором. И терпение моё подходило к концу.

— Маш...

Всё, дорогая, пора снимать осаду.

— Ну ладно, ладно. Завтра, может, тогда?

— Короче, всё. В субботу вечером. Пока, я кладу трубку, — положила.

Может быть, не очень вежливо, но, когда ты знаешь человека 12 лет из 16 возможных, и он становится как бы твоей рукой или, например, глазом, рамки дозволенного и приличного значительно расширяются. Так расширяются, что и краёв рамок этих не видно.

Я знала Машку всю свою сознательную жизнь: живём в одном подъезде — чего же тут ещё. Всё то безумное, что было в моей жизни, воплощала она — темноглазая, худая, даже тощая, с острым носом и длинным тонким ртом. Во всех её безумных планах я шла у неё на поводу, но не потому что была совершенно бесхарактерна — когда она меня доставала, я могла её и пристукнуть, — а потому, что горячо любила её. Мы были странным сочетанием, и прошло немало времени, прежде чем мы приспособились друг к другу. Помню, у неё была маленькая злобная шавка, которую она всё время спускала на меня, и потом, хохоча, наблюдала, как я бегаю от неё по двору. Машка знала, что я не смогу долго на неё злиться, и не стеснялась подзуживать свою собачонку. Редко мне удавалось избежать стёртых клыков, и частенько я приходила домой понадуванная. Да, Маша была злым ребёнком, но я знала, как она привязана ко мне, и прощала ей. За все её проделки, фокусы и пакости попа-

дало мне. Это было чем-то уже предрешённым и неизбежным. Нас ругали как будто вместе, но смотрели исключительно на меня. То мы поджигали тополиных пух в детском саду, то поливали прохожих водой с моего балкона, то баловались по телефону. И всегда каким-то магическим образом выходило так, что Маша тут совсем ни при чём. Стоило ей узнать о какой-нибудь моей влюблённости, как она садилась за стол и писала от моего имени любовное письмо — сразу в двух экземплярах: для меня и для «любимого» — и отправляла по почте. Я краснела от ужаса и не могла спать по ночам; какая уж тут любовь, если я старалась ещё года два не попадаться этому мальчику на глаза. И нет, не надо думать, что она ревновала. Ей просто нравилось издеваться надо мной.

В десять лет мы решили закурить. Конечно, с Машиной подачи. Курить нас научила Аня:

— Когда затягиваешься, надо, вдыхая в себя воздух, сказать «мама». Задержать дыхание и потом только выдохнуть.

В первый раз у меня чуть глаза на лоб не вылезли.

Мы пробирались через дырявую крышу в хозяйственный гараж в нашем детском саду, где хранились вёдра, мётлы, лыжи, и курили. «Nort», красная пачка. Сигареты нам продавали почти везде, и даже не приходилось врать, что «для папы». Мы забирались в гараж, садились на доски и упивались своей взрослостью. Чтобы выглядеть покруче, Машка щурила глаза и самозабвенно материлась. Честно говоря, нам не нравилось курить — противно, — но это был вкус того времени, когда мы были детьми.

Всё, что Машка прочитала в своей жизни, так это Пушкин «Капитанская дочка». И не страдала от этого нисколько, ну ни капельки! Все мои попытки приучить её к чтению закончились большим уроком для меня же. Однажды я ей всучила, прямо силком впихнула в руки, первый том Пушкина из нашего собрания сочинений. Я подумала, что, раз уж ей понравилась «Капитанская дочка», может, понравится «Руслан и Людмила». Дала — и забыла. Прихожу к ней как-то, год назад, наверное, в ту пору у неё уже был французский бульдог, которого она обожала. Смотрю, под миской этого бульдога лежит книжка — чтоб повыше. Её и в руки-то брать противно — вся замызганная едой, обмусоленная, обгрызенная, — но интересно всё-таки, кого они под собачью миску подкладывают. Достаяю — Пушкин. Злиться на неё за это бесполезно: она, конечно, поймёт, что испортила чужую вещь, но негодования по поводу Пушкина — никогда. Я пошла в комнату, где стоит так называемый книжный шкаф с тремя книгами. Достаяю оттуда какой-то бульварный детектив и говорю:

— Маша, — говорю я, — а вот это нельзя было подложить?

Она улыбается виновато и насмешливо.

— Да она слишком тонкая, ему надо потолще, а то он не достаёт. Извини, я забыла, что это твоя книга.

С тех пор книжек я ей, конечно, больше не давала.

В субботу ровно в восемь часов и одну минуту — именно столько времени ей потребовалось, чтобы спуститься с шестого на второй — наш дверной звонок легонько икнул и затих. Машка. Улыбается мне в глазок, знает, что буду смотреть. Я обулась, нашарила на верхней полке шкафа берет — с ума сойти, а когда-то я не могла туда заглянуть, даже забравшись на нижнюю полку — и вышла.

— Ты чё так расфуфырилась?

Машка, как обычно: вечерний макияж, волосы уложены, штанишки в облипочку и сапоги на шпильке. И я — куртка ещё с седьмого класса, из которой никак вырасти не могу, никакой тебе косметики и укладки, джинсы-клёш, тоже старые, немодные давно уже, замученная и бледная, даже волосы грязные, хотя под беретом всё равно не видно.

— Я что, плохо выгляжу?

— Да хорошо, хорошо.

Идёт, каблуками цокает. Только, как у мамы, не получается ни у кого, даже у Машки.

— Где шапка? Почему без шапки опять?

Ну, сколько можно. С ней я всё время становлюсь какой-то нудной и брюзливой, как надоедливая мамашка. Почему куртка такая короткая? Одень тёплые колготки под брюки! Нельзя так много ходить на каблуках — ноги испортишь. Даже самой противно от своего брюзжания.

— Эх! Годы идут, а ты всё не меняешься! У меня капюшон, если что.

На улице было ветрено. Хотя у нас не бывает без ветра. Мы шли по нашему любимому маршруту: мимо церкви, вдоль бора, не доходя до ДК, поворот направо, на Солнечную, всё так же вдоль бора, там снова направо — по Ленинградской до мэрии и через лес мимо моей школы домой. Один кружок и всё.

— Эт самое... Как папа?

— Никак.

— Ну в смысле?

— Да нормально. Не хочу об этом говорить.

— Как хочешь, — вздохнула.

У стелы, как обычно, сидит народ — по бутылке пива на пару рук, хотя сидят на удивление тихо: парни не гогочут, девушки не визжат. А вообще кому охота рот разевать в такую холодрыгу. Вот наступит лето...

— Ну расскажи хоть что-нибудь. С Сашей, небось, опять поссорилась?

Не молчать же всю прогулку. Я знаю, что она ждёт этого вопроса, а она знает, что мне совсем не до этого, но перетирание всех этих тем стало уже ритуалом, и наши желания здесь не играют никакой роли. Порой она устаёт говорить об этом, а я слушать, и мы просто сидим, смотрим, как на горбатой детской лестнице в нашем дворе висят капельки воды, которая недавно была дождём и даже не думала, что на её пути к земле встанет такая нелепая и непонятная железяка; или молча идём и разглядываем встречных прохожих, оцениваем парней и критикуем девушек.

— Да, короче, сука он жадная, достал меня уже.

Какие же мы разные. Нам и поговорить-то особо не о чем. Вот скажу я ей: «Маша, ты послушай, как лес волнуется, как тревожится, посмотри, какой он чёрный. Тебе не страшно, Маша? А лужа вот эта, на гиену похожая, будто к ноге моей принохивается, того и гляди схватит». Разве поймёт она мою тоску? Нет, не поймёт. Поймёт, что тоскую, но отчего? А она живёт и не тоскует, и разве хуже она от этого? Такие, как я, только ещё большую тоску нагоняют.

— ... и ещё главное говорит мне, типа «ну я же на прошлое восьмое марта дарил тебе цветы». Прикинь?

— Угу.

ДК уже прошли, идём по нашему местному Бродвею. Молодёжи — пруд пруди, всем уже хочется поскорее весны. Как будто, если все разом выйдут на улицу и начнут шататься туда-сюда, весна придёт скорее. Все такие красивые, модные, ухоженные, будто и не было никогда девяностых, клея и футболок с Куртом Кобейном.

— Слушай, ты меня слушаешь вообще?

— Да слушаю, слушаю. Ну а что я могу сказать? Бросать тебе его надо по-любому. Ты это и сама знаешь.

У мэрии никого. Совсем недавно тут тусоваться начали, года три-четыре назад всего. Здесь всё время сквозняк: близко к заливу и дома так построены, что не защищают, а, наоборот, создают коридор для ветров. Так что — пусто. Ну ничего. Скоро лето.

9.

Всё, чего я могла хотеть, — сесть в угол, закрыть лицо руками и окаменеть. Каждый из нас боролся поодиночке, и ни один не мог победить. Это витало в воздухе, вязло на языке и сипело буквой «с». Об этом думали и помнили все, но не произносили вслух, как будто всё ещё могло вывернуться наизнанку. Хорошо. Это было бы очень хорошо. Об этом можно и поговорить:

— 'тремс-'тремс-'тремс. Ты знаешь, 'тремс чудесна и прекрасна! Я так люблю 'тремс! А ты, папа, любишь?..

Но рядом не было ничего, похожего на 'тремс. И надо было молчать: сипеть горлом, но молчать. Эта пауза, нелепая заминка, не могла тянуться вечно. Я повисла где-то в воздухе, пытаюсь взглянуть спокойно на приоткрытую дверь, куда однажды он шагнёт, оставив нас позади.

— Тебе страшно?

— Не знаю. А тебе?

— Да.

— Мне жаль, что пугаю тебя. Поскорей бы конец.

И хотя он говорил «поскорее бы», я чувствовала где-то там, мозжечком или седьмым шейным позвонком, что всё-таки страшно, ему было страшно, и он боялся сказать об этом, чтобы не испугать ещё больше. Сверхшлось важное и грандиозное, что-то самое главное зависело от... Но что? Что я должна была сделать? Совершенно определённо что — то было, похожее на листок бумаги, который лежит на столе, и нет сил подойти и перевернуть его, прочитать, что въелось-отпечаталось на пыльной столешнице. В носу щекотал извечный вопрос: быть или не быть? Уходил один, единственный, какого никогда больше не будет. Надо было взять себя в руки и быть, быть. Быть с ним до конца.

— Знаешь, чего я боюсь больше всего?

— Чего?

— Что ты умрёшь вечером, понимаешь? — Прозвучало как-то неуклюже, от этого вспотели ладони: страшно обидеть. Молчит.

— Понимаю, — ответил. — Я постараюсь, как надо, — усмехнулся. Отлегло — понял.

— По-моему, это глупо.

— Что? Дай сигареты, — ветка-рука разлапилась, слабо потянулась.

— Ну, это же не в туалет сходить.

— Я всё равно постараюсь. Для меня и в туалет теперь — не проще. Ты же доча моя маленькая... — задымил в потолок. Порой он бывал так слаб, что не мог даже раскурить сигарету, и я делала это для него сама. А иногда ничего, сам справлялся.

— Как думаешь, что там дальше?

— Не знаю. Иногда мне плевать, лишь бы мука прекратилась. А иногда так жить хочется! Милая, жить-то как хочется!

— Я люблю тебя, папа.

Это был первый и последний раз, когда я сказала. Он заплакал. В первый и последний раз.

10.

То, что папы когда-нибудь не станет, казалось невозможным, абсурдным, смешным. Вот же он. Я могу его потрогать, поговорить с ним,

просто посидеть и помолчать. Он здесь, он рядом. Он был рядом всегда, даже когда был далеко, я всё равно знала, что рядом. И он будет всегда. Всегда, всегда будет рядом, иначе как жить. Всё рухнет, разрушится, если он исчезнет.

А между тем, смерть была в нём. Она слилась с ним нераздельно, проникла в каждый волосок на его руке, в каждую родинку. Она была повсюду и нигде конкретно. И не замечать её, отворачиваться или ненавидеть — значило не замечать или ненавидеть отца. А я только узнала любовь. Эта любовь была больше меня и моего понимания. Она болела, разрывала, сводила с ума. Я знала, что она не пройдёт — я полюбила навсегда. И даже спустя миллионы лет я не скажу: «любила», — но скажу: «люблю». И как беспомощна становилась его смерть рядом с моей любовью, которую она не сможет у меня отнять, не сможет отнять у меня отца, а значит, он не исчезнет, он будет жив всегда. Я не умела справиться с этой любовью. Я лишь интуитивно чувствовала, ещё сама не понимая, что вся полнота её может выразиться не в смиренности, но в приятии. В приятии смерти. Я принимала папу в жизни и любила его и саму его жизнь, от которой он не мог быть отделён. Сейчас я должна была научиться принять и полюбить его в смерти, а вместе с тем полюбить и саму его смерть, от которой он теперь тоже был неотделим.

Все эти открытия были похожи на густой целительный бальзам, который вылили мне на голову, и его хочется скорее смыть. Но нельзя. Надо ходить так, не трогать руками, не пытаться что-то исправить. Терпеливо ждать, когда он впитается, — вот, что я должна. И тогда я стану лучше. Я пойму. Я стану мудрее.

Мама не верила и врал, будто всё хорошо будет, будто поправится. Ей тяжело было смотреть на его тощие руки, выцветшие глаза, впалые щёки, тяжело было видеть, как день ото дня он худел и увядал, ссыхался, становился кем-то другим. Ей сложно было удержать свою любовь, глядя на этого чужого умирающего мужчину. Сложно было удержать, но отпустить — ещё сложнее. Она окунулась в их общее прошлое, которое значило для него уже слишком мало, и воспоминания, живые, осязаемые, как никогда прежде, пульсировали, наполняли воздух наших комнат. Я чувствовала и почти видела своими глазами эти миры, рождающиеся в геометрической прогрессии, упущенные ныне возможности, которые реализовывались где-то в прошлом, живущем теперь своей отдельной жизнью.

Летом папа часто уезжал в командировки. Обычно это были недолгие отъезды на день-два, которые в суматохе будней не так щемили и

ранили. Но однажды случилось так, что уехал он ранней весной, а вернулся в середине лета. Мама держалась молодцом: не плакала, не нервничала по пустякам, — тосковала, конечно, грустила, но тихонько, чтобы меня не расстроить. И вот наконец настал долгожданный день его возвращения. В этот день с самого утра лил крепкий дождь. Вообще-то, дождь лил уже месяц подряд: июнь в наших краях — сезон дождей; прямо саванна какая-то. Мы хотели встретить папу на автобусной остановке, но, как того и следовало ожидать, — опаздывали. Мама закалывала волосы перед зеркалом, они рассыпались, выбивали из-под хлипкой заколки, от обиды мама кидала её на пол, потом снова хватала, и всё начиналось по-новому. На ней было белое летнее платье, совсем новенькое: она купила его два дня назад и теперь надела в первый раз. Лёгонькое и простое, с маленьким круглым вырезом вокруг шеи и летящей юбкой до колена. Мама выглядела намного моложе своих лет, и часто люди на улице принимали её за мою старшую сестру. Оно так шло к ней, это платье, к её счастливой улыбке и серым глазам, к простым и естественным движениям рук, к непослушным выходящим волосам. Про такую маму папа говорил: тростиночка. А сама она, чувствуя, как хороша, становилась перед зеркалом и манерно восклицала, подражая старым матронам: «Преле-е-естно! Преле-е-естно!» Сейчас ей некогда было разглядывать себя в зеркале, но всё же краешком глаза и уголком рта — я видела — она пела про себя: прелестно!

Я уже натянула свою непромокаемую ветровку и красные резиновые сапоги и теперь перерывала шкаф, отчаявшись найти зонт. Я стояла на цыпочках на нижней полке и, держась одной рукой за край верхней, шарилась по ней свободной рукой.

— Оторвёшь полку — голову откручу, — мамины угрозы всегда были лаконичны и от этого ещё более устрашающи. Только я ей не верила.

— Всё, пойдём. Мы уже и так опаздываем, — она кое-как приспособила заколку у себя на затылке и накинула плащ.

— А зонт?

— Подожди, дай, — мама опустила меня на пол и сняла зонт с крючка на двери шкафа.

Как ей это удавалось? За минуту она находила то, что я могла искать часами. Иногда, потеряв всякую надежду найти какие-нибудь колготки или майку, я приходила к ней и клячила:

— Мама, я не могу найти! Посмотри?

И если она была занята в этот момент: например, лук у неё жарился для супа, — она гоняла меня туда-сюда:

— Посмотри в шкафу.

— Я уже посмотрела.

— Ещё раз посмотри.

Я шла смотреть.

— Нету.

— На стуле.

— Нету.

— Не нету, а иди посмотри!

На стуле — нету.

— Под кроватью. Ты всё время туда что-нибудь закидываешь.

И под кроватью тоже не было. Тогда она шла смотреть сама, не забывая, конечно, поугрожать для остротки.

— Если я сейчас найду — выпорю тебя, чтоб глаза в следующий раз шире раскрывала.

И стоило ей только войти в мою комнату, как она уже трясла перед моим носом несчастными колготками, которые сушились на батарее.

Мама скинула тапки и обула на босу ногу свои золушкины туфельки. У неё была крошечная ножка, и ей, бывало, приходилось подбирать себе обувь в детском отделе.

— Леночка, но ведь там лужи! — Порой она становилась совсем-совсем принцессой, и у меня язык не поворачивался называть её мамой.

— Не страшно. Ну, пойдём уже скорее.

Мы вышли из парадной и остановились под козырьком. Зонт никак не хотел открываться, или это просто мамины взволнованные руки вдруг стали непослушными. В спешке она бестолково дёрнула его и тянула за спицы, но там что-то заело.

— На, Яна, попробуй. Может, у тебя получится, — мама отдала мне зонт и стала поправлять растрепавшиеся волосы. — Фух! Что-то я запыхалась.

Пока мы возились с зонтом, автобус уже приехал, и папа бежал к нам от остановки прямо по лужам, не разбирая дороги и ничем не защищаясь от дождя. Его красно-чёрная дорожная сумка всё время спадала с плеча, мешала ему бежать, и он, запутавшись в ней, чуть не упал. Мама бросилась ему навстречу, прямо так — в туфельках и без зонта, не застегнув даже плащ. Она бежала, загребая воду из луж, соскальзывая с бордюров, заколка от бега слетела с волос, но она даже не остановилась, чтобы поднять её. Они врезались друг в друга и так и остались стоять, слитые воедино навек. И я, одинокая, всё так же стоя под козырьком с раскрытым зонтом в руках, по-детски обиженная и готовая заплакать, видела, что сейчас они что-то большее, чем мои родители, — в эту минуту они узнали друг в друге любовь, которой, может быть, не знали прежде никогда.

Наконец они медленно пошли ко мне. По пути мама подобрала заколку, её платье и плащ были мокрыми насквозь, и она была похожа на мокрую чайку, за которой по песку беспомощно волочатся тяжёлые крылья. Папа не заметил нового платья. Он не заметил ничего — только маму. А туфли совсем расклеились, и их пришлось выбросить.

11.

Я так и не выкинула вербу. Она стояла в банке с водой на столе в папиной... в нашей комнате. Поначалу я боялась, что это будет только раздражать папу — слишком сентиментально: веточки нераспустившейся вербы напротив умирающего человека... Прямо как в каком-нибудь рассказе. Но нет, он любил смотреть на неё. Она скромно стояла, светлая, весенняя, свежая, и каким-то чудесным образом всё оживало вокруг неё. Даже папа. В какой-то миг, когда он смотрел на неё сквозь вечную пелену сигаретного дыма, мне показалось, что он поправится. Глупо, конечно. Но это несмелое чувство надежды было таким хорошим и необходимым. Я устала жить без надежды, я устала просто ждать.

Верба не цвела и не увядала, будто приглядывалась к нам.

— Смени ей воду, — папа переживал, что не зацветает.

— Да... Мне кажется, ей солнца не хватает и свежего воздуха. Ты куришь всё время.

— Ну, поставь её тогда на подоконник и форточку оставь, чтобы всё время открытая была.

Форточку открытой? А раньше всегда кричал, чтобы закрывали. Хотя теперь тепло уже.

— И жалюзи раздвинь, чтобы видно было, как она там поживает.

Я раздвинула жалюзи. Когда последний раз я сдвигала их в сторону? И сдвигала ли вообще.

Да, папа полюбил вербу, тревожно ждал, когда она зацветёт. Первый раз за время болезни его интересовало что-то так сильно. И я робко молила, чтобы зацвела. Я знала: должно, должно произойти с ней, с нами что-то прекрасное и естественное. Все ощущали это, только боялись признаться себе и друг другу.

И произошло. Произошло что-то ещё более чудесное и удивительное, чем мы ждали, — верба пустила корни и дала ростки. Их было много — семь или восемь зелёных листочков, крепких, живучих, настойчивых. С каждым днём она распускалась всё больше, и держать её в банке стало неудобно. Мы решили высадить её в землю прямо под нашим окном, хотя и боялись, что погибнет. Но без земли она погибла бы ещё скорее. Эта верба была особенной, совершенно особенной для нас. И те-

перь каждый день я и мама — с банкой воды, как когда-то в больницу. Папа грустил без неё, но ему было важно и радостно знать, что она здорова, она растёт и крепнет, она живёт.

12.

Весна уже обдала с головой солнцем и свежестью; ещё не прошло и года, как мы сказали друг другу слово «рак», и я сидела рядом с отцом, подогнув под себя ноги, вдыхала дым его сигарет. Только что он сорок минут корчился от боли, а теперь лежал с таким видом, будто прилёг отдохнуть после работы.

— Послушай, весна?

— Да, правда.

— Я не замечал. Птицы, и дети в песочнице кричат.

— И я.

— Так год учебный уже заканчивается. Какие экзамены у вас?

— Не знаю.

Действительно, ведь экзамены. Какие? И когда?

— Какой класс ты заканчиваешь?

— Десятый.

— Год остался. Куда поступать будешь?

— Я не думала ещё.

— А о чём же ты думала?

Ах, папа! Ни о чём не думала. О болезни твоей думала, о нас и том, что будет. Я ведь целый год каждый день в школу ходила, папа, и даже не прогуляла ни разу, потому что какая разница, где об этом думать.

— Ты учишься, доченька. Без образования сейчас...

— Не надо.

Папа подтянул одеяло и открыл ноги.

— Жарко, — как будто извиняясь, он смущенно посмотрел на меня.

Как же он исхудал. Папочка, как же ты исхудал. А помнишь, в детстве я становилась тебе на ноги, и мы танцевали. Теперь твои ноги не могут держать даже тебя одного — не то, что нас двоих.

В окно залетел воробей, запрыгал по подоконнику. Он строго вертел головкой, глядя то на меня, то на папу. Мы молчали. Он легко вспорхнул на спинку папиной кровати, чирикнул и вылетел в окно.

— Эх, девочка, тяжело тебе этот годочек дался, — сказал тихо.

13.

Машка уговорила меня пойти на дискотеку — устала и давно уже не была. С тех самых пор, как заболел. Мама не хотела отпускать, стыдила и кричала, а между тем Машка уже ждала внизу. Сегодня папа стал сов-

сем плох: уже не ел, а только пил воду и курил. Правильно было не идти, но что-то толкало в спину, путало: иди! иди! И скандалила, доказывала фальшивую правоту, злилась. Папе от этих криков становилось только хуже.

— Пусть идёт. Она же молодая! Может, ты ещё в гроб её со мной положишь? — желчно прошипел. Мама замолчала, утихла, отпустила. Я зашла в комнату, закрыла дверь — проститься. У нас появилась дурная ли, хорошая привычка прощаться перед расставанием, даже самым недалгим.

— Красишься уже?

Покраснела в ответ.

— Это ничего, это можно, но в меру, — взял за руку. — Прости, если я когда — то зря ругался на тебя или кричал, не понимал, был не сдержан.

— Папа, не надо! Ты ведь знаешь.

— Нет, послушай, — закрыл глаза, медленно открыл, усталый, — я всегда хотел для тебя только добра. Если кричал — от недостатка ума, не знал, как по-другому объяснить. Прости меня. Прости.

Что-то больно сжало в груди, проняло до хребтины. Быстро пожала руку, поцеловала в лоб, выбежала, чтобы не заплакать. Я ждала — и боялась признаться себе в этом.

Когда мы пришли, дискотека уже началась, хотя никто ещё не танцевал. Все сидели и стояли вдоль стенок, приглядывая друг к другу, набираясь недолговечной и вызывающей смелости из баночек с синтетическими коктейлями. Никому не хотелось быть первым: танцевать, ещё не разогревшись, не собрав весь свой скудный арсенал танцевальных движений воедино, смущённо притопывать на месте, вцепившись в алюминиевую баночку и никак не решаясь расслабиться и взмахнуть рукой из страха, что выйдет нелепо и смешно. Стоять так могли долго: полчаса из трёх, отведённых домом культуры на субботнюю дискотеку для подростков, — пока кто-нибудь, то ли от природы такой смелый, то ли — от алкоголя, попавшего в кровь, не начинал наш общий танец — с краю, недалеко от стены, спиной к залу, чтобы не видеть, как все таращатся, и лицом к своим друзьям.

Сегодня танцы начинала Машка. Ей нравилось быть первой, ей нравилось, когда на неё таращились. Я сидела с закрытыми глазами, откинувшись на спинку старого разорванного диванчика с торчащим из-под обивки поролоном, и думала о школьных вечерах наших родителей. Там тоже все стояли вдоль стенок, правда, без алкоголя, и каждая девочка ждала, когда наконец кто-нибудь из мальчиков отважится пригласить её. Представляю себе: от волнения все, наверное, еле на но-

гах стоят. А что, если никто так и не пригласит? Вечер безвозвратно испорчен! Знаю, всё это не для меня, но у них хотя бы была идея парного танца, а у нас и её нет. Мама рассказывала, что, когда дежурный учитель уходил, они меняли пластинку с вальсом на твист или рок-н-ролл и начинали сходить с ума. Конечно, кому-то приходилось стоять на шухере, ведь, если засекут, — лишат танцев на месяц. У нас в школе тоже отменили танцы: пьяные девятиклассники побили стёкла.

У меня нет настроения танцевать. Сама не знаю, зачем пришла сюда. Музыка грохочет так, что, если я даже скажу что-нибудь вслух, я себя не услышу.

— Музыка грохочет, — говорю — и не слышу.

Народу на танцполе много, и мои ноги постоянно кто-нибудь задевает, пробираясь в другой конец зала. На диванах сидят только самые неуверенные в себе и самые пьяные, хотя таких мало: всё, что было принесено с собой, выпито, а здесь не продают ничего, крепче лимонада — дискотека для школьников. Те, кто постарше и уже закончил школу, но так и не придумал, чем заняться, толкуются на ступеньках у входа в кафе-бар. В основном это парни, и в руках у них бутылки с пивом — коктейльчики как-то несолидно. Они высматривают себе школьниц посимпатичнее, а школьницы изо всех сил стараются понравиться им. Мне на колени упала девушка; промазала — хотела сесть рядом со мной. Она пьяная и хочет спать. Я не могу разглядеть её лицо — слишком темно, но, кажется, она училась со мной в начальной школе. Впрочем, это совсем не интересно. С другой стороны от меня восьмиклассник зажимает девочку — ей лет тринадцать, не больше. У выхода стоит парень из нашего двора. Он часто сплёвывает на пол — шибёт. Насвай у нас распространён, и не надо, пожалуйста, пугать детской комнатой милиции. Говорят, в него добавляют куриное дерьмо, но даже это никого не останавливает. Слева девушка опрокинула банку с тоником, и теперь его втаптывают в пол. Что за идиотская мода наставить банок и бутылок и танцевать вокруг них, как вокруг истуканов.

В новый год в этом зале проводят ёлки для детей. Мамы сидят на этих вот диванчиках, а сами дети, счастливые и нарядные, бегают своими белыми сандаликами по деревянному полу, который таит в себе следы всех пятничных и субботних вечеров: липкие разводы дешёвых алкогольных напитков и грязно-зелёной насвайной слюны. Детишкам весело. Они не знают, что вот этот вот дяденька, который ставит им песенки из их любимых мультфильмов, по вечерам ставит другие песенки для других детей — без хороводов и ёлок. Когда у меня будут дети, они не будут ходить ни на какие новогодние ёлки.

Где-то в чёрной толпе мелькает белая футболка Машки, она светится от ультрафиолета, и издали кажется, что футболка есть, а Машки в ней нет. Я протискиваюсь к ней.

— Маша, я пошла домой.

— Что? — Она хватается за руку и морщит лоб, силясь меня услышать.

— Я пошла домой! — Кричу ей в самое ухо.

— А чё?

Я скорее знаю, что она спрашивает, чем слышу её.

— Скучно.

— Да оставайся! Сходи сока попей.

Как будто сок мне поможет.

— Не, я пошла.

— Ну, как хочешь.

Я вижу, что она расстроена, но всё-таки отпускает меня добром, и в благодарность я сжимаю ей локоть.

Честно говоря, мне очень хочется в туалет, но там сейчас накурено и девицы толпятся со своими тушками и помадками у крошечного зеркала. Лучше уж потерплю до дома. Что ждёт меня там?

Папа. Живой.

Ночью мне снилась зима и старый деревянный дом. Тихо, и ночь, чёрная, без фонарей, только снег блестит под слабым светом луны; мы спим в доме. Вдруг в окно постучали. Этот дребезжащий стук прополз наш сон, словно разорвавшаяся сигнальная ракета — небо. Я подошла к окну. Страшно, мамочка, как страшно. Как я боюсь темноты и незнакомых людей. Я отодвинула занавеску и, вскрикнув, отскочила обратно: оттуда на меня смотрел какой-то урод с перекошенным лицом, диким весельем в глазах и разинутым в жуткой ухмылке ртом. Он начал снова стучать в окно и отвратительно кривляться. Я не могла смотреть на него, но не могла и отвести взгляд: казалось, стоит мне отвернуться — и он схватит меня и разорвёт. Подойти к нему близко ещё раз и задёрнуть занавеску — не было сил. Я видела, что он уже не один: уродов становилось всё больше и больше, они уже окружили наш дом, кричали, улюлюкали, прыгали и хохотали, заглядывали во все окна. Поднялся ужасный шум. Я бросилась к маме, ища защиты.

— Надо подождать, и они уйдут, — она тоже боялась.

Но, сколько бы мы ни ждали, они бесновались всё больше и не собирались уходить.

— Нет, они не уйдут. Надо прогнать их, — я вылезла из кровати, накинула кофту и пошла через кухню к входной двери. Посреди кух-

ни на раскладушке лежал папа. Он сокрушённо и беспомощно посмотрел на меня.

— Ничего, — я погладила его по руке, — мне поможет мама. Мама! — Я позвала, но она не откликнулась. Неужели мне придётся идти одной? Я позвала ещё раз.

— Да-да, иду, — она медленно вылезла из кровати и пошла ко мне.

Как медленно, мама. Они скоро дом разнесут.

Я вышла на веранду и остановила у двери, ведущей на крыльцо. Сейчас я выгляну и крикну, чтобы шли вон. А вдруг один из них стоит прямо за дверью? От этой мысли по телу прошёл озноб. Я прислушалась — вроде нет никого — и открыла дверь. На крыльце стояла молодая женщина. Испугавшись, я дёрнулась и попыталась захлопнуть дверь, но она не отпускала. У неё были красно-оранжевые волосы, зелёные глаза и неестественно белая кожа. Она холодно улыбалась и шептала: «Иди ко мне. Иди ко мне». Я почувствовала, как сердце во мне леденеет. Она сделала шаг навстречу и поманила рукой: иди ко мне. Ночь за её спиной стужилась.

14.

Утром папе стало ещё хуже. Он мучился от боли всю ночь и теперь был так измотан, что не мог даже покурить. Я притворялась, что сплю, пока мама ходила по комнате, вздыхала, искала что-то. Мне было страшно. Когда она наконец ушла на кухню готовить завтрак, я прокрадлась к папе в комнату и села на его постель.

— Папа, тебе надо креститься.

Он грустно посмотрел на меня и перевернул свою руку ладонью вверх. Я накрыла его ладонь своею.

— Я не могу креститься — я уже октябрился.

— Ещё не поздно. Пожалуйста, папа.

— Бог, если он есть, всё видит. Крестился — не крестился — это мне не поможет.

Он отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Подержи меня за руку. Поговори со мной, — у него не было больше сил.

Я стиснула его руку. В этот миг мы были так близки, как только могут быть близки люди: не как отец и дочь, но как человек — рядом с человеком. Что ещё я могла ему сказать? Я начала читать стихотворение, которое недавно выучила к уроку:

— Девушка пела в церковном хоре...

Я плакала, но он не видел.

15.

Папа умер через несколько дней. Вечером.

Я сидела у окна, готовилась к экзамену по литературе. В арке девочки играли в козла: хлопали в ладоши, вертелись вокруг себя и прыгали, перескакивая через мяч, спорили и подбадривали друг друга. Мяч отскакивал от стены дома и звонко шлёпался на асфальт вместе с парой детских ботиночек: тум-данны-тум-данны-тум-данны — словно маятник. Иногда этот гул и звон затихал — значит, мячик ускакал куда-то далеко. Удивительно тёплым был этот май. Немного приоткрыв рот, папа полусидя спал, запрокинув голову на высокую деревянную спинку кровати. Ему было неудобно, но я боялась, что, если попробую уложить его, только разбужу понапрасну и он уже не сможет уснуть. Он всегда спал чутко и неглубоко, даже странно, что шум за окном не мешал ему. Его слабой, измученной груди едва-едва хватало сил подняться вместе с тонкой простыней, порой мне казалось, что он вовсе перестал дышать, и тогда я тихонечко вскакивала, стараясь всё же не нарушить его покой, и осторожно подносила зеркальце к его рту. Запотело. Я ненавидела себя, презирала за этот страх и мелочную необходимость проверять. Бедный папа, как я унижала его этим зеркальцем...

От всех этих девочек, мячиков и простыней я никак не могла сосредоточиться на списке литературы к экзамену. Или просто не хотела на нём сосредотачиваться. Из подъезда напротив выскочили шесть мальчишек и побежали на поляну играть в футбол. За ними увязался наш дворовый пёс Тишка, он бегал вокруг них и лаял на мяч, стараясь ухватить его зубами. Тишка был завзятый футболист: всё время путался на поле под ногами. Мальчишки кричали на него и махали руками, но это не помогало. Наконец, Димка — он жил в нашем подъезде на четвёртом этаже — догадался кинуть ему палку. Тишка с развевающимися ушами помчался за ней. Тут как раз во двор с миской вышла тётя Клава — она подкармливала нашего Тихона.

В коридоре зазвонил телефон. Я обернулась на отца — спит — и на цыпочках выбежала из комнаты. Это была мама.

— Ну как вы?

— Да нормально. Папа спит.

— А ты что делаешь? Готовишься к экзамену или опять бездельничаешь?

— Готовлюсь, — я наклонилась к зеркалу и выдохнула — запотело.

— Ну ладно, давай, пока. Скоро приеду.

— Угу. Пока.

Я положила трубку и постояла ещё немного в тёмном коридоре, прислонившись лбом к холодному зеркалу. Потом пошла обратно в

комнату. Папа лежал всё в той же позе, положив тощую руку на впалый живот. И снова будто бы не дышит. Я напряжённо вгляделась в него — не дышит. Подошла поближе — не дышит. Господи, да неужели ты специально только и ждал, пока я из комнаты выйду!.. Я подбежала к столу, схватила зеркальце... и не смогла. Не смогла поднести к его губам. Я уже знала: он умер. Вот так вот просто, во сне, запрокинув голову и приоткрыв рот. Я не могла заставить себя прикоснуться к нему, чтобы проверить пульс, не могла даже взглянуть на него. Волоски у меня на спине встали дыбом, и под самым затылком почему-то стало очень холодно, будто к моей голове приложили ледяную банку консервов. Я выбежала из комнаты, хлопнув дверью так, что она снова распахнулась и набрала мамин рабочий номер.

— Елену Васильевну позовите, пожалуйста.

Как я могу говорить таким спокойным голосом?

— Алло.

— Мама, — я не знала, как сказать ей. — Приезжай.

Я сидела во дворе на скамейке и смотрела на окно своей комнаты. Оно всё так же было раскрыто. Там сейчас лежит он. Один. Рука — на животе, голова запрокинута, глаза закрыты. Может быть, я ошиблась? Может быть, я сейчас поднимусь, а он уже проснулся и беспокоится, куда я ушла? Нет, я не хочу об этом знать. Это хуже, чем в самом душном моём кошмаре. Какая глупость, Яна, какой стыд. Как он смеет быть таким неживым. Как может он так пугать меня. Этот страх, как собачонка, вцепился в самое сердце, словно червь, точил.

Тум-данны-тум-данны-тум-данны

— Ты неправильно прыгнула! Перепрыгивай!

Я закрыла лицо руками и задержала дыхание, чтобы успокоиться. Удивительно тёплый май в этом году. Я опустила руки и посмотрела на вербу, которая уже совсем прижилась в земле. Первое время мы с мамой выпальвали траву вокруг неё, но потом и это стало ненужно. Она была молодчина, наша верба. Я снова закрыла лицо и вспомнила, как в прошлом году каждый вечер ходила на пирс смотреть закат: сидела на огромных, нагретых за день камнях и смотрела, как солнце, перемазав своими тальми лучами тонкие рваные облачка, похожие на слоёные язычки, опускалось в воду. Однажды в такой вечер и в такой раз, какому уже нет счёта, начался дождь, ливень, от которого негде укрыться. Я стояла на пирсе, мокрая от дождя и солёная от высоких волн, закрыв глаза, подняла лицо к небу, чтобы не бояться. Но кто-то тронул меня за плечо. Это был мальчик, мой ровесник, может, немного постарше; не уродливый и не красивый, не высокий и не низкий, не

блондин и не брюнет, а именно такой, в какого я могла поверить. На нём были джинсы и серый джемпер, мокрые волосы прилипали ко лбу, с носа капал дождь, без сумки, без рюкзака и даже без вида, что идёт давно и издалека. Он стоял рядом, протиснув руки в карманы, живой, смотрел на меня, щурил глаза, защищая их от язвящих капель.

— Ты вся мокрая, — он обнял меня, стараясь закрыть от ветра и дождя. Он пах водой. Я прижалась к нему так, словно мы стояли на самом краешке бездны и он был тем единственным, кто мог спасти меня. Мы стояли так долго, может быть, вечность, пока нас не подобрал добрый автомобилист на маленькой красной машине, и разошлись, не оглядываясь, не обмениваясь номерами телефонов, не спрашивая имён.

Как бы я хотела, чтобы он дотронулся до моего плеча сейчас. В арке пробежала мама. Только теперь я заметила, что в город наш снова пришли белые ночи.

16.

На столе лежала старая фотография: папа и папина дочка. Где-то там, далеко, в чёрно-белом мире держатся за руки, хмуро глядят. Тот же нос, тот же рот, овал лица, русые волосы в чёрно-белом солнечном свете, строгий взгляд. И только глаза зелёные. Зелёные, зелёные, зелёные, как проказа. Папина дочка без папиных глаз, бирюзовых, словно радостное южное море. Возможно, в далёких чёрно-белых мирах это незаметно, но как мучительно и безысходно! Ну, почему, почему они зелёные? Не серые, как у мамы, и — о нет! — не бирюзовые. Они глупо-зелёные, бестолковые и свои.

Наша верба стала уже большим кустом. Мы с мамой боимся, что соседи с первого этажа рано или поздно спилят — будет загораживать им окно. На будущий год мы хотим срезать несколько веточек, как раз на Вербное Воскресение, освятить в нашем храме и посадить на могилке у папы. Он любил нашу вербу.

Я открыла верхний ящик стола, среди вороха бесполезных бумажек, линеек, карандашей нашла высохший бирюзовый фломастер, выкинула колпачок в раскрытое окно, готовое выплюнуть в комнату этот душный летний вечер, послунявила и... Мама всегда запрещала слюнявить и вообще «тащить в рот всякую химию», но слюнявить маленький стерженёк у высохшего фломастера — это так прекрасно, как будто осень превращается в весну: блёклое и скучное становится сочным и ярким. Пусть ненадолго, но как чудесно превращение.

И поставила две точки на месте своих зелёных глаз, чтобы не свои — папины. Вот так. Папина дочка.

Сергей КРОМИН

СТИХИ К БО

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

трава была мокрой. только что после дождя. солнце и воробьи. подумать о дороге. что если тогда. положить немного хлеба в мешок. на потом. теперь присядь, покури на дорожку. оставить мешок на полу. мышам. и отпустить собак, о дороге не думать — прямо все, прямо. только что после дождя трава мокрая, в траве воробьи.

а перед тем стали часы. старые, и новый завод не помог — маятник останавливался и висел как-то косо. теперь на них настоящее время — который час? — час. который. мимо скрипела телега.

(тоже мне разговор)

- никак Серега поехал?
- да будто.
- и чего он после дождя?

прямо все, прямо. солнце стояло еще высоко. грело. баба в огороде мотыжила. у забора старики сворачивали покурить. табак просыпался.

- а идешь-то откуда?
- из Овера.
- а идешь-то куда?
- в Овер.

недалеко внизу лошадь телегу везла. отражалась в мокрой дороге, как в речке. а там и поезд, за водокачкой...

— на днях так же, только помоложе тебя, мокрая вся, из оврага, а только что дождь. в Копнино, говорит, шла. а из Копнина, говорит, идет. а последний дом там лет двадцать... сами и сожгли...

— крыльцо, — говорит, — синее.

старики курили и уходили в дым. покашливая. Серега ехал вниз, лошадь его шла бодро и радостно и копытами разбрызгивала облака.

припомни хорошенько тот самый час — который. я помню — солнце. в траве. воробьи. солнце. еще. высоко. мы шли с тобой по земле. босые. ноги в земле утопали. потому что ведь — только дождь, а земля наша — пух. шли напрямик, прямо все, прямо, шли по траве, и воробьи из травы вылетали, и не поймать воробьев. а за свекольным вином шли, и я хотел спросить тебя о синем крыльце да забыл имя твое. существительное. в одночасье. будто старики накурили, хоть топор вешай, хоть сам. и тогда я отпустил собак, и оставил мешок на полу, мимо скрипела телега.

о дороге не думать. а про синее крыльцо.

ОНА СПАЛА У МЕНЯ НА ЛАДОНИ

она спала у меня на ладони я как увидел что она на ладони у меня спит замер весь и даже дышать перестал а она прикорнула как мышка маленькая такая тихо-тихо как воробышек и я боялся очень что проснется и улетит а мне говорили ссерега ну ты будешь копать? а я боялся ладонь сжать а тут еще оса жжжужжала и я боялся очень потому что показалось она мне самой красивой девушкой какую я видел самым красивым перышком в мире и я им сказал подождем еще потому что копать у нас легко песок а им так не казалось и они кричали чтобы копал а копать тяжело только когда думаешь что души нет тогда да тогда корни тогда глина тогда

а мне было жалко ее вспугнуть мне казалось что я даже лицо ее вижу и оно светится и у нее волосы светлые и они так спадали что она будто за травой осенней жила и мне стало страшно за нее потому что зза осенью зима зима у нас холодная я мерзну зимой и я боялся за нее что и она

а они кричали громко так а я им сказал не разбудите ее пусть поспит устала и прикрыл ее ладонью а они ссерега мудаки говорили времени-то совсем нет

я подумал немножко минут десять подумал что это они тут правду говорят времени и правда у нас ведь нет я раньше тоже об этом думал только все что-то додумать мешало все какие-то пустяки все времени не хватало додумать а думал часто особенно когда молотили под копнином там у церкви пшеница всегда сильная была ее радостно было там ммолотить будто бог рядом ходит радостно так

я раз на ильин день там молотил с мишаней бабка его еще говорила чтоб на илью не ходили шпотому что праздник а какой там праздник когда погода и в вечер уже мы с мишаней последние ппоехали всё бросать не хотелось а дорога через овраг я в гору попер да и встал всего-то

осталось чуток а муфта забуксовала и я стою и делать не знаю чего я мишане ггговорю чтоб он вввон пошел он слез а сам сижу ббуксую и жду думаю что будет а потом с дури-то муфту выжал и полетел вниз все думаю ккирдик да вдруг плавно так ккто-то будто меня остановил думал сначала что граблинами куда уперся а потом смотрел граблины-то погнулись бы как проволоки весу-то одиннадцать тонн я потом смотрел целые были граблины а потом опять в гору полез да и вылез на гору и поехали мы с мишаней потихонечку

и долго ехали ночь уже почти хорошо дорога светится я так и ехал фар-то у нас ни у кого не было да и тормозов а километра два оставалось догоняет зилок-самосвал и поперек нам я им придурки муфта-то не работает раздавлю едва встал а они к нам залазят и говорят чтоб зерно им значит ссыпал а я им мможет тебе еще на бункере здесь поплясать а дело дрянь вижу я мишане беги мол за мужиками он и побежал а сам вру чего-то время выигрываю а думаю господи у мишани-то сердце большое а баклан главный у них я их всех-то знаю ббаклан попер на меня ммонтировка у него в руке была а в другой отвертка длинная я я думаю чем интересно убивать станет лучше бы монтировкой а то отверткой хуже бы она ведь меня насквозь

вообще они ребята ничего пьяные только были а потом у них мотор заглох и стартер что ли замкнул или реле погоди не ехай мы сейчас сказали а сами на реле ушли смотреть или еще куда да я ждать что ли буду ищи дураков скорость воткнул и по картошкам от них уехал иих где-то еще поймали потом да и меня припомнили и вв тюрьму меня на ставку повезли говорили не надолго а в тюрьме стены синем крашены ядовитым очень мне не понравилось сразу даже и ненадолго а коридоры то влево у них то вниз там а то и вверх сразу и потеряешься ттам навсегда и двери двери железные бамц бамц я понял и будешь не ссерега а статья а они-то ничего хорошие ребята только пьяные были и следовательно ничего хороший был спаси господи обошлось всё будто видно и вправду бог

какое значит тогда выходит время это я все обдумывал в десять минут что оно как трава сухая кому такая трава нужна я я все это им ррасказывал пока она у меня на ладони спала быстро ррасказывал даже не зазаикался почти так от воволнения разве что чуть чуть а потом взял осторожно перышко это и спрятал в карман потому что они смеялись сильно и я спрятал в карман ее от них чтоб не разбудили они ее.

ТЕБЕ О МОЕЙ ЛЕБЕДЕ

— Сейчас я расскажу тебе о себе, — сказал я. Знаешь, я лучше бы схватил свою дебильную ржавую тележку и покатил ее, чтобы она гремела, лишь бы самому не слышать, но мне кажется, что я должен это сказать, хотя бы один только раз. Так будет честнее что ли, если ты услышишь, что я себе думаю — в черных трениках с пузырями, в артиллерийском пальто, сером и с тремя медными пуговицами, и в белой войлочной шапочке, мне ее Лизка подарила давно.

Потом я подумал немножко и добавил — а еще у меня есть прадедушкин пиджак, вельветовый, он совсем еще ничего, я ведь если привязываюсь, то накрепко, и друзей я ценю.

Мы шли с тобой рядом, но ты все время забегала вперед, а потом шла мне навстречу. А когда я останавливался, ты тоже стояла, и была рядом со мной, и, мне казалось, вместе с тем далеко. И я сказал тебе — ты слышишь меня? А ты мне ответила, что да, слышу, слушаю. А я сорвал колосок хлебный, что дико на обочине вырос, и растер его между ладонями, а потом подул на ладонь, чтоб шелуха улетела, от шелухи в горле першит, и долго откашливаешься...

А я откашливаться не стал, а сказал тебе — сейчас я расскажу тебе о себе, чтоб мне не казалось, что ты далеко, а рядом была. И еще сказал, что чем раньше скажу, тем лучше, потому что если потом, то потом может быть поздно, может быть, будет ночь, будет пора спать, и я испугаюсь в темноте говорить, вдруг ты исчезнешь тогда, и как мне тогда?

И тут я сел на обочину и стал говорить.

...В мои годы бедного моего Пушкина вот-вот должны были уже подкараулить, и я прибил Пушкина к стенке, чтоб он никогда не упал с пулей в веселом своем животе, а смотрел бы на Божий свет. Не могу, когда падают. Такой уж, верно, родился. Тебе придется к этому привыкнуть. Если ты захочешь меня спросить, как я жил все эти годы, я отвечу, что, да, так и жил, в шапочке и пиджаке, когда ветер, и в шапочке и пальто, когда дождь. И когда кого-то караулила рядом беда, я пытался встать рядом, чтобы выстоять, чтоб виден был Божий свет. Я не знаю, что, в конце концов, из этого вышло, мой Пушкин скрючился на стене, и удалось ли мне хоть кому-то помочь, я тоже не знаю, может быть, делал всем только больно и хуже. А видел ли я сам Божий свет, я об этом еще сильно не думал. То будто и видел, а то будто и нет. И еще я тебе отвечу, что я не смогу выплунуть из себя никого, кто падает, падал, а я

окажись рядом. Эту воду не выплеснуть, от нее не прополоскать рот. Такой уж урод уродился. На свою беду. На твою беду...

Потом мы немножко молчали, я почувствовал, что вдруг очень устал, и пожевал зерна, и что-то еще вспомнил из жизни... Однажды я ждал письма, сидел в своем Заовражье и ждал. А то ли почта у них сгорела, то ли все на рынок уехали, этого уж точно не помню, но только помню, что пошел я за своим письмом, вернее чьим-то, в больницу, там у нас неподалеку больница была, где кто головой бедный, или в белой горючке, как когда-то Кусок; мне сказали за письмом туда можно ходить. Вот и пошел. А что уж было — дождь ли, ветер, не помню, то есть не помню, был ли я только в пальто или еще пиджак надел, этого не вспомню уже. В шапочке колпачком, и надо мною почему-то девки у магазина смеялись. А мне жалко было всегда всех бедных, у кого дни на одно лицо — забор, лебеда... то ли дело у нас, каждый ведь день здесь — событие, как писал один великий русский писатель — то зубы заболит, то обсеришься по дороге, всегда что-то новое... — Ты смеешься? — спросил я тебя, а ответила — нет, тебе улыбаюсь. И я продолжал — и вот я и прочитал тогда на заборе — сделай свой выбор, а что там еще было — не помню, не знаю — оборвано...

Потом я опять замолчал, я вдруг испугался, что вот теперь-то, наверное, ты далеко, не близко, ты убежала, скрылась в траве, и как мне дальше идти по траве, пропадешь в этой траве...

Я задумался. Я молчал. Я жевал зерна. Я думал обо всем сразу — о Пушкине, о пуле в веселом его животе, о бедных, о заборе и выборе, о Божьем свете, о том, что иногда мне кажется, что я тогда его сделал, этот свой выбор, когда пошел за письмом, когда прибил Пушкина, когда пытался и падал... а иногда кажется — что нет, не я, не сделал, не выбор, а кто-то все время делает это что-то за меня — сунет в руки зонт и выпихнет под дождь, как однажды... ты, конечно же, помнишь тот дождь... И думал я о тебе, о том, что вдруг будет тебе тяжела моя вода, моя лебеда...

...Вот и вечерело уже. Вот и свежо стало, и я поднял воротник у пальто, и все сидел на обочине, сидел и курил до тошноты, потому что о себе говорить труднее всего, даже если несешь околесицу. А потом я сказал тебе — ты знаешь, наверное, я не смогу рассказать тебе о себе. Лучше покачу тележку. Слишком себя самого не видно. Где я? Когда? Треники — отцовы, шапочка — Лизкина, пальто дедушкино — ар-

тиллерийское, а голый я тоже сам не свой, зябну. Я кручу головой во все стороны, я вижу деревья, в реке отражаются облака, в поле идет дождь, а себя мне не видно совсем, и сам себя я совсем не знаю, и хотя и прибил Пушкина к стенке, слова мои носятся с места на место, как воробьи, едва ли мне удастся усадить их, как кур... Не знаю... Может быть, обо мне расскажет кто-то другой, Гуга или Кусок, или ты, когда войдешь в мою воду, в дождливую мою природу.

И я сидел и молчал. И было мне грустно, и было мне нелегко. Будто заново все прожил и пережил. А ты мне сказала — ну что ты. Вот ты и рассказал. Вот и хорошо. Вот и камень с плеч. Пойдем домой, а то поздно уже, вечер-то, скоро совсем ночь. Нам еще долго идти.

А ветер веял по дороге пылью, сказочной былью, и дорога навстречу мне шла, и была она рядом, близкой была и родной.

УМБЕРА–БУМБЕРА

Ха! умбера-бумбера, дуружок-куружок! — это я собакам своим так в поле кричал. Я, когда сумасшедший, всё время ору. Шел и орал во все горло, а почему бы и не поорать — поле вокруг, трава-то великая, а собаки-то маленькие, что они там увидят кроме норок мелких что увидишь в траве кроме травы когда ты ниже травы.

А мы с Бо на речку шли, то ли она мне свой островок заветный показать хотела, то ли я ей свой бугорок на затылке смешной... А места наши заовражные чудные сейчас — где дорога раньше была — там трава шумит, где через ручей перелаз — место топкое, заросли, куда и собаки лезть топчутся. Это когда мы с Куском здесь молотили и бабки у колодца жили, все мне понятно было — дорога — дорога, трава — трава. А к бабкам собаки сбегались, какие все брошенные — Верный, Мухтар. Вот спроси меня, Бо, для кого бабки те жили, а я тебе сразу отвечу — собаки — для бабок и Бога, а бабки для Бога и для собак, и тем всё здесь и держалось — дорога — дорога, трава — трава, тогда и я знал, где ручей перейти. А как бабки померли, так и собак перебили, так и всё здесь травой заросло, так и стало мне всё непонятно, куда здесь идти в этой траве.

А мы на речку шли с Бо. И я собакам орал. И небо расплескалось над нами. Я дорожил Бо. Над Бо я дрожал. С ней почему-то мне понятно всё стало, где через ручей перепрыгнуть, где через овраг перелезть, и трава перед ней расступалась.

Вот мы и шли. И я собакам орал — Ха, — орал, — умбера-бумбера, дуружок — куружок, а почему бы и не поорать, они-то маленькие в траве, это мы с Бо великанами шли.

Было бы так...

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

А у меня, Бо, дверь деревянная, то есть даже не крашенная, а просто три голые доски. И я сидел и смотрел на дверь. Было поздно и тихо. Струганные доски светлые, а три пятна темных — возле ручки пятно от рук, а у порога пятно от ног, а посередке — это лапы собачьи.

Я сидел и смотрел на дверь. Я уже и не ждал никого. Поздно. Уже. Давно. А все-таки смотрел на дверь.

— Господи, — я сказал вдруг, — ведь их же нет больше!

Я сидел и не двигался. И только курил. Потом я сказал себе — стой-стой. Я огляделся. А потом снова сказал — стой-стой. И опять чуть-чуть посидел так. — Сегодня, — сказал я себе, — ты нашел на крыше два чугунных утюга. Так? — Да, — ответил я. — А потом я взял вот эти два молотка и положил их вот сюда, видишь, на сундук, рядом с мухобойкой и сапогами. Вот видишь, утюги сегодня еще лежали на крыше, а теперь уже и за печкой, а молотки наоборот — то были за печкой, в ведре, а сейчас вот где, перед глазами, как кумушки рядышком.

Я закурил опять, кажется, я курю очень много. Это не годится. Но сейчас это было не важно. Кажется, сейчас я начал о чем-то догадываться. Я сказал себе — а теперь ответь на свой нелегкий вопрос — где все улетевшие воробьи? Подумай о крыше, о пустом, за печкой, ведре, отвечай — что теперь в этом ведре?

Я подумал немного, может с час, может нет, — да, — я ответил, — наверное... я ходил сегодня с собаками в поле, за земляникой, а потом вдруг увидел, что вот-вот пойдет дождь, вот-вот, он шел к нам уже по околице, и мы побежали к себе, напрямик, и я оглянулся вдруг, не знаю зачем оглянулся, и радуга была близко-близко, красивая-

красивая, во все небо, вокруг всей земли...

И когда я ответил так, мне показалось, что я, все-таки, как-то ответил, почти правильно, и тогда я пошел спать и пожелал всем спокойной ночи, и под конец добавил — и бидону тоже спокойной ночи.

Бидон висел на гвозде, и мы ходили с ним за молоком. Когда-то. У него крышка еще позвякивала, когда мы шли. Я помню, я его тоже очень любил.

В ОДНОЧАСЬЕ

Ночи настали холодные. Осень на лес поглядела. Я печь затопил. А Бо сказала мне — расскажи мне сказку про время, а я кочергой уголья в печке пошуровал и задвижку задвинул, чтобы все тепло вокруг Бо жило, а не улетело в трубу. И я сказал ей — это долгая песня, ты засыпай, а я рядом с тобой сяду, вот тут, и ты услышишь меня во сне, хоть между нами и разница во времени в четыре часа и в четыре тысячи километров. А она мне сказала — хорошо, тогда я сейчас усну и буду слушать тебя...

...Я вышел за калитку. Я смотрел на звезды и было мне слышно, как за оврагом лаяли собаки на суету и на жизнь... И мерцали звезды, и бродили ежи... И тут я сказал — в одночасье...

...Однажды мы играли с Мишаней и Куском в карты, мы сидели траве, под деревьями, мы сперва ехали-ехали, а потом вдруг настало нам время, и мы остановились и сели играть. Мне и Мишане было необычайно весело — дамы били валетов, короли — дам, а потом вдруг появлялся туз и бил королей. Но самое смешное начиналось, когда выходила шестерка, потому что стоило ей выйти, и любой туз, какой бы он туз весь из себя ни был валился рубашкой вниз, в траву. Такие были правила. Такой закон. Мы хохотали, как сумасшедшие, над здешним законом...

А Кусок сидел и улыбался, и он улыбался как-то сквозь боль, я увидел, будто в нем в одночасье жило всё. И я тогда сдался, и сказал ему — поехали, Коль, время-то вышло. И мы поехали дальше, куда и сперва...

Я посмотрел на Бо, я подумал, что зря я о картах сейчас вспомнил, она ведь маленькая еще, совсем ещё пруттик, перышко, зачем ей все это знать, может и обойдется все у нее, вот посижу рядом с ней, глядишь и обойдется. А она спала тихо и улыбалась во сне. Я подумал, что, может, она и не услышала меня, у нас ведь разница с ней во времени в четыре часа и в четыре тысячи километров, может, все и рассеялось по пути. И тогда я сказал ей — я расскажу тебе другую сказку. О времени, которое звенит и летает...

...Мы ехали с Бо на велосипедах. Или пешком шли. На речку. У нас ведь речка здесь неподалеку течет. Маленькая, а течет. День стоял солнечный, жаркий, и небо было синим-синим, как твои, Бо, глаза, когда ты улыбаешься. И вот мы спустились к реке, в заливной луг, и стояла вокруг нас неподвижно трава великая. И услышали мы тут с тобой, в великой траве, в одночасье, как, звеня, полетело от нас время...

...Я подумал, что эта сказка должна понравиться Бо, и пошел спать, потому что у меня давно уже была ночь, а у нее утро уже светало. И когда я лег, я опять подумал о ней, как она тепло сейчас спит, и хорошо, что я протопил на ночь печь и вовремя закрыл трубу. А когда я уснул, она сказала во сне — в одночасье — сказала она. И я это услышал. Хотя между нами и была во времени довольно большая разница.

О ВОЛНЕНИИ ТРАВЫ МОЕЙ

...А над лесом облака плыли всё рыбами синими. Я на небо смотрел и думал о чём мне сегодня тебе рассказать. Олифой вот только от меня сильно несло, самому противно, я, было, подумал, может вообще сегодня такому к тебе не ходить, чтоб и ты, не дай Бог, неприятным не надыхалась. Вот и побежал к другу, а он не здесь, он за оврагом живет далеко. Побежал я к нему за щеколдой какой-никакой, чтоб себе на дверь, чтоб запереться и вообще не выйти, пока вонь не пройдет. А по дороге все смотрел на рыб в небе синих, как они хвосты к земле опускают и тогда дождь из хвостов в траву льется, и ветер тогда траву волнует. К вечеру дергачи из травы закричали. Их было совсем не видно, но когда я шел в темноте, всё не один шел. А у него и правда, железяк всяких куча была — мы с ним долго копались — петельки, гайки, цепи пильные, подковы, гвоздики, которыми коней куют, чтобы веселее они ходили, тут ведь не любой гвоздь подойдет, они особенные, эти гвоздочки. А только для меня ничего не нашли. Он говорит — ты, Серега, на меня, как коршун налетел, это искать надо, заходи завтра. — ладно, — сказал я ему, зайду на днях, ты поищи, пусть под рукой будет. И пошел. А дорогой я сказал тебе — сегодня я расскажу тебе о гвозде. Есть такой особенный гвоздь, с которым ходить весело и легко.

ПРО ВСЁ ХОРОШО

... и как она попросила — расскажи мне сказку — попросила меня — Сережка, расскажи мне, чтоб я больше не боялась никогда, сказку про все хорошо...

...а я ей — Бо — говорю — да таких сказок-рассказок и не бывало, верно... там у них, если и даже хорошо всё, то всё равно всё плохо — рыбка — старуха — корыто... кота к дереву привязали...

...а у нас почти так и было, у нас в Заовражье, я им кричал ещё, когда они мимо на телеге скрипели — вы совсем что ли или как? — а они

мне — совсем! — мне в ответ прокричали, а я им кричал — а собак-то как же? как же с собаками-то? собак-то куда? а они мне — пускай, куда уж теперь-то... собак-то ещё... заботу нашел...

... хорошие собачки были, долго жили потом в будке своей, всё свой дом брошенный берегли... я с ними дружил... а как я ушел, бабки, у колдца жили, кормили, пока сами не померли, да как помирать нам Божья забота, не наша, а котов к деревьям вязать не по-людски...

...а Бо мне говорит — сказку ей чтоб не страшно ей никогда...

...или вот еще сказка была — ехал он, ехал, а в поле голова лежит живая, будто холм, а он голову сшиб, и она, голова, вскоре и померла, Господи — думаю — Господи, прости нас бедных, куда же идти мне за про всё хорошо, когда всё про всё плохо...

и поехал я тогда в Шацк.

... С утра самого, не ел, не пил, а роса была. За другом за овраг заехал, ему в военкомат надо было за печатями... А время клеверное стояло, то есть когда клевер цветет... Бывало, едем мы с Куском по полю, он рулит, а я высунусь в окошко и не надьшусь тем временем, также и с Мишаней когда ездили, я Мишане руль отдам, а сам в окошко — никогда ведь временем не надьшишься... Вот и теперь — клевер рос, и я им дышал... А Саня-друг сказал про него, что самый лучший он корм. А я ему — а чего же тогда от него коровы, говорят, мрут? А он мне на то — это если клевер мокрый, это надо корове, сперва, сухого чего-нибудь дать, а то если сразу мокрого его, он в бродить в книжке у ней начнет, а она, книжка-то, пухнет и давит на диафрагму, а за диафрагмой у нас что? — сердце, легкие, вот и асфиксия, удушье то есть... Саня-то ветеринар — всё про всё хорошо знает... А я спросил его — а как же спасти их, если вот всё-таки? — А проще, — он сказал мне, — простого — проколоть ей бок, чтоб воздух спустить, или ведра три-четыре холодной воды на крестец вылить, воздух внутри сожмет, она будет дальше дышать...

...И быстро мы до Шацка за разговорами доехали, и печати ему там мгновенно поставили, что удивились мы, что обрадовались, время-то нам неприёмное оказалось, не время нам еще было...

...А сказку для Бо я, все-таки, из Шацка привез... Про дождь и крышу... Я зашел к ней, а неё уж вечер был, это у меня еще день, а неё уже месяц в окошко, и она ждала меня, чтоб рассказал я про все хорошо, и она бы уснула... И я ей тихо сказал — дождь по крыше стучал... Засыпалось легко под дождь... А крыша дождь держала, тепло берегла домашнее... А без дождя крыша не звонкая... А без крыши дождь скиталец пу-

стой... А как дождь по крыше стучал — выходила неразлучная им судьба — сказка про всё хорошо... а теперь, Бо, марш в кровать и спи, а я рядом посижу-посижу, сны твои посторожу-подержу.

КОГДА Я СПУСТИЛСЯ К ВОДОКАЧКЕ

Когда я спустился к водокачке, я вновь подумал о тебе.

— Дорога-дорога, — задумался я опять о тебе.

Водокачкой, вообще-то, этот пруд был при паровозах, когда паровозы всюду ходили, они доходили до нашей станции, а чтобы им дальше гудеть, им заливали вот эту вот воду в их животы. А теперь здесь утки купаются. А раньше нет, не купались. Их раньше гоняли, чтобы не дай бог чего. А Колька Кусок жил за водокачкой, то есть за прудом, но для нас — за водокачкой, так у всех на слуху. Он жил, и дорога мимо него проходила, что мимо него не пройдешь. Я однажды наличник на окошко у него без дела приметил — отдай мне его, — говорю, — мне на окошко, а мы пошли, а наличника-то и нету — проходной двор, — так он и сказал тогда, да. Я всегда к нему заворачивал. О чем мы только с ним не говорили. О траве, о дровах, о дворе.

Когда я спустился к водокачке, я подумал вновь о судьбе.

— Дорога-дорога, — задумался я опять о тебе.

Поднялся ветер. Дождь приближался. Я, было, подумал — поезд идет, а потом — нет — я от железки далеко отошел — это идет на меня дождь. И я сказал тебе — летом мы сидели с Куском на ступеньках, а если зима — то за печкой, — знаешь, — сказал я тебе, — мне кажется, мы говорили с ним, все-таки, о самом главном, что я и сейчас тот дом — его домом зову, так у меня на слуху, как водокачка для всех.

И пришел дождь, и обступила меня вода, и дорога скрылась совсем, будто за поворотом, будто у нее был день, а у меня ночь, у нее вечер, а у меня утро, и я спросил у тебя — почему так всё получается, всё течет и теряется? А ты тогда взяла меня за руку и сказала — на днях ты рассказывал о гвозде, и я сказал — да, я помню, я говорил — есть такой особенный гвоздь, с которым ходить легко, а ты сказала — ты тогда не договорил немножко, самую малость, ты не сказал тогда, что с этим

гвоздем только и можешь гудеть. — Да, — я ответил, без воды и паровоз никуда не гудит, на то и водокачка здесь.

И я шел по дороге и снова говорил с тобой. Дорога-дорога, — говорил я тебе.

— Да — отвечала дорога и вела меня за руку. И мы говорили с ней о самом-самом главном — о траве, о дровах, о дворе.

НЕБЛИЖНИЙ СВЕТ

А идти-то было не ближний свет, и я спросил у нее — Бо, а ты на велосипеде умеешь?

Вот Колька Кусок он может и не умел, не знаю, я на велосипеде его никогда не видал, он когда и на лошади-то — у него седло кособокое было, а Гуга — да, ездил он хорошо, у него велосипед был большой, красный такой, он потом, правда, куда-то врезался и колесо изломал, но ездил он классно. Он все так делал — и строгал, и на мотоцикле нашем, что без тормозов был, гонял, и ножи в стенку кидал, что втыкались — у меня редко втыкались, а у него — нет, наоборот.

— Умею, — ответила Бо, только давно не каталась. И еще спросила — А не ближний свет это где?

А ей сказал — на велосипеде чтоб ехать совсем здорово было, надо велосипед под себя сначала настроить — сиденье там, руль — это мне Гуга всё говорил, я даже что-то запомнил — а главное, чтоб в шинах был воздух спертый, тогда он сам будет катиться, а ты только ехать на нем и думать про свет ближний.

И я пошел в сарайчик, где мы всякую дрянь бережем вечно, и вытащил два велосипеда — один для себя — побольше, а поменьше для Бо. — А как же, так ведь быть и должно — я сказал ей, когда она принялась вытирать с них пыль, — я же мужчина и старше. Велики были совсем еще ничего, вот только шины у них были совсем дряблые.

— Бо, — спросил я у нее, а ты не знаешь, где нам спертого воздуха взять? А Бо сказала, что спертый воздух бывает в помещении, где много людей дышат. Я посмотрел вокруг — а много людей вокруг не было, только двое — Бо, да я. — Бо, как ты думаешь, а двое это много или мало еще. А она сказала, что двое это уже хорошо, это почти в самый раз, и я повел ее в сарайчик и запер дверь на крючок и стал там сильно дышать, и ей сказал, чтоб дышала. Только она дышала неправильно и всё смеялась, а я дышал очень серьезно, потому что мне нужно было скопить много этого воздуха — на нас, я же мужчина. А времени было сов-

сем в обрез, я видел, как солнце уже начало садиться, в щели видел, сарайчик-то дырявый весь, мы с Куском его из одних ведь обрезков когда еще скотили.

А потом Бо вдруг перестала смеяться и сказала, что в ближний свет на велосипеде не доедешь, потому что туда дороги нет. А я сказал ей — ну да, а я что тебе говорил, я думал только до него доехать немножко, а потом уж пешком, а если ты не хочешь на велосипеде, то пойдем пешком, потому что когда идешь — дорога всегда есть, даже когда ее нет, и кругом одна только трава. Вот мы и пошли.

А ЕЩЕ ГОВОРИЛ Я НА ИЛЬЯ-ПРОРОКА-ДЕНЬ

А еще говорил я на Илья-пророка-день...

А ветер от других берегов с утра самого дверь настезь распахивал, а я говорил — то ли сходить к ним за овраг-за реку к ним престол поплясать?

А у них на других берегах за рекой за оврагом гуляния гурбиями, говорили, на Илья-пророка-день, то ли сходить к ним, говорил себе, дверь настезь распахивая, молоток в траву запустив?

А ветер от других берегов с утра самого облака наволакивал, веретеном облака вертелись...

А потопал я к другим берегам на других берегах на престол поплясать, а как дождь по дороге меня захватил —

а вот и престол тебе — плясал я себе под дождем по дороге, песни орал — как веселье от тех берегов нахлынуло, радостью мне живота дороги звенящего, дверь в облака распахнув мне настезь

О ДРУГИХ БЕРЕГАХ

...Ты сейчас ты спишь и видишь, верно, десятый сон. И у тебя скоро утро, а у меня еще ночь. Я сижу на террасе и пишу тебе письмо. И мы говорим друг другу — спокойной ночи, доброго утра. Окно мое распахнуто в ночь — в твое утро, в твой сон. И если бы не маленький огонек вдаль, на другом берегу оврага (мы говорили уже о нем, ты представляла его — как за широкой рекой, пусть так. На другом берегу) можно бы было подумать, что есть только вот эта вот здешняя ночь, а я смотрю на него и знаю, что есть и утро, есть ты, и всё это одновременно, сразу — ночь — утро, я — ты. Пусть и на разных, на других берегах — через овраг, через реку, через Бог знает что.

Изредка вспыхивают зарницы, я вижу, как они окрашивают в свой фиолетовый свет дальний и темный лес. Поднимается ветер. Пахнет дождем. Или водой — рекой. Ветер — как весть о других берегах, как перелет на другие берега, не разные — другие. Я думаю сейчас и о них. Мы все живем на других берегах, мне кажется даже, что и Гуга, и Кусок — они — тоже. Может быть, их берег близко, рукой подать, а может, наоборот — через ту реку, овраг, через их Бог-знает-что нам не перебраться сейчас. После. Когда-то. Бог весть.

И все-таки, и все-таки мне кажется всё близким — словно стоит только спуститься в прибрежный ли, овражный туман, а потом выйти на другом берегу и войти в твое утро, в твой сон. Ты здесь. Я сейчас все время думаю о тебе и, когда думаю, говорю — дорога, река — и это всё о тебе, будто всё твои имена. В нашей стороне эти понятия вневременные — дорога, река — они нигде не кончаются раз и навсегда, они могут только нами теряться, скрываться от нас, растворяться — в траве, в городах, в море... Я понял это однажды. Я ехал на возу с сеном, лошадь шла шагом, я лежал высоко в небе, телега наша была, как целая травяная гора, и время от времени я приподнимался на локте и смотрел, где мы находимся, да, мы тогда ехали с Куском, покуривали, стряхивая пепел в его кешку...и, когда я приподнимался и оглядывался, я видел всё время одну и ту же крытую белым железом крышу, она сверкала на солнце, я видел ее будто на том же самом месте и через час, и через два, казалось, что времени здесь нет, что всё здесь всегда, и только лошадь по своей трудной лошадиной привычке перебирает на одном месте ногами. Без времени мне не было страшно, не было страшно и того, что и мы с Куском будто растворились в этой знойной бесконечной дороге, пахнувшей травой и пылью...не было, наоборот — было ощущение, что только так и должно быть, только так и есть по-настоящему... Мне кажется, такими должны быть стихи и песни — как дорога, река — нигде и никогда не кончающиеся, а лишь стихающие где-то в пространстве... Я думаю сейчас, что и к нам, к нашей жизни, к нашим мытарствам, время не очень-то применимо — скорее расстояние. Я бы сказал не — Кусок прожил сорок шесть лет, а — он шел по дороге, а потом шаги его стихли, и когда я пойду к тебе, неверно будет сказать — я буду идти к тебе три дня и четыре ночи, три месяца, сколько-то лет... Это всё один только шаг, а следующим шагом — я выйду на другом твоём берегу и войду в тебя, в твое утро, в твой сон... который ты видишь сейчас, когда я тебе пишу, и окно мое распахнуто в ночь, и я вижу дальний огонек на другом берегу...

КОГДА НИКОГДА И НИГДЕ

Когда я смог приподняться...приоткрыть глаза и чуть-чуть приподняться...когда я огляделся вокруг...

темно было... дождь, и трудно было понять, где приоткрыл я глаза... ранним ли утром или последней ночью...

я пытался припомнить, понять, какой была дорога прежде... что было раньше... до того как... прежде чем... до тех пор, пока...

надо говорить... надо все время говорить, что бы что-то понять... слова подхватывают друг друга... подхватывают тебя... ты что-то припоминаешь... приподнимаешься...

и я что-то припомнил... нашу воробьиную стаю... нас было немного... мы были вместе... место — город или деревня или поселок... проселок... я вышел из дома... да, я вспомнил, был еще тот самый час — который, когда встали часы и показали настоящее нас таящее время... я прикоснулся ладонями к печке, потом прижался к ней лбом... был дождь... я вышел, я пошел далеко...

Раньше... Потом... Как это все связано? ...нас многое как-то сразу связало друг с другом... наши слова... наше умолчание... отчаянье, в котором мы встретились, и назвали, и услышали друг друга... и был дождь... и мы стояли под одним зонтиком... близко-близко... мы говорили... мы слушали... шел дождь...

голос, единственное, что есть здесь у нас...

дождь, единственное, что может здесь нас свести...

перевести на другой берег... поставить лицом к лицу под один зонт... привести под одну крышу... свести друг от друга с ума...

Когда я приподнялся... когда огляделся вокруг...

я чувствовал — вот идет дождь, но ничего не видел вокруг, казалось, я был никогда и нигде, как однажды сказала Бо...

казалось... никогда... и нигде... однажды... она касалась... вода с крыш текла... а мы касались друг друга... и она сказала мне — дорога... река... когда никогда и нигде...

голос ее был тихий-тихий, будто его дождь прятал... или она его из дождя спряла...а раздался во мне как гром... я вышел, я пошел далеко...

я шел по дороге, я шел по реке
и дождь шел за мною невдалеке
и берег другой за дорогой-рекой
и ты дотянись до другого рукой
до берега ночи и голоса дня
а дождь все глядел и глядел на меня

можно ли понять дождь? — я подумал, понять нас таящее время?
я припомнил, как встретил однажды одного человека, он был уже в
возрасте, да, но не высок, все-таки нет, он сказал, он работал на кро-
вельном заводе, всю жизнь, и думал о дожде...как он влияет на нас...

мне кажется, он так ничего и не понял, он увяз в мелочах — в силе
дождя, его направлении к горизонту, нашей в нем скорости, в порывах
встречного ветра, в количестве пуговиц у нас на пальто ...

а пуговиц у меня всегда недоставало... о мелочах я старался не думать —
тебя позвали — ты отозвался...пошел дождь — ты пошел далеко...

когда я огляделся вокруг... когда я смог взглянуть на свое окруже-
ние...

темно было... и не понять — где приоткрыл я глаза — раним ли ут-
ром или последней ночью... но рядом была дорога, она держала меня за
руку и звала за собой...

а дождь мне шумел о других берегах...

И я шел по дороге, и шел дождь, и падал снег, и таял, и по обочинам
вырастала трава, и уставала расти, и шел дождь, и падал снег, и таял... а
я шел по дороге, шел за дождем, чтобы войти в свой дом на другом бе-
регу.

И я сказал себе — пусть даже темно, пусть никогда и нигде пусть, но
идет дождь, но передо мною лежит дорога, а где-то и берег другой, и я
иду — все это ясно, и ясно, как Божий день, а день Божий всегда светел
и легок, он озарен...

Я ШЕЛ ПО ДОРОГЕ НА БЕРЕГ ДРУГОЙ

И ДОЖДЬ-ЧУДОТВОРЕЦ СТОЯЛ НАДО МНОЙ

...КЛОЧКИ...

...когда было мне года три, а ты — мишкой плюшевым, я посадил те-
бя на траву, а меня взяли за руку и увезли домой, а ты осталась...

...а помнишь, недавно ты у меня спросила — а что ты помнишь самое
яркое в детстве? А я сразу ответил — чувство вины. И синие — синие
твой глаза. Мне было тогда года три, наверное. А ты не услышала. Пись-
мо порвалось по дороге...

...на воде ледок,
на траве иней,
кто-то легок на помине,
тот, кто лёг...

...к вечеру дым гуще и ниже стал, а я шел по дороге и вверх все гля-
дел, на звезды глядел вверху, по обычаю своему дурацкому, а все они
там, вверху, бедные мои, то ли попрятались, то ли от дыма совсем про-
пали...дым густой был, и дорогу было видно едва...

...страшно остаться одному посредине своей беды...

...днём синева с неба звенела...синева — синева... это Илюха сказал —
звенела, а мы чаем грелись и на речку ходили, вода бурлила, а у берега глу-
бокая, синяя — синяя. А вечер настал, мы и ушли. А Иван опять остался
один...

...синева я сказал тебе синева так боюсь а вдруг разобьется дым на-
бежит из моей трубы звезды спрячутся меня за руку и увезут а ты миш-
кой останешься на траве плюшевой с синими глазками а мне года три
стану хрустальным посредине своей беды...

...на воде ледок,
на траве иней,
вот и легок на помине,
кто хрустальный лёг...

... когда я прочитал тебе эти клочки, я ведь тебе их обязательно про-
читаю, правда не знаю зачем, но все равно...ты сказала мне — Ну что
ты, родной...

...Высоко — высоко... Синева — синева... Высоко синева твердь...

ИЗ ПИСЬМА К БО

...я думаю о чуде... я все время о нем думаю... о вас всех... о чуде о ве-
тре о дожде о тебе...

я шел а потом остановился потому что посмотрел на небо.

бежали облака когда долго стоишь то начинаешь видеть что они
идут когда идешь вместе с ними это не так заметно нужно остано-
виться чтобы увидеть.

летали вороны и садились на позолоченный флажок на башне вороны черные а низко а выше а высоко-высоко парила черная она казалась черной на пасмурном точка-шар-комочек если бы я не стоял как вкопанный на углу знаменской и моховой а где-нибудь на околице я бы подумал что вот коршун высоко-высоко а какой может быть коршун на углу знаменской и моховой этой осенью поздней.

я думал о ветре знаешь дружок оказывается самое трудное говорить о простых вещах ты смотришь в простое ты вглядываешься в него а оно начинает от тебя убегать уводить тебя в свою несказанную глубину высоту коршун улетает но ты ведь помнишь о нем.

говорить о самом важном не говоря о нем как это сделать твои волосы разметались у тебя по плечам и закрыли от меня спрятали я ищу тебя ты здесь но тебя будто и нет где ты где ты я ищу тебя я зову тебя .

и все же я уверен что говорить обо всем можно только изнутри только соприкасаясь ладонями жизнями-животами.

на асфальте лежали листья я бросил окурок на асфальт мимо прошла бездомная лохматая собака дворничиха мела листья собака она была цвета опавших листьев сидела рядом с ней потом дворничиха прошла мимо меня и смела мой окурок в совок мне стало стыдно я закурил опять вороны взлетали и садились на флажок .

ветер идет от тебя ко мне нельзя остановить ветер нельзя запереть ветер запертый он исчезает его нет говорить не о чем когда стихает ветер нет ничего совсем ничего совсем.

стоя на одном месте я стал замерзать но стоит пойти мне как что-то произойдет я думал остановятся облака и я замерзал на одном месте лишь бы не остановились во мне облака.

знаешь дружок я чувствую теперь мы стали еще ближе друг к другу я зову тебя я зову тебя мы Бог знает как далеко друг от друга но как же мы близко.

в букинисте открыл Розанова хотел тут же тебе писать да набирать нерусскими не захотелось мы живем для любви только для нее мы пришли сюда и только по ее полноте нас будут судить говорю по памяти чуть верно переврал .

ветер живущий в нас над нами бегут облака от нас друг к другу бегут облака я замерзну на этом зассаном углу лишь бы они не перестали бежать ты отводишь волосы и смотришь на меня вот она вот она кричу я тебе радуясь.

ты ведь помнишь дружок я давно обещал написать тебе о ветре хотел рассказать как он живет в траве в деревьях как шумят они от того что он в них живет трепетный неуспокоенный...

кажется я не смогу тебе о нем рассказать я расспрашивал многих но никто не мог мне рассказать о нем о самом простом о том что все знают от чего друг к другу бегут облака бегут высоко-высоко...

знаешь я придумал замечательное начало моей сказке о ветре когда-нибудь я допишу ее для тебя:

«Я расскажу тебе о ветре, — сказал я тебе. — Вокруг тебя сейчас тихая и спокойная ночь, и я подумал, что нужно рассказать именно сейчас, пока тихая и спокойная, и легкие сны, самое время присесть мне рядом с тобой на краешке, на обочине ли и говорить тебе...

О ветре. О вести от других берегов. О трепете по другим берегам...»

ДОРОГА-ДОРОГА

— Дорога-дорога, — сказал я тебе.

— Да? — ты ответила...

Я сидел на обочине, потому что замаялся немножко, вышел-то еще по росе, вон когда, туман еще был густой, а сейчас уже тени короткие были.

— Дорога-дорога, — подумал я, — почему ты так далека?

— А ты приляг, отдохни, куда ты спешишь? — сказала мне ты. А я сказал тебе — А вдруг поздно станет, а то вдруг не дойду, а ты мне ответила — припомни, что ты говорил, когда встали часы. — да, — я ответил, — я помню, я тогда посмотрел на них и сказал — по крайней мере теперь на них настоящее время. — который час? — тогда спросил я себя и ответил — час. который.

Я лег в теплую дорожную пыль и смотрел на коршуна, как он парил — вот бы и мне так, — подумал я.

А ты ответила, — а так тебе что ж?

— да вот ботинки развалились совсем.

— на, подвяжи, — сказала дорога и протянула мне обрывок бечевки, — подвязывай, крепкий обрывок, он здесь недели еще не лежит. И я подвязал.

— Дорога-дорога, — спросил я тебя, — зачем ты живешь?

— Вот ты идешь.

— А если меня не будет, ты что же травой зарастешь?

— У всех бывают не лучшие времена.

Теперь бы прикурить, подумал я, и стал нашаривать спички. Да только подкладка рваная, обронил что ли, чепуха разная почему-то никуда не девается — винтики вот зачем-то, шарик воску пчелиного, ключик от сарая бабкиного ненужный уже, шишка опять же сосновая.. а спичек никогда не нашаришь.

— А ты спроси у них, — сказала мне ты.

— Так один я, — я ответил тебе, — разве что у собак спросить, так они у меня не курят. А ты вдруг засмеялась, и пыль поднялась, и я даже закрыл глаза. Ненадолго. А потом, когда открыл, вижу, Гуга сидит и Колька Кусок. Напротив. На той, на другой стороне. И Кусок достал спичек и мне бросил, — на, Серень, прикури, — сказал он. И я прикурил и обратно ему кинул. Западло, ведь, спичек кому не отдать...так он когда-то мне говорил.

А потом я встал и пошел себе дальше. Дорогой я говорил с тобой. Я говорил тебе — я иду в Овер, я там живу, я вышел оттуда, роса еще была сильная, и туман был густой, и, когда выходил, был тот самый час — который. А потом я думал о тебе — дорога — дорога, — думал я о тебе, — быть может, ты судьба?

О КОЛЕСНИЦАХ

Не колесницы — нет, какие там колесницы — легкие и высокие, мерцающие в веселой своей вышине — мы бежали тележками и телегами, кто как умел, по здешним овражным дорогам, по дороге теряя спицы, колеса, коней.

Иногда мы встречались. Мы разговаривали. О конях. О колесницах. И о том, что когда-то мы потерялись, может быть, где-то потеряли нас.

И всё-таки у нас оставалась надежда, что за нами придут. Конечно, не так и не те, кто однажды пришли за Куском, он после того долго молчался, где и леший не знает. — Серый, — он однажды сказал мне, когда мы курили у печки, он звал меня Серым, да, а что в этом плохого; была зима, окурки мы собирали в банку, чтобы их потом докурить; и он сказал мне тогда — Серый, от меня ведь мало уже что осталось... Мы доставали из банки окурки и высыпали из них табак, из него можно было скрутить самокрутку и курить еще. Была зима. Мы сидели у печки. Мы разговаривали. У нас оставалась надежда. Кто-то придет. Что-то изменится. Дым стоял, как пыль над дорогой...

Как Кусок стал легким и высоким в страшной для меня своей вышине, я не увидел, я просто не пошёл на него посмотреть. Отец мой пошел, а я нет. Я у отца спросил про него потом, отец мне ответил, что Кусок лежал на полу, а рядом сидела бабка и берегла его тело от крыс.

Лёгкий, а веселым он был всегда, и если не колесницей, то телегой-то он был доброй, может быть даже коляской с дугой с бубенцами; с ним рядом пылить было мне хорошо. Я буду еще к этому возвращаться не раз.

Дороги наши овражные, дороги наши на край света, Серый, идут, на краю нам поменяют коней. Об этом говорил Кусок. А Гуге коней поменяли возле колодца. Когда я нашел его возле колодца, он лежал босой, на траве, а в чем он был обут до этого, я не знаю, ведь в чем-то он шел, а ночь была холодная, кажется, ночью был дождь. Когда я увидел его разбитую, распухшую голову, я не сразу понял, что он был уже не здесь. Сейчас я часто хожу мимо его края света — здесь, возле колодца, рукой от меня подать.

...Весною мы любили ходить с ним к ручью, застегнемся поплотней, чтоб комары не мешали, стоим и соловьев слушаем. С ним мы говорили о времени, вернее он говорил, что оно мало что значит, что оно не имеет значения. Мне кажется, он говорил тогда о колесницах. С ним рядом мне бежать было всегда как-то надежно, тепло и надежно, и он был самый крепкий из нас, легкий такой на подъем. Почему край света оказался для него возле колодца, я не знаю. И почему он потерялся? Когда? Где его потеряли? Говорят, он давно вниз катился. Не думаю. Я думаю о судьбе.

Он поднялся легко. Я хочу в это верить.

Светает. Передо мною лежит дорога. Мне нужно идти. На этом можно было бы и закончить. Раньше я так бы и сделал. Сейчас мне кажется, так закончить нельзя. Я продолжаю.

Была весна. Шел дождь. Я подошел к Бо. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь.

— Иди, — она молча сказала мне.

— Иду, — я молча ответил.

И вот я иду, качусь какой-никакой, а тележкой, как могу, как умею, по дороге подкручивая расшатавшиеся спицы, надеясь на своего коня, на

свою судьбу, и верю, что, когда я совсем потеряюсь и покачусь вниз, за мной кто-то придет, увидит из далека мое поломанное колесо и придет. Может быть, это придет за мной Бо. Может быть, совсем скоро, вот-вот. И дорога будет легкая и высокая, мерцающая в веселой своей вышине.

ВЕТЕР. ВЕТЕР.

Было слышно, что расходится дождь. По жестяной крыше сверху, а рядом по невидимому за вечером кусту. Зима. Дождь. На кустах почки. Будто и не зима. Было слышно — что расходится. А снег — нет. Припомнил, как спустились с отцом к реке. Снег повалил хлопьями. Без ветра можно было смотреть широко. Смотрели. Не было слышно, что расходится. Было глухо. И голоса приглушенные. Голосов не было слышно. Снег — как на уши шапку глубоко. И голова кружилась от глухоты, от снега со всех сторон. — Папа, правда ведь, мы будто уже не здесь?

Времени не было. Времени нет никогда. Что мы хотели успеть? Не важно. Забыл что. Забыл, что будет потом. Кто? Гуга? Кусок? Бо? И как-то осекся, и замолчал. Ветер невидимый раскачивает куст. Дождь расходится. — Папа, правда ведь, мы — будто?

Со временем, куст на ветру становится непроходимым для взгляда. Ветер. Ветер. И ты живешь там, в его животе, там и живешь здесь. Подумал. Темно. Подумал о тебе, дорога, подумал о тебе, судьба, подумал о близких-далеких других берегах. О минуте, когда рождается песня. Когда затихает.

Ты возвращаешься... место — то же... те же и воробьи... а крыльцо — синее.

ДОРОГА ШЛА ПОЛЕМ

Дорога шла полем, а время от времени встречался лес, островками. И где терялась в траве дорога, небо с землей сходились. Туда мы и шли с Бо, послушать, о чем при встрече своей они говорят.

Я думал, Бо вот-вот уставать начнет, и всё чепуху ей говорил, чтобы она не устала. Так и Гуга со мной говорил, мы с ним однажды поплыли далеко, не в водокачке, нет, в другом пруду, тот был большой, а плаваю я и сейчас неважно, а тогда и совсем нехорошо плавал, почти не умел вовсе, а он плывет рядом, и всё что-то рассказывает, что мне весело и легко, так мы до далека того и доплыли, что я и уставать не подумал. А Бо

я о тележке рассказывал — есть у меня тележка железная, я на ней всё на свете вожу — траву, дрова, песок в лесок, у ней, у тележки-то, было колесо отвалилось, а я подшипник от трактора туда пристроил новый, а бока разъехались, так проволокой подвязал и дальше катил, она, когда едет, знаешь, как гремит громко, все кузнечики умолкают...

А Бо по дороге сплела нам венки колокольчиковые, и шёл я в венке, как царь по дороге, а она царицей была. Я о тележке рассказывал царице, а она и царицей быть не захотела, и чтоб я — царь, хоть и колокольчиковый — Не для того ведь идем.

Где терялась дорога в высокой-высокой траве, где скрывалась дорога в высокой-высокой траве, где растворялась дорога в высокой-высокой траве

совсем недалеко от нас,

дождь гремел своей тележкой, по траве катил густой, ветер дул в рожок пустой — приближался Божий час

вот и первые капли упали, и я нарвал лопухов, которые побольше, и над Бо их держал, а то еще кашлять будешь потом, после дождя с тобой ведь такое бывало,

и стояли они на границе земли и неба, света и темени, их зарницы освещали во времени, он держал лопухи над царицей, а она стояла под царскими лопухами и отвечала ему.

А Бо отвечала мне — а от дождя, Сереж, Божьего, пусть и закашляешь.

Иван МАКАРОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

*Посвящается СШ, СШ и СШ.**— Век живи, век учишь.**— Душевно вам благодарен.**(Из нечаянно подслушанного разговора)*

1.

...И вот поздравляют меня. Страшно, как страшный сон: давно ли я сам поздравлял!

Хороший светлый солнечный осенний день.

О чем вспомню в сей радостный праздник?

Как, чему и кого я учил?

Как сам учился?

Мне неловко смотреть в щедрые глаза поздравляющих.

— Что ж, — кажется, говорят они, — всех поздравляем, давайте уж и этого — не жалко.

А то ему обидно будет.

«Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!»

Я отвожу глаза.

Делаю вид вежливости и трезвости.

Как все же могло так случиться, что меня поздравляют с таким прекрасным и вместе странным праздником?

Однако, УРА!

Так уж вышло, я немного задержался в своем развитии.

Умственным и душевном.

То есть была какая-то бледная вспышка, лукавый, может быть, подъем где-то между двенадцатью и четырнадцатью, да и потом еще, а потом снова спад в детство, почти вчерашнее детство, теперь уже такое далекое, и уже совсем не чистое и совсем не невинное: умственная бедность и ничтожество чувств.

(А настоящее детство мое, было ли оно чистым? Было ли невинным? Не знаю, не уверен. Может быть, просто не помню.)

Помню, когда-то в детстве, начитавшись волшебных сказок, я мечтал быть невидимым. То есть не быть, а становиться иногда, возвращаясь, когда захочу, в обыкновенное состояние. Быть то видимым, то невидимым: в зависимости от положения волшебной шапки на голове.

Чудесно казалось: можно делать все, что хочешь и как хочешь, совершенно никого не стесняясь и не боясь. Вседозволенность и безопасность. Бедный и глупый, иначе я даже мечтать не умел! Конечно, невидимость и сокровенность дает человеку почти полную власть над другими. Чего ж лучше желать малолетнему, о чем лучше мечтать несмысленному!

Только это все пустяки. Вопрос, в сущности, чисто педагогический: только тогда кажется хорошо ребенку, когда большие ушли или по крайней мере не видят.

(Правда, американцы изобрели, говорят, недавно какой-то инфракрасный прибор, позволяющий обнаружить спрятанного человека на довольно большом расстоянии. Утверждают, что это для отлова нелегальных эмигрантов из Мексики. А там, как знать, может быть, и для простых человек-невидимок... Но это ж американцы! Что с них взять. Они и сухой закон выдумали.)

Разумеется, в своих мечтах о всемогущей невидимости я предполагал вести себя исключительно правильно и благородно, как это полагается в сказке. Защищать обиженных и побеждать злодеев. Этакое противление очевидному злу незримым насилием! Но главное-то, конечно, было в том, чтобы большие не видели.

Как знать, может быть, я и теперь втайне чего-нибудь подобного хочу, только сам себе в этом стыжусь признаться.

Только вот теперь je suis professeur, I am a teacher, я — учитель, и следовательно, не то что невидимым быть не могу, но даже уж слишком всегда у всех на виду.

Как зверь в зверинце.

...А увлекательный это мог бы быть сюжет для писателя с воображением: рассказать и пересказать, что видит и знает человек-невидимка.

Широчайший простор для нашей дурной фантазии! Сам бы взялся, только я простой школьный работник и писатель, наверно, окажусь слабый, да и воображение у меня недостаточно развито. Боюсь только испортить богатую тему.

Праздник, а в голове все науки, науки, науки... Свои и чужие предметы преподавательские. Чему учились-недоучились, чему учили-недоучили.

Лингвистика. Прежде всего «словарь», потом фонетика и так далее. Наконец, поэтика с мифологией — в связи (прошу обратить внимание!) и как отражение других наук: прежде всего ботаники с зоологией (Волк — злодей и мегера Лиса).

Но особенно: птицеведение с ихтиологией...

(Ишь ты! Ученые.

Их теология — ихтиология.

— Рыбку любите?

— Да. Особенно любоваться... Рыба, может быть, вообще самое красивое животное.)

География.

— Так... Где у нас находится Амазонка?

— Как где? На карте...

(Отличник учебы прав: больше он ее нигде не видел.)

О науках стоило бы, конечно, подробнее вспомнить, но не теперь, не теперь... Сегодня некогда: сегодня праздник. День учителя.

Учитель! Перед именем твоим...

Но это еще что?.. Сколько можно!.. Ну, да ладно! Сегодня согласен. Исключительно только ради праздника.

Поздравляйте меня сегодня! Поздравляйте! Поздравляйте меня сильнее!!

Учитель должен быть умным, смелым, добрым и честным. И все это понимают. И я понимаю.

Только я не понимаю как...

Родные и близкие мои (что за дурацкая идея!) всегда хотели гордиться мной...

Бедные! Это им совершенно не удавалось. Чем, в сущности, было гордиться?

День Учителя! У меня, у нас, у них — у всех (по крайней мере у всех нас!) праздник.

(Хотя праздник, вообще-то говоря, слово двусмысленное: праздное значит ведь еще нечто пустое и ничем не занятое).

Но это праздник у НАС. Нас много везде, мы учителя. Мы учителя.

И мы зовем друг друга на подвиги.

Учитель — это ведь почти то же самое, что генерал. Неслучайно в старое царское время учителям давали чины согласно табели о рангах (хоть и гражданские) и награждали за заслуги орденами.

Хотя... Как это себе представить: «ГЕНЕРАЛ НА 0,5 СТАВКИ»?

И все же, Учитель! Будь ты генерал хоть на полставки, хоть в отставке, ты должен жить так, чтоб никто не мог бы, не погрешив против истины, сказать тебе: «ГЕНЕРАЛ, А БЕЗОБРАЗИТЕ!»

2.

КСТАТИ О ГЕНЕРАЛАХ

лирическое отступление (физика, электричество)

...все, что должно было, казалось, стремиться к гармонии (хотя б к трехрядной!), вдруг устремилось, кажется, совсем в другую сторону. Все как будто остановилось в каком-то совсем не динамическом равновесии: нищий завидует царю, царь нищему и безродному, бедный богатому, богатый бедному.

Утро. Улица. Дворник. Он — Генерал. Смелый и воинственный.

Почему, собственно, генерал?

Очень просто: так в детстве дразнили: Саня — Генерал: потому что фамилия Генералов, что почти с полной несомненностью свидетельствовало его крестьянское происхождение.

Дворник (генерал!) был, наверное, вообще-то говоря, дурак.

Хотя все это так относительно.

Двадцати с чем-то лет он немного призадумался.

Он понял сам в себе, что человек он отчасти странный, выдающийся и проблематичный:

Таких мало: в легковом автомобиле (включая ТАХИ) он никогда еще в жизни не ездил, исключая, естественно, тот случай, когда его везли домой из родильного дома, хотя родился и вырос в столице (и м.б. даже в Москве!)

Другое дело общественный транспорт и всякие пригородные поезда: это было знакомо. До боли.

Кроме того, дворник время от времени бывал пьян и становился в таком виде непоседлив и гадок.

Что еще о нем сказать? Сам он говорил честно и громко, откровенно и прямо, преимущественно междометиями.

Так плавно текла его жизнь, бесполезно, но безобидно, пока он не вообразил себя генералом и не сочинил трактат об электричестве.

(Кстати, служа дворником, Генерал возле нашей школы подметал (Ох, как у нас дети пачкают и мусорят!). Имеет ли это связь с электричеством, не знаю. Но именно поэтому он мне именно в День учителя вспомнился.)

Трактат об электричестве /а м.б., отчасти и о магнетизме/
экстракт, фрагменты:

«...вполне естественно предположить, что у электрона, участвующего в переносе чувственного или даже умственного импульса в человеческом организме /который тоже может быть однако добрым или не добрым/ и у электрона, работающего в грубой силовой машине или электрическом освещении, или просто движущегося себе в каком-н. природном процессе /например, при ржавении брошенной железки/ обнаружатся отчасти разные свойства...

Вопрос состоит в том, сохраняется ли эта разница свойств /а проще говоря, память, /если, поучаствовав в чем-то одном /тонкий нервный импульс, даже может быть следствием нежного душевного чувства, /наш добрый электрон окажется волею судеб втянут в что-н. другое /мотор, кабель, высоковольтная линия, /или наоборот?

И, если брать совсем уже крайний, совсем уже острый случай, можно ли представить себе ЭЛЕКТРОН СТРАДАЮЩИЙ?..»

Ознакомившись с электрическим трактатом, друзья, сотрудники, сотрапезники и собутыльники нашего доброго генерала спросили единодушно, хотя с разной степенью вежливости: а не слишком ли праздны эти ученые размышления, и зачем они вообще нужны, если ни к чему практическому не ведут?

Саня Генералов ответил мудро и элегантно:

— Вы не волнуйтесь: я вменяемый.

И из соображений личной безопасности выпил немного пива.

(Если что еще про генералов и про дворников вспомню, постараюсь потом рассказать.)

3.

Праздник, праздно.

А от праздности порой рождаются самые отвлеченные и нелепые мысли.

Думаю. Думаю скучно.

Школьные учителя (даже не обязательно заслуженные) — это ведь то же, что старые революционеры!

А старые революционеры как дети малые: играют, играют, играют. Или вернее: шумят, играют, поют.

Принято почему-то считать, что старые революционеры живут прошлым.

Это неверно.

Они очень даже настоящим живут.

Только настоящее их невольно и неминуемо подкрашено чем-то хроническим.

Но это же все равно настоящее!

Конечно, наша революция сравнительно с прежними (1905 года, например) была мелковатой, тинистой и болотистой, проще говоря, в основном трусливой.

Конечно, были свои герои, были славные подвиги, были поступки, и на настоящих героев, ушедших и ныне живущих, я, даже будучи учителем, не смею и не хочу бросить тень, тем более это так легко теперь, глядя в прошлое.

И какая бы ни есть, это же была наша революция, и мы, условно говоря, победили и вот пожинаем теперь несладкие ее плоды.

Ну, да ладно.

Победа наша не беда.

Победа наша полбеда.

(А уж если некоторые из учителей обидятся на меня за старых революционеров, ладно: пусть не старые, пусть не революционеры, но уж по крайней мере ветераны холодной войны и внутренней эмиграции, из которой многие так до сих пор и не возвратились).

Впрочем, выражаясь прошлым языком, всякая революция по сути своей буржуазная. И с каждой последующей буржуазность все нарастает и нарастает.

4.

Наивно думать, будто мы, бедные цифиркины и кутейкины, из всех праздников только свой торжественно отмечаем. Мы и другие любим. Например, 23 февраля.

Живо вспоминаю, например, как мы отмечали этот радостный праздник в средней школе села Чат-Куль (бывшее Свинячье село) Сокулукского р-на Кирг. ССР в 19... не помню каком году.

День был вялый, пасмурный, слякотный. Там, в Чат-Куле, кажется, зимой все дни таковы.

Я, конечно, не помнил в тот день про военный праздник, и до армии с флотом мне в тот день совершенно никакого дела не было. На душе было уныло и тускло. А главное — бесконечно устало.

Школьники мои, однако, к 3-му уроку уже заметно оживились.

— Мы все знаем, — доверительно сообщили они мне на перемене, гордые причастностью к тайне, — вы нас с последнего урока отпустите и пойдете в столовую водку пить.

Я в той школе совсем недолго работал, обычаев и нравов не знал и к тому, что сказали мне дети, отнесся с недоумением и недоверием.

Однако вышло все как по писаному.

На следующей перемене ко мне подошел наш военрук (ст. лейтенант запаса), он же по совместительству (учителей не хватало) преподавал историю с обществоведением, и доложил ситуацию.

Действительно, была команда детей с последних уроков отпустить, а самим собраться в актовом зале (в нашей бедной деревенской школе это было почему-то подвальное помещение без окон) на торжественное собрание, а потом в столовую — «там женщины будут поздравлять».

Мужчин-учителей в школе было немного, а настоящими военными считались трое: старик-математик (давно на пенсии, уговорили только прийти выпускные классы к экзаменам подготовить) действительно военный, действительно ветеран, — в звании старшины дошел в 45-м году до Праги, естественно, военрук, ст. лейтенант запаса, и маленький, всегда с недобрый лицом завхоз.

Им и было предоставлено слово.

Первым говорил старик-математик, высокий, в светло-сером костюме, с доброй живостью в умных серых глазах, он вышел и скромно, но достойно встал перед нашей немногочисленной аудиторией.

Он давно уже на пенсии, его только выпускные классы к экзаменам подготовить пригласили.

Он говорил негромко, но внятно, хорошо, профессионально поставленным голосом, только ничего торжественного или праздничного в его выступлении не было.

Он рассказал, как они в 42-м году отступали в приволжских степях.

Шли, не особенно зная куда и совсем не зная, что происходит вокруг и что будет дальше: вообще и непосредственно с ними, не зная даже, окружены они или еще нет.

Несколько дней они совсем ничего не ели, потом нашли в поле убитую бомбой лошадь. Ночью пекли ее на кострах.

Всего их было человек десять. Он был командир. И он рассказывал, как ему было страшно: сам падая с ног от усталости, он целую ночь ходил от костра к костру, от солдата к солдату и мучительно уговаривал обезумевших от голода людей (уговаривал — приказывать было бесполезно) не есть слишком много сразу, — после долгого отсутствия всякой пищи они могли от этого просто умереть. Притом умереть смертью мучительной.

Ночь, крупные яркие звезды, гладкая, долгая степь, которую на много верст во все стороны можно было увидеть, если отвернуться от костра. Невыразимая красота и — отчаянье. Неоглядный простор и смертельная теснота.

Речь старого математика, как это принято говорить у нас по-говяжьки, задела меня за живое.

Выступавший после него военрук (алкоголик, говорили, за то и со службы досрочно уволенный!) красноречием не отличился: были одни только общие слова о необходимости крепить ряды, о почетных трудностях службы и про сложное и напряженное международное положение.

После всех говорил завхоз. Он сказал следующее: «Да война, да фронт, конечно, и там, на фронте, было нелегко, но ведь всем трудно было... И у нас вот тоже: головы за проволокой не досчитаешься — своей заменишь...»

После этого мы действительно пили водку и даже две бутылки шампанского. Закусывали тяжелой и жирной пищей из школьной столовой. И даже танцевали.

Наша директор школы, дама крупная и волевая, пыталась научить меня танцевать вальс. Я, сколько было сил, увертывался и сопротивлялся, как-то совсем не по-учительски, скорее по-ученически пряча взгляд от ее больших серых взыскательных глаз.

...Кстати, здесь у нашей Розы Павловны глаза тоже серые, и у Лидии Андреевны в 68-й школе были серые тоже... И вообще у всех школьных директрис, сколько я их помню, были непременно серые глаза. Я не знаю почему. Может быть, это какая-то закономерность? Профессиональный или даже кастовый признак?

Впрочем, у меня самого они тоже серые, кажется... Неужели и я буду когда-нибудь директором школы?.. Хотя я не помню точно, какого у меня цвета глаза... Не забыть на досуге в зеркало посмотреть, какого у меня цвета радужные оболочки...

(Однако все же трудно вспоминать чужие праздники, когда свой наконец «и на нашей улице», так что про 8-е марта вспомню когда-нибудь в другой раз.)

5.

День Учителя. Праздник.

А накануне...

А накануне была ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ (это что-то вроде генеральной уборки).

Пустой класс. Сумерки. Я стою у доски. Мне кажется, что класс шевелится. Мне кажется, под партами мыши. И я начинаю генералить. Я говорю громко и вдохновенно, как только могу, чтоб не слышать мышей:

Дорогие мои учителя! Коллеги! Товарищи!

Будьте милосердны!

Несмотря на то, что сегодня наш праздник, уж если не детей, которых мы учим, так хотя бы друг друга давайте хотя бы немного жалеть...

Дальше, как писалось в старинных романах, должны были последовать долгие и продолжительные аплодисменты...

...А впрочем, надо с чувством глубокого удовлетворения и справедливости ради отметить (я не говорю сейчас, конечно, про подхалимов, про белые банты отличниц, ни про очаровательно-нахальную снисходительность десятиклассников): детям, кажется просто ВСЕ РАВНО, их не волнует, праздник у нас или нет: в самом деле, не настолько же они нас ненавидят, чтобы и к празднику нашему испытывать недобрые чувства...

Десятиклассники... Да-да... Теперь ведь у нас есть, уже и не выговоришь: одиннадцатиклассники и одиннадцатиклассницы...

Скоро собираются, говорят, еще и двенадцатый класс ввести... Неужели и до шестидесяти дойдут? Действительно: век живи, век учишься.

6.

Что-то тихо стало, и не поздравляет никто. Наверно, технический перерыв. Обещал вспомнить про генералов и дворников. Попробую, пока тихо. Может, это и скудно, а в голову лезет (или из головы вылезает?).

СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ /НЕ ВПОЛНЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ/:

Лето. Утро. Улица. Дворник.

Утро раннее, улица светлая, и дворник ее метет.

Из дому выходит генерал. Курит, смотрит в утреннее небо, на деревья и на дома.

Он вышел слишком рано. Машину ему еще не подали. Наконец, подают, он садится и уезжает. Дворник мучительно завидует. Чем он хуже? Почему ему не подают машину, а дали вот метлу, и он с раннего утра

метет эту улицу? И во дворах. А зимой еще снег.

Он не знает, и не подозревает даже, с какой завистью смотрит на него генерал.

«Счастливей, думает он, пометет-пометет и вернется домой к жене. Будет пить чай... А я-то сегодня домой, скорее всего, не вернусь... Или за мной ночью придут». Бедный генерал, он уже многое знает и понимает. И ничего не может поправить.

(Он еще только того не знает, что дворник этот по совместительству и еще в одном учреждении служит. И что он тоже про него писал. Неграмотно, недоброжелательно и некрасивым почерком.)

Это было про 30-е века XX-го, а теперь про конец XIX или немного раньше или немного позже.

СЮЖЕТ ВТОРОЙ

Все, собственно, то же самое. Только генералу, может быть, подают не автомобиль, а пролетку. И дальше возможны варианты: или генерал едет стреляться, потому что растратил казенные деньги и теперь другого выхода у него нет, и остается только завидовать дворнику; или он достоверно знает, что сегодня должен будет, как заяц, бегать, как волк, прятаться, менять распорядок дня и маршруты движения, пытаться убежать от беспокойных членов боевой революционной организации... И тоже — другой раз поневоле подумает: лучше б дворником был.

Все это, конечно, было давно и, кажется, уже всем известно, и не очень интересно даже, а вот существенное.

СЮЖЕТ ТРЕТИЙ: А ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ?

А вот это пока не ясно.

7.

OUR TEACHERS, НАШИ УЧИТЕЛИ

Да, да... Никогда ничему как следует не учился...

Стыдно теперь. Особенно когда сам стал учитель. Но особенно стыдно оттого, что не учился по лености. Ведь какие замечательные были у меня учителя! Сколько могу, хоть как могу, постараюсь вспомнить.

...Она преподавала биологию. Сначала ботанику, после начало зоологии: всякие монады, инфузории, хладнокровные, пищеварительную и дыхательную систему рыб (в разрезе) и химию (но это отдельно: хи-

мия, как ни крути, особенная наука: глубоко простирает, как Ломоносов сказал, руки свои в дела человеческие).

Учительница — красавица. Только (это я теперь думаю) с «несложившейся личной жизнью». Но все равно красавица. Она по-настоящему любила то, что преподавала. И растений, и зверушек. Как страстно и горячо рассказывала она нам из ботаники:

«Нет, не надо думать, что зеленые растения дышат кислородом и выделяют углекислоту только в темноте, так что от живых цветов в комнате (если их слишком много) ночью может заболеть голова.

Нет, они и днем, так же как мы с вами, дышат кислородом и выделяют углекислый газ. Только в то же самое время на свету в зеленых листьях происходит процесс фотосинтеза, а он идет сильнее, поэтому в итоге кислорода выделяется больше...»

Она ленинградка, блокадница, в блокаду была в детдоме.

«Когда настала весна, — рассказывала она, — стало легче: нас стали выводить гулять... Нет, мы не играли, не бегали, мы не ходили даже. Мы паслись. Мы ползали по земле, находили первые травинки и поедали их...»

Ленинградцы вообще странные люди.

Не такие как все. Что-то в них есть неуловимо и необъяснимо особенное. Почва ли, климат ли так действуют? Или призраки прошлого не дают быть «как все»?

Странный город.

Столько лет ловко притворялся Петербургом, теперь вот снова пытаются. Только теперь, кажется, уже совсем неудачно.

И все равно я его люблю. Может быть, больше всех других городов...

Хотя забавно устроены наши мозги: гибель и нечеловеческие страдания многих тысяч (кто скажет скольких!) строителей, «первостроителей» города на болотах (еще при Петре) практически не известны «культуре», как бы вынесены за скобки. Эти жизни и смерти никак «высокохудожественно» не описаны. Их как будто и не было. Зато страдания бедного Евгения, Акакия Башмачкина, Макара Девушкина, героя «Белых ночей», Раскольников и многих других прочих стали неотъемлемой частью нашего «культурного» существования, и оплаканы многими, многими слезами.

Мы только любимся прямою Невской Перспективы (она ж Гороховая, она ж ул. Дзержинского), безнадежно упирающейся в бездарное здание Театра юного зрителя.

...Опять из меня выплыло какое-то лирическое отступление. Мысли прыгают, к чему здесь, собственно, город на Неве? (Вообще замечаю, так о чем-то подумаешь (даже в праздник!), тотчас по каким-то странным умственным и душевным связям что-нибудь совсем постороннее вспоминается. И так вся жизнь превращается в какую-то цепь или сеть одних только лирических отступлений, о которых так скучно рассказывается на уроках литературы.)

8.

Дети, дети, школьники, школьницы... Как они все любят сладкое!

А замечали ли они, замечали ли вы, что у шоколадки «Алёнка» давно уже такие невыносимо испуганные глаза на обертке?

Конечно, это может быть просто полиграфический брак, истраченность форм, но глаза-то у шоколадки ведь просто страшно испуганные!

9.

Однако праздник.

Все цветы да цветы.

Конечно, главные цветы были ноль первого ноль девятого — в годовщину начала Второй мировой войны, но и на теперь что-то осталось. Потому что осень. Море цветов, и цветы дешевы.

10.

Говорят, учитель всегда немного актер.

Наверно, верно.

Но только вот теперь, в праздник, я это в себе так непосредственно ощущаю. Я действительно чувствую себя актером, даже бенефициантом, вызванным на сцену для поклонов и оваций.

Пусть есть среди нас лучше и талантливее меня. Все равно.

Я артист.

«Я артист» — так назвал свою книгу воспоминаний великий поэт Вертинский...

Стоп!... Директор школы идет.... Роза Павловна.... Стыд! Срам!

У всех праздник, День учителя, а я тут разумничался и раздухарился...

Что скажет? Что делать?

Спрятаться?

Под парту, что ли, залезть...

День учителя... Тень учителя...

(Этот, с позволения сказать, учитель аполитичен, как последний сукин сын!)

11.

ИЗОЛЬДА

Это очень простая сказка.

У нас на заводе была уборщица.

Уборщицу звали Изольда.

А дворника, естественно, звали Тристан.

Вот, собственно, и вся история. По крайней мере пока.

А черные паруса?

Черные? А не надо нам никаких черных парусов. Не надо и все!

12.

Праздник... Я стою и смотрю.

Дети вокруг пылают и кружатся, как звезды в стихах Бориса Корнилова.

Я смотрю задумчиво.

Я мучительно ничего не успеваю.

Трудно получается жить, когда все жизненные вопросы вдруг затмеваются одним: как бы, где бы и у кого бы денег до полочки занять. Хотя бы десятку.

Сокровища несметные...

Снова телеграмма «Поздравляем днем учителя тчк»...

Деньги. Никак не могу научиться обращаться с ними разумно: то их неизвестно куда девать, и они обращаются в бред, во вред, в грех, во зло, то они мучительно отсутствуют.

«Пьянь такая, что с ним и выпивать невозможно» (это я сам о себе).

Нет. Мне нипочем нельзя быть богатым. Может быть, потому я и учитель. Если буду богат, мне будет просто скучно жить. О чем буду думать тогда? О проклятых вечных вопросах? У меня ж никакого воображения нет. Теперь вот думаю о деньгах и как хорошо было бы, если б они вдруг были. Я мечтаю. А проклятые вопросы — это само собой. Их все равно никуда не денешь. А будь я богат, что? Одна тоска останется.

Бедность? Нет. Не бедность... Это все вздор. У меня столько всего, что я даже сам не знаю, чего и сколько, и плохо соображаю, где что находится.

Поневолу задумаешься.

Задумчивость, однако, это тоже не всегда хорошо.

Ворона в крыловской басне имела сыр (Бог послал!), «да призадумалась».

(Хотя о чем можно призадуматься, имея сыр?)

И за то весьма пострадала.

Все ведь мы, стоит нам призадуматься, только и ждем тотчас за то себе похвалы.

А тут и лиса.

Хорошо еще, легко отделалась. Утратой сыра. Могло ведь и хуже быть. Словом, в сыре дырочки, а ворона дурочка.

Представляете себе? Городская окраина. Осень. Вечер. Начало вечера. Деревья, кустарники. И на ветках сидят вороны. Много ворон. И у каждой по кусочку сыра во рту...

Это школа? Средняя? Какой класс?

О, ля! Девочка Наташа (9-й «Б»), дура ты набитая, скверная ученица — с тройки на двойку (хотя я-то тебе никогда меньше четверки не ставил), одна ты среди всего этого сброда и хаоса меня жалеешь, хотя и жалеешь, наверно, потому только, что не понимаешь.

Ты думаешь, что я большой и грязный, вроде обезьяны-орангутанга, а это неправда. Я вовсе не грязный. И не большой. Я маленький. В том вся беда, что я маленький. И учитель к тому ж... В том-то и беда, что учитель! Но это уж такая судьба. Ничего не поделаешь...

День учителя...

Цветы..

Да заберите вы себе все ваши цветы!.. Зачем вы мне все нужны с вашими цветами?..

Неужели нельзя было хоть ради праздника просто так по-человечески безо всего прийти!

13.

БОКАЛ ШАМПАНСКОГО

(сервировано в учительской на шахматном столике).

Все подходим и берем по очереди свои бокалы.

Так празднично на душе, так призрачно.

Это, собственно, я уверен, никак не связано с профессиональным праздником. Это совсем другое.

Осенний свет в широкие окна.

— Риту Васильевну поздравляли?... А Ольгу Ильиничну? А Светлану Ефимовну?

— Да-да... Всех.

— А Ивана Кузьмича?

— ...А Иван Кузьмич, кто это?... А... Трудовик...

— А в 6-м «В» говорили, что его опять пьяным видели...

— В школе?!

— Да нет, что вы...

— Но поздравляли его все таки или нет?... А Сергея Леонидовича?

— А... Что-то не расслышу, простите....

Приоткрывается дверь.

— Можно?

Она немного запоздала.

Инга Андреевна. Наш школьный психолог. Из РОНО прислали. Наука, прогресс, гуманизм! Праздника ради тоже считается учительницей. Живейшая плоть с чуть заметным налетом изящества. Страшная женщина. Я с ней даже боюсь оставаться наедине — девочка со справкой. Может, кажется, и нож воткнуть. Если что, так ей все равно ничего не будет. Хронически невменяема.

— Юность, — говорит она, — права в своем страдании.

Это ее любимая тема. Она об этом говорит, говорит, говорит... О ком это она? О детях или о нас? Психология! Ихтиология.. Ей бы жениха, да жалко мужика!

— С Днем учителя...

— И вас так же...

14.

ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

(Кто сочинял? Ученик? Учитель? Просто так посторонний? Совершенно неизвестно.)

Итак, сочинение. Пьяненький учитель одиноко бредет по осенней дороге.

«...Разумеется, он себе взял четвертинку и крепкое пиво.

Не мог иначе ради профессионального праздника.

Не мог он допустить, пусть никто не сомневается, что он останется в сей радостный день трезвым, а окружающие в покое.

Тем более что карбюраторный и трансформаторный (Спецэлектрод) заводы вдруг почему-то расщедрились, а благотворительные и спонсорские деньги, вы сами понимаете, у нас не задерживаются долго и тем более не пропадают зря...»

(Опять лирическое отступление. И опять неумное и неуместное. Лучше б уж наступление или выступление... В поход, например.)

Школа — это, кстати, еще и маскарад. Неизбежно.

Как у Лермонтова:

«Приличьем стянутые маски...»

С одной только существенной разницей. У нас верней было бы сказать: «Приличьем и неприличьем стянутые маски...»

Милые, родные коллеги!

Не так часто собираемся мы все вместе не просто на педсовет, а на праздник в нашей учительской с обязательным портретом и непременно зеркалом на стене, как в гримерной, учитель ведь должен знать, как он выглядит, выходя на урок... Кто-то скажет, что в зеркале каждый видит свое — заблуждение, — все видят одно и то же: отражение тусклой педагогической физиономии в той или другой соответствующей случаю и преподаваемому предмету маске...

Хоть все мы дышим о разном,

На каждом доли его ярмо...»

Это речь завуча (преподает географию). Директриса все свои поздравления уже давно сказала.

Я бы тоже сказал, ну да ладно... А я бы сказал так: УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ УЧИТЬ, ПОСМОТРИ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО!

Учителя, коллеги. Мне сейчас так хорошо с ними.

Иногда, когда бывает трудно (а кому не бывает?), мне хочется думать о себе хорошо. Это не очень легко, учитывая мое низковисоконравственное состояние. Я стараюсь тогда смотреть в окружающих (в учителей, коллег), как в счастливо искажающее зеркало.

— О! (я так думаю), — говорят они обо мне, — он хороший человек, он спокойный, как повествование. И вообще — мухи не обидит... Да что там мухи... Случись что, он и слона не обидит...

Фу! Неужели один только бокал шампанского мог так крепко ударить мне в голову...

15.

Дети...

Неужели это все все же ради них?

Трудно поверить.

Дети не любят учиться.

Дети любят играть.

Но даже самые обучающие игры, похоже, не очень их обучают.

И, кажется, совсем не научают любви.

Игры как тигры.

А посмотреть по-другому: не вся ли жизнь игра, где выиграть значит обмануть себя, собственную жизнь поймать за шелестенье крыльев?

Дети.

Странно, но когда я вижу детей в метро, мне всегда кажется, что они пришли просить милостыню, попрошайничать. Даже если это вполне домашнего вида девочки и едут они, несомненно, в школу, да еще с вполне приличного и даже богатого вида папой.

О, бедные мои, всегда невыспавшиеся дети!

Учащиеся.

Я ведь и сам всю жизнь почти прожил не только невыспавшимся, но и, кажется, не до конца проснувшимся.

А живущий всегда в полусне и соответственной неясности может ли быть хотя бы не так отчаянно грешен, неприличен и несправедлив?

Или я эту полусонность свою полагаю себе в оправдание? Наивно было б.

Мне ведь и самому (что скрывать) нравится так вот полусонно жить.

А еще эта моя глупая задумчивость, которая сродни полусну.

Но разве сон — это не часть жизни, важнейшая, может быть?

Нет, в чем-то я тут явно заблуждаюсь, не понимаю.

Крайнее угомление целого поколения.

ЕСЛИ НЕ БЫЛ БЫ Я УЧИТЕЛЬ,

ТО НАВЕРНО БЫЛ БЫ МОШЕННИК И ВОР....

И вообще, *mes chers, mes pauvres enfants*, милые мои, бедные мои дети, не будь я учитель, я мог бы, наверное, быть не очень плохим человеком, но, видно, этот вирус, эта зараза, эта обреченность на позорную должность очень уж глубоко во мне живет...

А еще говорят, что генералами (учителями то есть) не рождаются...

Евфросинья Павловна... Никто никогда не назовет ее тетей Фросей... Только по отчеству: Павловна. Она тихо стоит в коридоре. Ее никто не поздравляет, но она тихо радуется со всеми. Она у нас в школе уборщица. И дети ее учатся у нас...

16.

Новое время, новые слезы.

Кажется, недавно совсем я был еще вполне жизнерадостное животное, а теперь...

Новые слезы старого крокодила.

Существую от случая к случаю.

Сказал бы, живу, да боюсь быть превратно понят.

Темные времена наступают.

Сребролюбие овладело сердцами нищих, сребролюбие овладело сердцами нашими...

Дети, точнее, школьники, теперь совсем не то что вчера: даже во время урока то у одного, то у другого зазвонит вдруг сотовый телефон. Зачем? И без телефона-то порой говорить не о чем...

И еще я очень не люблю одноразовой посуды...

Нет! Нет! Конечно, я слишком мрачно смотрю. А это уж ропот. А всякий ропот превращает нас мало-помалу в роботов. Да и вообще, кто я таков? Да никто. Просто бедный человек, у которого даже сотового телефона нет.

Нет! Новое время — новые песни!

Просто вдруг захотелось вспомнить, что за песни пелись прежде, когда не мы учили, а нас учили, а мы были маленькие.

Вспомнил только одну:

«Танцую я, танцую я,

Танцует юбочка моя...»

Но это, кажется, еще не школа даже. Это в детском саду. Средняя группа.

17.

Конечно, я не ахти какой учитель, сам знаю, плохой даже.

Однако жаден: смешно, конечно, но мне все предметы самому хотелось бы преподавать.

И физическую культуру даже.

Это только несведущему кажется, что маловажный предмет, а на самом деле очень важный. Еще от античной древности.

«У Пиндара например:
 Боги даруют мощь,
 Мудрые умеют красиво ее выносить...»

И при том предмет не только социально, но и исторически значимый: не случайно же французские депутаты от *Tiers etat*, от третьего сословия в 1789 году не допущенные в зал заседаний, не где-нибудь собрались, а в зале для игры в мяч, по нашему говоря, в физкультурном зале, где и произнесли или принесли свою историческую клятву...

У нас в школе учителей физвоспитания двое: он и она, физкультурник и физкультурница. Она преподает маленьким, до 5-го класса, он остальным.

Вот и сейчас по случаю праздника их тоже поздравляют, а они стоят плечом к плечу, скромно и с достоинством: как на пьедестале почета в какой-нибудь олимпийской столице...

(Это мне, правда, и самому не совсем понятно, как это «олимпийская столица»? Ведь гора-то Олимп со всеми своими богами у нас одна и находится в греческой республике, а другой никакой такой горы больше нет нигде.)

Вот только пенье и всякую музыку не хотел бы я преподавать: во-первых, ничего не смыслю, ни слуха, ни голоса нет, во-вторых, не могу терпеть, когда фальшивят, а эти дети всегда фальшивят.

К тому ж бедная наша учительница пения и всякой музыкальной подготовки такая обидчивая: идет так, будто ее забыли поздравить, и смотрит так, будто она главнее Евы.

18.
 Эй, что вы там пишете на парте?
 Стихи?! Ужас какой!
 Стыд и срам!
 Стихи! Это ж надо такое выдумать!

Впрочем, и у меня в голове тоже стихи. Хорошие, классические. Из школьной программы. Некрасова:

Я в землю немца Фогеля
 Христьяна Христианыча
 Живого закопал...

О! Немец Фогель птица известная!
 Мне эти дивные стихи как-то особенно памяты.
 Это было в той самой деревенской школе, в азиатском селе Чат-Куль.

В середине дня на перемене является ко мне на урок «мой» класс (то есть тот, где я числился классным руководителем — 10 рублей в месяц).

Младенцы-девятниклассники все чрезвычайно возбуждены, смеются так, что не могут остановиться.

То там, то тут то и дело слышится: «Ой, не могу!»

— Да что с вами?

— Ой, вы прочтите! — симпатичная отличница Людочка протягивает мне раскрытую хрестоматию, — только что на литературе читали, вот здесь.

Я пробегаю глазами бессмертные строки классика:

Я в землю немца Фогеля
 Христьяна Христианыча
 Живого закопал...

— Ну и что?

— Вы не понимаете?

Я ничего не понимаю.

Юная красавица смотрит на меня, как на круглого дурака. Я ей даже для учителя слишком бестолковым кажусь.

Наконец, все разъясняется. Вот же он, Фогель. Нездорового вида, худой, с явным отставанием в развитии, маленький и в то же время похожий на старика, сжавшись и съежившись, сидит за своей партой и растерянно пытается улыбаться. Как птица с подбитым крылом. Только настоящая птица не улыбается и не пытается даже.

Ну, надо ж так совпасть, и немец (потомок спецпереселенцев), и Фогель, и Некрасов про него написал, и в школе на уроке читали! Возможно ли не смеяться. Все смеются, и русские, и хохлы, и немцы, и уйгуры и чеченцы, вся киргизстанская Вавилония.

— Тише! Тише! Ну, как вам не стыдно. Ничего смешного нет. Ведь он же не Христиан Христианыч, а Коля... Вот если б был Христиан Христианыч, тогда другое дело.

Как ни странно, это действует. Слова мои покрываются последним взрывом смеха, а потом все стихает, и урок начинается уже в относительно спокойной обстановке, если про урок вообще можно подумать, как про что-то спокойное.

Стихи, стихи. А что вы, собственно имеете против стихов? Их и детям легче запомнить. И вообще складно.

Кто же, имеющий душу?..

Фогель, имеющий душу...

И вообще славно в той азиатской школе было. И смешно и грустно. Только туалет был на улице. А педсоветы бывали по понедельникам.

Я на них почти всегда опаздывал. Автобусы в той стране ходили плохо, я добирался на попутках. Однажды даже приехал в школу на тракторе.

Но, думаю, если бы транспорт хорошо работал, я бы все равно опаздывал. Потому что я был тогда молодой.

Я приходил позже всех и в грязных ботинках. Приоткрывал дверь, спрашивал: «Можно?» Входил. Все сидели вдоль стен узкого директорского кабинета, и мне всякий раз неловко было идти в грязных ботинках между сидящих вдоль стен учителей.

Грязь и лужи в селе были непролазные, а помыть ботинки под колонкой, как делали другие учителя (высоко поднимая ноги, учительницы подолгу мыли под колонкой зимние сапоги) я все равно не успевал — и так всегда опаздывал. Да и вода уж очень холодная из колонки текла...

19.

Предметы, предметы... Предметы преподавательские...

Даже сам уже не понимаю что это — математика? История? Литература?

Но никак не выходит из головы вопрос: сколько было (могло быть) лет Гертруде, когда она, не послушав знаменитого «не пей вина», скоропостижно скончалась над трупом сына?

Снова самое смешное или самое скучное про Гертруду: у одного моего доброго друга была на работе начальница. И ее звали Гертрудой. Но к датской королеве это не имело никакого отношения. Это было сокращенное «герой труда».

И вообще «Александр С. Пушкин — улуу орус акыны». Переводите, как знаете. Это из учебника киргизского языка для 3-го класса.

ГРАММАТИКА И ПРАВОПИСАНИЕ

Спряжение нуждающихся.

Я нуждаюсь, I need, J'ai besoin, ты нуждаешься, You need, Tu as besoin.

Он (она) нуждается... Ну и так далее: я, ты, он, она, вы, они... Да все мы нуждаемся!

С грамматикой вообще-то плохо: никак не могу вспомнить: учитель это существо какое — действительное, страдательное, сострадательное?

Бедная и грешная учительская наша жизнь, полная скорбей и неопределенностей.

И все же, и все же грех жаловаться.

Станный праздник, непонятный праздник. А чем я, собственно, недоволен?

Ведь и мне подарок сделали. Щедрый и настоящий. И не кто-нибудь, а эти самые дети, на ниве обучения и воспитания которых мы, собственно, здесь и пасёмся.

В седьмом «Б» открываю классный журнал-кондуит, куда мы двойки ставим, и на самом интересном месте, на моем предмете то есть, между страниц обнаруживаю большой, красноватый по краям, будто обгоревший, ярко-желтый кленовый лист!

Праздник, праздник... А на самом деле — ничего страшного.

Не страшнее, чем открытый урок или родительское собрание.

20.

Осень. Скоро зима.

Помню, помню...

Неближнее Подмосковье. Школа. Декабрь. Диктант. (Далась мне сегодня эта грамматика!) Вторая смена. Снег валит за окном, но он кажется почему-то серым. Только приглядевшись, видишь: бел и даже серебрист в свете электрического фонаря.

Пшеничные косы отличницы.

Диктант:

«... о случаях каннибализма, по случаю каннибализма... невольные носители мистической чепухи...»

А как правильно написать: Подмосковье или Подмозговье?

21.

Школа, в сущности, явление более ностальгическое, чем образовательно-воспитательное и даже культурно-развлекательное.

Тут меня, кажется, все поймут и все согласятся.

Только... Только если вдруг окажется кто-то такой, кто и в школу никогда не ходил?

Вообще никогда?

Прежде, когда я еще не служил учителем, я как-то заметил, что школьные здания чем-то неуловимо, но неотвязно напоминают больничные.

И теперь, когда особенно устаешь от педагогической безнадёги, все существо мое начинает стонать и рыдать:

Выйти б отсюда, уйти, отдохнуть... Куда?

На волю. Туда, где деревья, осторожно выглядывая из леса, растут трудно и небезболезненно...

А сосны? А что сосны? Соснам тоже случается расти нечаянно, беспорядочно и несчастливо...

Уйти из этого класса, из этой учительской, из глупого школьного коридора туда, где группа продленного дня, где дополнительные занятия, где философия для отстающих ...

22.

У всех праздник. А мне грустно. Смутно и каверзно на душе.

Все празднуют, а я переживаю: я такой худой... Даже не похож на учителя.

Да! Худ я! Худ! Тош.

А зачем мне, собственно, лишнего веса?

Если так и останусь худ, меня легче нести будет

Куда нести?

А куда понесут, туда и легче будет.

23.

Дорогие мои учителя! Коллеги. Товарищи.

Будьте милосердны!

Давайте, несмотря на то, что сегодня праздник, если уж не детей, то хоть друг друга постараемся хоть немного жалеть!

Я повторяюсь? Ничего страшного!

Повторенье — мать ученья.

24.

Ну наконец-то! Вот и они! То есть, конечно, они (оне) давно уже здесь, но наконец-то и до меня добрались. Улыбающиеся, беспокойные, но при том уверенные в себе, исполненные собственного достоинства, сильные, смелые и красивые — стая!

Первая, белая, толстая, накрахмаленная и накрашенная, в золоте, и янтарь на груди.. И улыбается, улыбается. Она главная. Она говорит, старательно выговаривая слова: видно, готовилась.

Конечно поздравляют. Что ж еще?

Родительский комитет.

Коллектив. Коллегия жрецов. То есть, конечно, жриц.

Густое облако суетности, чадозаботности и просто — общего беспокойства.

С ними надо осторожно, ни одного лишнего слова. Ни да, ни нет. Иначе запустятся и будут говорить, говорить, говорить. Их можно по-

нять. Им так много нужно сказать за всю свою невысказанную жизнь. А тут и повод есть. Праздник и поздравление.

Еще одна. Худая до изнеможения. Такая худая, будто несчастней ее и на свете нет. Опасна. Дура и недобрая.

«... От имени родительского комитета...»

Но где же Надежда? Что ж ее нет?

ОТ НЕЕ И ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРИЯТНО

Вот и она.

Несчастливая мать. Как у Помяловского.

У нее ребенок больной и дурной.

На этой-то почве мы и сблизилась. И как будто стали даже немного понимать друг друга.

— Поздравляю вас... — тихо говорит она, — здравствуйте.

(Во, дает! Забыла даже сказать «от имени родительского комитета!»)

Я широко улыбаюсь и склоняю голову:

— Здрасти...

Кажется даже, я отвожу глаза, она такая милая, что на нее неловко прямо смотреть: я такой плохой и худой.

Нет, она, конечно, не красавица, и не самой первой молодости, и вообще такие теперь не в моде. (А когда такие были в моде?)

И — мать своего ребенка. Мне почему-то вспоминается, глядя на нее, мать Чечевицина из чеховского рассказа «Мальчики», про которую там только и сказано, что «приехала дама и увезла сына».

Ох, милая Наденька!

«Самое, — говорит она, — ужасное, что я вышла замуж по любви. Он был нищ, бездомен, неустроен. Мне казалось, что все это пустяки, что это все устроится, образуется. И вот все более или менее устроилось, мы стали жить вполне достаточно, и тут-то и оказалось, что это все неволя и все равно, потому что он оказался внутри нищ, неустроен, несостоятелен... Вот так и расстались... Понимаете?»

— Понимаю... — я действительно, кажется, понимаю, но мне больно это слышать, потому что я и сам таков. И все равно мне страшно приятно ее видеть, и я готов часами возиться с ее малоусердным к наукам чадом. Я только боюсь влюбиться: я и так, кажется, всех их страшно люблю.

Я знаю, что это такое. Это одиночество. И наше с ней общее одиночество нас еще больше роднит.

Странно и дико, но мне даже кажется иногда, что она тоже учительница.

Ну, хорошо. Сегодня праздник. И завтра праздник? Как в стихах забываемого Бориса Корнилова?

Нет, завтра неизвестно что.

А вчера что было?

25.

Почему-то совсем не помню, как звали большую часть моих школьных учителей. Самих учителей помню, конечно, все помню: лица, голоса, характеры, манеры, походку даже, а имен помню мало. Их у меня много было, хороших и разных учителей. Переезжая вместе с родителями, я часто школы менял. Вспомнить в праздник хотя бы тех, кого по именам помню?

Первую, «родную и сердечную», разумеется, помню. Валентина Федоровна...

ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Помните?

«Онегин был аристократ и мочился духами»

«Татьяна ехала в карете с поднятым задом»

«Жизнь в грибоедовской Москве была скучная: пьянки, гулянки...»

И так далее, и тому подобное.

Несмешно и неново. Все это всё уже слышали. Надоело.

А когда-то мы, слушая это, так дружно и предано ржали!

И как мы обожали тогда ее, свою учительницу!

Но это, конечно уже не Валентина Федоровна, это было существенно позже. Это Лариса Дмитриевна в старших классах. Она еще жива, слава Богу. И до сих пор детей учит. Действительно, добрая и сердечная.

А у Валентины Федоровны в 1-м и во 2-м классе все было совсем по-другому. Ей как-то удалось (тайны ремесла!) убедить нас, что она лучшая учительница на свете. При том до такой степени, что мы (я, дурак, по крайней мере) искренне сочувствовали тем, кому довелось не у нее, а у других учиться...

Конец «оттепели». Никита Сергеевич уже ушел с того самого Олимпа, который только в Греции есть (потому что в Греции, как известно, все есть), и страницу с его портретом в учебнике «Родной речи» нам велели просто перевернуть не глядя, но иные дела его были еще вполне свежи. И Валентина Федоровна, большая, грузная, даже платье на ней было, кажется, из какой-то тяжелой шерстяной ткани, нам тоже читала, и мы тоже ржали. Ржали! Смехом это нельзя назвать. И мы ее тогда тоже обожали. Но читала и рассказывала она нам не про школьные сочинения и не про Татьяну с поднятым задом, а все про

церковь и про попов. Про их лютую негигиеничность и бессовестный обман темного трудового народа. И чудеса разоблачала. Но особенно напирала на негигиеничность и на распространение инфекционных заболеваний через целование икон.

И до каких же страшных слез мы смеялись тогда.... И не от тех смешных стишков и песенок нам так горько теперь?

«Ты юность наша вечная, // простая и сердечная, //учительница первая моя...» (Вот заодно и еще одна песенка из улетевшего детства.)

26.

И все равно, мне кажется, вся моя школьная, дошкольная и внешкольная жизнь прошла в лихорадочных поисках чуда...

Алло! Алло! Это ничего, что я говорю загадками?

27.

СТИХИ ИЗ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ В УЧИТЕЛЬСКОЙ

Белы до боли снежные поля.

Но это днем, когда светло и школьно.

А вечером поют учителя,

Чтоб думать им, что им не очень больно.

Для исцеления душевных рваных ран,

Для распрямленья всех, кто жизнью согнут,

Учителя поют по вечерам,

Ученики заглядывают в окна.

Пусть будет так: для исцеленья ран,

А может, просто безо всякой цели,

Учителя поют по вечерам,

Ученики заглядывают в щели.

Полны заботой и тревогой дни,

Лишь вечера, как могут, песней дышат.

Они поют, и думают они,

Что их никто не видит и не слышит.

Не бывать нам простым, как мычанье:
Путь негладок, и жизнь коротка.
Оправданием было б молчанье,
Только мы не молчали пока.

Не Канатчикова и не дача,
Но не смеем мы грамотно жить .
Мы учебные ставим задачи
И стремимся друг друга учить.

Мы вертим в головах жерновами,
Все и вся перетрут жернова.
Мы хрипим чуть живыми словами
И к словам прибавляем слова.

Непрерывного бреда условие:
Нехранение чувствительных уст...
Ты прости мне мое пустословье
От избытка мучительных чувств.

День и ночь выпускные балы.
Выпускают, как пар выпускают.
И накрытые пышно столы
Не одни только взоры ласкают.

Дым столбом над столом, но при том
Все приправлено горечью грусти,
Это будет понятно потом:
Выпускают, обратно не пустят.

Я молчу, я тоску затаил:
Школу ж кончил! Науки усвоил...
Что ж мы так неподвижно стоим,
Как вдвоем на картиночке «Двое»...

Как объяснение новой темы —
Непонимающие лица.
Субботник. Скучно моют стены
Последних классов ученицы.

Давно им надоел твой голос,
Они стараются с тоскою,
Одна из них покрутит глобус
Уже не детской рукою.

Ночами хоровое пенье
О близости заветных сроков.
Оно звучит, как объяснение
О пропуске твоих уроков.

Всегда ты одинок, учитель,
Всеобщий общий знаменатель,
Талантов пламенный искатель,
Лентяев грозный обличитель,
Грехов их мелких отпускатель...

УРОК

Раздается звонок мелодичный,
То ли камфарный, то ли гвоздичный,
Ледяной, жестяной, скобяной,
Неожиданный, еле живой.
Как свидетель, истец, обличитель,
Встал под доску любимый учитель.
Надо мной, как холодное «да»,
Нависает его голова.
Или все мне уже надоело,
Или стало уже все равно...
Снег, белее побелки и мела,
Налетает на наше окно.
Я ответить готов, как урок,
Всю известную пряжу дорог
В рамках логики этой линейной,
Прямодушной и узкоколейной.
Что ж он встал надо мной, как гора?
Неужели настала пора

Уходить, разлучаться, прощаться
 И совсем уже редко встречаться?
 Шевельнулось пятно на стене —
 Это ж тень от его головы.
 И как будто он вовсе забыл,
 Что он хочет спросить у меня.
 И забвень его — как печать,
 И не надо уже отвечать.
 И тепличный больничный звонок
 Возвещает свободу мою,
 И торжественный снег за окном
 Подымается белой волной.
 И учитель открылся, как дверь,
 Если хочешь — насквозь проходи.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Класс надежно закрытый, пустой.
 Все на свете тревожно и странно.
 Мы живем на планете одной
 С роковой чернотой фортепьяно.

Серый корпус, где гаммы поют,
 Место наших коротких свиданий.
 Этот мир ненадежный приют —
 Гармонический бред колебаний.

Настоявшийся бред января,
 Отвлеченная форма закона.
 Отражается свет фонаря
 На холодных рогах камертона.

Беспокойно блестит камертон.
 Он как будто боится чего-то.
 Он дрожит и звучит, и при том
 Он одну только выгучил ноту.

... Утром здесь засвистят соловьем,
 Заиграют, застонут, запляшут...
 Бесприютные, так и живем
 В беспорядочной музыке нашей.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

1.

Мозги мои набекрень и, как несчастный иудейский народ, — все в рассеянии.

Давно уже заметил: все праздники для меня — что-то вроде стихийных бедствий (подарки родным и близким, и где-то деньги надо достать, и обязательные, ни к чему не обязывающие вежливые слова говорить — просто караул). И все это безнадежно суетно и страшно дружно и массово, всех охватывает как бы какой-то психоз. Я боюсь праздников. Кроме всего, они всегда становятся поводом для разных невеселых и горьких воспоминаний. То есть воспоминания-то не горькие, наоборот, горько от того, что это все прошло и когда-то и как еще повторится...

... Она тоже была учительница. Или даже училка. А это совсем не одно и то же.

Помню, она говорила: Pour etre jolie il faut souffrir...

Это было, кажется, все, что она знала по-французски. Хотя и выросла на Парижке (фабрика имени Парижской коммуны, если кто не знает). И первую свадьбу ее играли в ресторане-дебаркадере напротив Краснохолмского моста.

Звали ее, как и многих в моей жизни женщин, Ольгой.

И была она рыжая. То есть, наверно, красилась. Говорила, что рыжей женщиной была и Лиля Брик. Я не знал тогда, кто такая была Лиля Брик, но все равно это волновало: звучало загадочно.

И еще говорила, что отец ее был профессор-филолог, и притом из старообрядцев.

И что на 1-е сентября у них в доме каждый год собирали детей со всего двора и угощали арбузами. И что она сама теперь каждый год так делает.

Походка у нее была твердая, решительная...

И еще мы гуляли по полям, по лесам, по пустырям и по подворотням...
 А еще, а еще, а еще...

Все прошло. Миновало. Проехало. Она умерла в 91-м году, в августе. Была на даче и волновалась за оставшихся в Москве родных. Инфаркт. Еще одна жертва «нашей революции». Разумеется, неучтенная.

Au revoir. Au revoir.

(Однако почему я так часто думаю по-французски? Ведь я почти совсем не знаю этого языка. Загадочный феномен человеческой хитрости и лукавства. И не от того ли я теперь учитель?)

2.

Ладно, это ничего, что сегодня прадник. Потерпим. Скоро будет весна, как сказал великий поэт Александр Вертинский.

Весна, а это значит Экзамены.

Я, впрочем, довольно равнодушен к чужим неприятностям.

А что такое экзамены?

В сущности тоже — цветы.

Цветы, цветы, цветы. Сплошные цветы.

Экзамены. Кто будет спрашивать? Кого будет спрашивать? О чем будет спрашивать? С кого, в конце концов, спрашивать?

Экзаменационные вопросы трудны и печальны.

Экзамены, слегка приглушенный торжественностью обстановки шум и гам подрастающего поколения.

— Да не волнуйтесь вы, милые. Все сдадите, всё сдадите, всех сдадут, все сдадутся. Позвякаете в традиционный овечий колокольчик (последний звонок) и отправитесь восвояси..

А еще экзамены почему-то всегда напоминают мне всю нелегкую жизнь нашей пьющей (да и не только пьющей) интеллигенции: сплошные вопросы без ответов.

Экзамены. Выпускные. Выпустим, отпустим вас, выпроводим, как достигших возраста.

И уйдете вы в совершенную неизвестность. Что-то с вами будет ТАМ, снаружи, вне, за порогом школы и школьного возраста?

Кем вы будете там? Докерами, квакерами, брокерами? (Последнее вернее всего, хотя я и не совсем понимаю, что это такое.)

Кто-то (это я знаю уже, увы, по опыту), увы, не переживет и бедных своих учителей, добрых, злых, любящих вас и равнодушных — всяких, которые сегодня свой смешной праздник празднуют.

Все это немного страшно думать. Однако для того, может быть, и праздники, и торжественные всякие даты, чтоб иметь случай вспомнить о высокой трагичности нашего земного существования, где столько времени и сил отнимают у нас разлуки?

Праздник пройдет. Отшумит. Так называемый учебный процесс пойдет своим чередом.

...Это что такое? Домашнее задание? Какое же это домашнее? — оно же совершенно дикое!..

Век живи, век учись.

Какие хорошие слова!

Например, для татуировки.

Вместо традиционного «Не забуду мать родную». Или странных инфернального оттенка узоров, единообразных, как униформа, которыми так любят теперь разрисовываться.

Век живи, век учись.

Безусловно, учитель не гипнотизер. Но и в нем должно быть иной раз нечто снотворное.

Чтобы слышно было, «как пролетит муха». А то уж очень сильно иногда шумят.

Разговор учителя с семиклассником: «Ну какой же ты дубина! Тра-та-та-та... Даже я уже понял, а ты еще нет...»

Так я думаю на уроке. А может быть, и не думаю даже. Только говорю. А когда праздник, или просто если останешься вдруг один, ясно чувствую, что ничего я и сам не понял. Ничего! Nihil и ни хрена!

Школа — лаборатория, и школа — амбулатория.

Мне хочется быть самим собой, только немного лучше. Я опять разволновался и рассуждаю загадочно. Может быть, это профессиональное? Шампанского-то ведь не было больше.

Теперь да. Теперь беда. Теперь учитель это что? Да ничто. Только так, по праздникам.

А некоторое время назад учитель был лицом уважаемым.

Помню, еще не так давно: посиделки. Умеренные. В коммунальной квартире. Это то есть, где мы гуляли, было умеренно (относительно), а за стеной, в соседях, грубая пьянка шумела, как ураган. И вот хозяйка соседней комнаты распахивает дверь и останавливается на пороге.

— Вы, — провозглашает она, — думаете, это моя компания? — пьяная старуха делает широкий жест в направлении своей комнаты. — Нет, это не моя компания. Моя компания инженеры, врачи, учителя...

И замертво падает на пол.

Вот как ценилось совсем небольшое время назад высокое учительское служение!

3.

ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

... если б меня спросили, кто самый лучший учитель, описанный в русской литературе (хотя кто меня спросит?), ответил бы, не сомневаясь и не колеблясь: Владимир Дубровский.

Конечно, чтоб он такой прекрасный был явлен миру, прежде должен был быть J-J. Rousseau , а еще прежде Пьер Абеляр. И еще были многие, многие другие...

Из доклада преподавателя истории Максима Максимовича Комарова, посвященного ДНЮ УЧИТЕЛЯ:

«Это теперь при всем нашем кажущемся различии в положениях мы все как-то более или менее одного стада: обучающие и обучаемые, пасущие и пасомые.

Прежде было не так.

Прежде УЧИТЕЛЬ был у нас непременно существо иностранное, больше или меньше чуждое и внешнее.

Из художественной литературы в этом смысле наиболее памятливы фонвизинский Вральман, «проклятый мусью» из «Капитанской дочки», герценовский «просто немец» и трогательный Карл Иванович из трилогии Льва Толстого.

Как учителя они были все негодные, и в конце концов отставлены.

Даже прекрасный Карл Иванович свою трогательную историю рассказывает, уже собираясь в дорогу.

Реальные исторические прототипы были, наверно, не краше.

Вспомнить хоть обучавшего Гавриилу Державина отставного солдата (ландскнехта, наемника) Иосифа Розу, тоже смененного в конце концов на своих: «гарнизонного школьника Лебедева» и «артиллерии штык-юнкера Полетаева».

Французское Le siècle lumière у нас переводят как «век просвещения», но дословно-то «век света»!

Так что «свет» в свое время пришел к нам с Запада!

Хрестоматийная бессмыслица «Блеснул на Западе румяный луч восхода» обрела таким образом вполне реальный и осязаемый смысл.

Итак: учитель-чужестранец, учитель-невежда, учитель-лжец... Кто еще?

Революционер-карбонарий!

Именно такой обучал небезызвестного Владимира Сергеевича Печорина. Романтика, мистика, искателя правды.

Некто Кессман со своими приятелями обсуждали при питомце планы восстания, как занять город и (!) как арестовать отца воспитуемого.

И романтический сводник к тому же: устраивал ученику свидания с некой Бетти...

Кончилось плохо, учителю отказали от дома, ученик к нему охладел, и несчастный застрелился, кажется, выстрелив в себя из пистолета, заряженного ртутью.

«Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, кто обманулся в русском юноше!.. Какого благородства от нас ожидать! Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем».

/Русск. об-во 30-х гг. XIX в. Люди, идеи. Воспоминания современников. Под ред. Федосова. М. МГУ. 1989/

И воспитанику это большой пользы не принесло. Изменил вере, Доблел и до католичества, и до протестантства».

Хорошо рассуждать Максиму Максимовичу. Он историк. Много знает. Если правда, что важнейшим из искусств для нас является кино, то изо всех наук важнее всего история.

Во-первых, потому что это такое кино! Во-вторых... А во-вторых, я, собственно, и сам не знаю...

И все же хорошо там, «в истории»! Поневоле сталкиваешься с приятным: с высоким, героическим, самоотверженным. Какая б рядом не встречалась ложь, жестокость, грязь.

Минувшее всегда романтично, торжественно, празднично. Независимо от того, каково оно было, пока не стало минувшим. Иначе как бы мы жили? Иначе какой бы был смысл и в нашем «настоящем»?

Прежде, кажется, и люди другие были.

«Не то, что нынешнее племя».

Наше нынешнее племя что? — Пыль, пух, пар, тарабарщина.

На учеников посмотришь и видишь: наш новый Раскольников, объявись он теперь, в Наполеоны наверняка не захочет, да и в Магометы еще подумает. А вот старуху может убить. Или за то, что у нее есть деньги, или за то, что у нее их нет. Мне мои двоичники, в порывах откровенности или бахвальства, и не такое рассказывали! У наименее развитых это называется «реализмом» — в противоположность всему остальному.

Да и сами мы, учителя, взрослые? Тоже ведь — нынешнее племя.

С недавнего времени почувствовал: не только над собой (с этим всегда трудно было), над самым ближайшим окружающим совершенно теряю контроль. Все как будто против своей воли творю. Проще говоря, все из рук валится, и ничего не выходит.

И всем-то я, кажется, поперек дороги стою.

Даже когда не стою, а просто лежу и валяюсь...

Что ж, история болезни — это тоже история.

А с другой стороны, грех завидовать Максиму Максимовичу. Что ни говори, история — наука небезопасная. Даже самые известные исторические факты встают в памяти непоследовательно, беспорядочно, отрывочно и в неполноте... А исторические науки и исторические перспективы никогда у нас, кажется, не совпадают...

А главное — это ж как бы даже запрещено: что-то вроде вызывания теней и духов.

А кроме того, история — это как-то уж слишком во времени. А время — субстанция загадочная.

А с другой стороны, ведь вся история — это история любви!

4.

Ну, хорошо. Сегодня праздник. Сегодня ничего не страшно. Но завтра-то, завтра-то что будет? И даже если, допустим, пусть ничего плохого не будет, как останусь завтра один, один на один со своим жалким шкрабовским жалованием?

И вообще, что останется тогда мне (ему, ей) здесь? Ничего. Ничего... Разве только молитва.

5.

Да, да... И одиночество тоже. Кажется, один никогда не бываешь, а одиночество таково, что и не поймешь сразу, чего в нем больше — паскудности или постыдности. Ведь не то только скверно, что не с кем ни поговорить, ни помолчать, ни вообще ничего, но и просто стыдно ведь таким одиноким быть!

И еще — пренеприятная существует между одиночеством и деньгами (вернее, их отсутствием) связь (или обратная связь). Стыдно, но очевидно.

И вообще, не начать ли мне ходить на вечера отдыха «Для тех, кому за 30»?

Но ведь и это стыдно.

Тем более школьному работнику.

Да и танцевать я не умею. Разве только в темноте и медленно.

Как-то всю жизнь так и живу вне, а теперь как-то особенно вне. Очень снаружи.

Полоса отчуждения. Она же — препятствий. Она же непроходимых. Но что это? Неужели ропот? Беда. Стыдно.

И все же бывает, конечно, иногда обидно быть бедным. Не само по себе бедным быть, а опосредованно. Может быть, оттого, что беден, я и по свету так мало странствовал? Ведь такие города как Лондон, Вена, Мадрид, Челябинск, Уфа, Лиссабон, Ла Виолетта, Ульяновск, Омск и другие многие я только на географической карте видел...

Странствуют ведь или от излишества, или от нужды. А я как-то ни то, ни се...

6.

Вот и все. Отпраздновали. Вот и стали мы на праздник взрослых.

На другой день, еще хмельной от произошедших событий и смертельно усталый, я возвращаюсь к себе домой (если только это можно назвать моим домом!) с очередного постыдного сеанса репетиторства. Это все же жуть — готовить безнадежно избалованных и беспросветно самовлюбленных болванов, чьи родители в состоянии и готовы платить за их поступление в высшее учебное заведение. Но деньги, деньги... Но бедность, бедность....

Физические силы идти еще, кажется, есть какие-то, но душевных уже нет никаких.

150 грамм портвейна в забегаловке и одна бутылка крепкого пива немного утешают, оживляют и воодушевляют меня. Еще одну бутылку я беру с собой, чтоб уснуть.

Наивный! Хотел невидимым быть. Учитель. И уж мне-то где скрыться теперь в болоте и тумане естествознания и источниковедения? Нигде. Негде. Все про меня все знают, только и утешения — что и я все про всех.

Меня-то ведь непременно всегда найдут, всегда-то я в шапке из волчьей шкуры на голове. Или хотя бы с клоками волчьей шерсти.

И вообще, думают все априори, будучи учитель, не опричник ли я царя Иоанна Грозного?

(Кстати как бы это перевести: «априори»?)

Учитель?! Что вы? Побойтесь! Какой там учитель! Преподаватель разве. Труженик просвещения без руля и без ветрил, всех детей ничтожных света ничтожнейший!

Теперь мне хотя б сказочку на ночь самому себе что ли рассказать?
«Кипят, котлы кипучие, точат ножи булатные, хотят меня зарезати...»
Это, кстати, из той самой сказочки, где «Не пей, Иванушка, козленочком станешь...»

Возле самого дома (если только это можно назвать моим домом!) в темных сумерках из кустов мне навстречу, наперерез бросается неясная и смутная тень.

Я не останавливаюсь. Мне все равно.

Хотя кто б это мог быть. Бандит? Хулиган? Дашенька? Пашенька? Машенька?

Тень худа и призрачна.

Я узнаю. У меня пропадает дар речи.

Мать Чечевицина. Наденька.

— Это вы?.. Это ты?..

— Это я.

Мы стоим полуобнявшись. Бутылка крепкого пива в пакете немного мешает мне.

— Знаете, Сашенька опять из дому ушел и совсем не готовил уроки...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вот и все. Все ушли. И она ушла. Я один. У меня выходной. Только вечером еще одно репетиторство.

Кажется, после праздника и после всего хорошо бы и одному побыть, только мне давно уже и так сильно одиноко. Даже телефон у меня очень-очень нечасто звонит, когда звонит, это чаще всего «ошиблись номером — не туда попали»... Или Саня Генералов раз когда вспомнит.

Ну, да ничего. Зато не надоедают.

Кипят котлы кипучие,

Точат ножи булатные,

Стучат станки печатные,

Хотят меня зарезати...

Илья ОГАНДЖАНОВ

ВСТРЕЧА

Он сидел в метро на лавочке, или на скамеечке, — кому как больше нравится. Ему больше нравилось на лавочке, поэтому он на ней и сидел. На лавочке у первого вагона в центр.

Все вагоны делятся на идущие в центр и из центра, на первые и последние. Он сидел на лавочке у первого вагона в центр.

Со стороны могло показаться, что он сидел просто так, от скуки, от нечего делать, но ни с этой, ни с какой другой стороны на него никто не смотрел, да и он не обращал ни на кого внимания. Под землёй кипела жизнь. Граждане, отдав восьмичасовой долг родине, спешили кто куда — кто в центр, кто из центра.

Он сидел на лавочке, вслушиваясь в рёв поездов: шестнадцать секунд рёв нарастал, девять — затихал, потом опять — шестнадцать и девять, — и ловил себя на мысли, что считает почти машинально, помимо воли, непонятно зачем. В этом не было никакого смысла, зато была система, по которой он, студент престижного технического вуза, обычно убивал время. Жизнь кипела, нестрашный рёв нарастал и затихал, он сидел и ждал девушку. Не то чтобы очень ждал, и она не так чтобы очень спешила. Хотя это как посмотреть. Почему бы ему не ждать её со всей страстью любящего сердца, вертя головой по сторонам, нервно покусывая губы и скатывая в шарик фантик от жвачки, а ей не спешить к нему со всех ног, сломя голову, как на пожар, одержимой мыслью об их неминуемом счастье. Но так на него смотреть никто не собирался, да и сам он подобного взгляда не одобрил бы. И всё оставалось, как обычно, — он ждал, она опаздывала.

— Где тут переход на кольцевую? — глухо, как выстрел в упор, прозвучал над ухом вопрос.

Всё правильно. Так и положено спрашивать солдату лет девятнадцати, небольшого роста, с обветренным лицом и отсутствующим взглядом, в камуфляже, какие он видел по телевизору в репортажах с мест боевых действий. Рота, подъём. Равняйся. Смирно. На первый-второй рассчитайся. Наверно, проездом в Москве, направляется в город Н. на побывку, с матерью повидаться. На языке вертелись знакомые слова — «горячая точка», «зелёнка», «растяжка», смысл их двоился и ускользал. Горячая точка — это там, где воюют? Но почему точка, если стреляют и в лесу и в поле, и в деревне и в городе, и почему горячая, что, если дотронуться, можно обжечься? Зелёнка — это лесополоса или та, которой смазывают

ссадины, и она щиплет, и мама дует на ранку? Растяжка — это же что-то спортивное, а вовсе не проволока на тропе, привязанная к чеке гранаты.

— Что вы говорите? А-а, переход... Это там, — устало и безнадежно махнул рукой куда-то в сторону блёклый человек научно-кандидатского вида.

Солдат кивнул, точно получил приказ, и, развернувшись, пошёл его исполнять. Он ступал тяжело, словно его кирзачи увязали в грязи и он шёл не по перрону среди кипевшей и ревившей жизни, а по весеннему полю, размытому дождями весеннему минному полю, где каждый цветок мать-и-мачехи целит в сердце и каждая травинка, натянутая как струна, грозит выдернуть из-под земли чеку... Куда ты, постой, стой, вернись, — переход в центре зала! Но солдат ничего не услышал, ведь сказано это было тихо, шёпотом, про себя.

— Привет, милый. Ты что такой хмурый? Заждался?

— Скажи, а что если бы меня вдруг забрали в армию и послали воевать?

— Это ещё зачем? У тебя же отсрочка и все шансы попасть в аспирантуру. Да и убить ты никого не сможешь.

— Неважно. Всегда можно умереть самому.

— Для этого не нужно никуда уезжать. Потом, вспомни, мы собирались в кино, и тебе завтра в институт. Какая может быть война?!

— Ты права — никакой.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Она хотела всё ему рассказать. Всё-всё-всё было чужим и враждебным, начиная с имени, такого нелепого для северных широт, опереточного имени Сильва. Оно жгло, жгло и жгло сухим шёпотом нянечек в детском саду, сталью учительских голосов и страшнее всего на переменных — клёкотом одноклассников.

Как тебя зовут? Как-как? Ну зачем переспрашивать, это они нарочно, чтобы уколоть, да ещё с таким видом, будто им доподлинно известно, почему стул называется стулом, а не столом, небо — небом, они — Вася-ми и Петями, а она — Сильвой.

Имя ей дали родители в память об имрекальмановской королеве чардаша, на которой познакомились с первого взгляда, и она уже не могла придумать себе другого, как ни старалась, — ни одно не подходило. Но разве нельзя вовсе без имени? И разве ручеек пробора в тёмных волосах и карие проталины глаз на бледном лице — *не гэвушка, мармэлаг в шакалагэ* — разве это она, Сильва?

Она хотела рассказать ему о линиях судьбы, загадочно ветвившихся на ладошке. Одни хотелось прочертить дальше и глубже, другие стереть. Но отточенный карандаш и ластик лежали нетронутыми. После папиной смерти мама всё плакала, приговаривая: от судьбы не уйдёшь, не уйдёшь (была ли судьбой сбившая папу машина или его старомодная рассеянность — неизвестно), не уйдёшь, и плакала, плакала, и до седых волос прожила одна с бабушкой.

Она хотела рассказать о своей соседке, городской сумасшедшей, которая ходила по улицам с тетрадкой в клеточку, выпрашивая у прохожих ручку. И заполучив чёрную, синюю, зелёную или красную, списывала разлинованные страницы калямаляками в столбик и просила каждого встречного прочитать вслух её стихи. «Пожалуйста, пожалуйста, я забыла дома очки, не будете ли вы столь любезны». Никто не был настолько любезен, чтобы разбирать эти каракули, похожие на расползшихся дождевых червей и даже отдаленно не напоминавших слова, — никто, кроме не знавших азбуки детей. И девочкой она читала сумасшедшей её разноцветные стихи, и та удовлетворённо кивала, шумно втягивая стекавшую изо рта слюну. Стихи были хорошие, она их долго помнила, а сейчас забыла.

Хотела рассказать, как боялась чужих прикосновений, представляя себя хрустальной вазой на краю стола, и как звонко хохотали в памяти осколки.

Рассказать, как пряталась в комнате за открытой дверью. Просовывала пальцы в щель у косяка, прямо над нижней петлёй, и, дрожа от булькавшего в груди страха, *сейчас, сейчас прищемит*, ждала, когда мимо пройдёт бабушка, по привычке потянет на себя медную ручку — *опять всё нараспашку*, и огненные иглы вопьются в подушечки пальцев, и пламя пробежит по телу, вырвется из горла криком и брызнет слезами из глаз.

Врач прописал таблетки, назначил диету и советовал раньше ложиться спать. Она ложилась, закрывала глаза и представляла себя мёртвой. Но звуки из этого мира проникали в тот. Качнув ветку, вспорхнула птица. Шум крыльев потонул в шелесте листьев, словно деревья пытались взмыгть и унести Землю вместе с полями и лесами, реками и морями, как добычу, в цепких могучих корнях. По-разбойничьи присвистнул ветер, и дождевые капли застучали в висках — точка-тире, точка-тире. Кому предназначалась шифровка? Дождь забарабанил на пишущей машинке: *нервное истощение, повышенная впечатлительность, стресс*, тяжело всхлипнул и отчаянно заколотил в дикарский бубен — точка-тире, точка-тире. Под веками вспыхнули протуберанцы, и раскалённые иглы впились в мозг.

С годами боль притупилась. Таблетки, диета, распорядок дня, аттестат зрелости, факультет психологии МГУ, диссертация «Детские комплексы и подростковый суицид», привет, Зигмунд, ау, Зигфрид, кафедра, признание коллег. И вот теперь институт детской психиатрии — неврозы, заикания, аутизм изо дня в день, изо дня в день, двуручная пила в лапах жизни и смерти.

Она хотела рассказать ему о Серёже. О том, как трудно стать кардиохирургом в Америке и как они переписывались много лет, пока он учился там, в перспективном Гарварде, в ординатуре, и потом работал, работал, работал. И наконец она приехала к нему, и они ходили по магазинам, поднимались в горы на подъёмнике, стояли на вершине, и вокруг плавали облака, похожие на присыпанную мукой сдобу. «Мы витаем в облаках», — пошутил он и не предложил ей остаться, потому что в Америке очень трудно стать кардиохирургом. И они ели гамбургеры, и всё снова было чужим и враждебным, чужим и враждебным изо дня в день, особенно ночью. И хотелось позвонить туда, в залитый стерильным светом кардиоцентр, из своей малометражной кардиоокраины, но останавливала разница во времени и пространстве, изо дня в день, из пункта А в пункт В. И она, как в детстве, закрывала глаза и представляла себя раковой, выброшенной на берег. Море шумело в ушах, и звуки из того мира проникали в этот.

Об Алексее рассказывать не хотелось. Они познакомились у знакомых знакомых от безысходности, от избытка прожитого и недостатка пережитого. Вы, значит, психиатр, лечите детей, так сказать, помогаете им стать взрослыми? Можно сказать и так. А вы чем занимаетесь? Он был хороший и умный и в свои сорок четыре писал диссертацию «Прекрасная Дама в контексте современной культуры и без контекста», и собирался защищаться до последней копейки, до последней капли крови, как тамплиеры, госпитальеры и особенно розенкрейцеры. И, точно милостыню, сжимал в потной горсти её тонкие пальцы, после чего она плохо засыпала, читая допоздна статьи о природных катастрофах древности в Вестнике Академии наук или что-нибудь о любви. Тектонические сдвиги, извержения вулканов, Ромео и Джульетта, землетрясения, гибель Атлантиды, Паоло и Франческа, смерчи, цунами, Петр и Февронья, и тьма над бездною.

Но главное, она хотела рассказать, что у неё есть смысл жизни. Только как ему такое расскажешь, этому мальчику? «Понаблюдайте его, коллега, любопытный случай: за всю свою девятилетнюю жизнь не проронил ни слова».

- Как тебя зовут?
- Кого ты больше любишь?
- Кем хочешь стать?

Ни слова, ни слова. Будто кто-то ещё до рождения доверил ему страшную тайну. Может быть, её тайну? Шифровку на бумаге в клеточку. Разноцветные письма, размытые ливнем. Точка-тире, точка-тире. Она должна ему всё рассказать. Он поймёт. Ведь у неё есть смысл жизни. Пусть чужой и враждебной, но есть. Она точно знает, что есть. Ведь правда? Правда? Ответь. Не молчи.

ПАСХА

«Земля оцетинилась первой зеленью». Нет, не то. «Молодые листочки показались на ветках, словно вражеские копья на горизонте». Не то, опять не то. «Газоны, клумбы и кроны деревьев были расшиты изумрудным бисером»... Вот так всегда с началом рассказа: не знаешь, за какую ниточку потянуть, и ходишь-бродишь вокруг да около, кружишь по городу — ждёшь подсказки. В шуме улиц различаешь дыханье прибоа, в щебете воробьёв — журчанье ручья. Что это — старый тополь скрипнул или потайная дверь? Дрогнула тень или мир покачнулся? Это ветер или ты окликнула меня по имени?

Переулки, бульвары, проспекты. Слоняясь по Москве, я добрёл до Новоспасского монастыря. За воротами было тихо и безлюдно. Монастырский двор, начисто выметенный и выбеленный, напоминал девичью комнату. Солнце заливало ухоженные цветники и присыпанные гравием дорожки. В глубине двора одиноко стоял молодой высокий монах, неотрывно глядя куда-то поверх куполов. И лицо его светилось тихой радостью и тихой грустью. Я невольно поднял глаза. Не знаю, что я хотел там увидеть, в этом головокружительном весеннем небе. Себя ли десять, двадцать лет назад, только другого, каким мог бы стать, но уже никогда не стану? Отца и мать, ещё молодых и счастливых? Деда, прадеда? Все древние народы, живущие в моей крови? Не знаю, в прозрачном океане лазури не отражалось ничего.

В церкви шла служба. Глубокий полноводный голос затоплял высокие своды, откуда на меня неотступно глядели строгие глаза. Иже еси... да святится имя Твое... — механически повторил я и замолчал. Заученные слова безжизненно затихли на губах. Я покрестился недавно и в храме ещё как-то терялся, и всё больше косился по сторонам.

Старушки с восковыми лицами, разошедшие старики, юродивые и калечные крестились размеренно, торопливо, истово. Мальчик засмотрелся на Богородицу. Заплаканная девушка в чёрном платке по-

ставила свечку за упокой, свечка затрещала, брызнула искрами, став на миг бенгальским огнём.

Служба кончилась, и тот же полноводный голос прозвучал уже буднично:

— Братья, помогите расставить столы для праздника.

Несколько мужчин потянулись за плечистым монахом, таким Осябей. Побрёл за ними и я.

Мы прошли во флигель, миновав просторный зал, где богомолки молча красили пасхальные яйца и покрывали глазурью куличи, расставленные на длинном столе, как матрёшки, от мала до велика. Всюду был разлит сладкий запах сдобы. Я подумал, что всегда хотел написать рассказ полный такой же безмятежной невесомой сосредоточенной тишины и сладких тревожных весенних запахов.

Разбившись по двое, мы носили парты из классов воскресной школы и ставили в ряд на улице. Все шутили, смеялись. Мой напарник молчал. Кто знает, может, вот так же молча волокли бы мы с ним баржу по Волге, или таскали брёвна на лесоповале, или катили тачку на рудниках... Я смотрел на его ничем не примечательное широкоскулое лицо, и глазам открывалась бескрайняя степь, пустынная и загадочная. И казалось, это не старые развинченные парты поскрипывают, а запряжённая клячонкой-тоской телега катится по степи, увозя меня куда-то далеко-далеко. И ни души вокруг.

Я немного замешкался и отстал, а войдя в класс, увидел, что к моему напарнику подошёл один из носивших, взялся за край парты и бодро выпалил:

— Ну что, взяли?

— Нет, извини, — тихо и твёрдо прозвучал ответ, — я ношу с ним, — и кивнул в мою сторону.

Парты поскрипывали, телега катилась, но теперь в ней сидели уже двое.

Купола сияли багряным золотом, и тени под монастырской стеной наливались тьмой. На ум всё приходили книжные описания заката: «огненная река, огнедышащий дракон, кровотокающая рана», и с грустью вспомнилось, как жадно я раньше стремился придумать что-нибудь ещё багряней и закатыстей.

Осябля поблагодарил за помощь, поклонившись в ноги, и пригласил на завтра на пасхальную службу. Мы потянулись к выходу и за воротами разбрелись кто куда.

Переулки, бульвары, проспекты. Ветер ластился и манил таким родным и забытым весенним теплом, а у меня перед глазами всё сто-

яло широкоскулое ничем не примечательное лицо. Но скоро черты его потускнели и растаяли в воздухе, в памяти, в пустоте.

«Измумрудный бисер рассыпан — не собрать, вражеские копья нацелены на меня...» Не то, не то, опять не то. «Брат мой, мне так страшно в этом мире. Брат мой, я так одинок».

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ

Бывают минуты, часы, да что там — дни, месяцы, годы, когда мечтаешь затеряться на вокзале в толпе, сесть в поезд и уехать, куда глаза глядят. Мечтаешь дни, месяцы, годы. И вдруг — стоп-кадр, и отчетливо видишь, что ехать некуда и, куда бы ни глядели глаза, всюду разлит убавокивающий кладбищенский покой.

В сущности, кладбище — тот же вокзал: теснота, пестрота, цветы, слёзы и лица, лица. Только все отбывают в одном направлении и никто не обещает вернуться, не говорит: я приеду, скоро, очень скоро. Скоро-скоро — стучат поезда, скоро-скоро — отвечает им сердце.

Ты уехала, а я всё приходил на вокзал провожать тебя, воспомина-ния о тебе.

Сонно покачивается у берега море. Обрывки фраз, смех, крики тонут в шуме прибоя. Ты сидишь на песке, капли искрятся на загорелой коже, в тяжёлых влажных волосах струится дремучий сумрак. Солнце и ветер вступают за тебя в поединок. Ты всматриваешься в слепящую пустоту горизонта и, кажется, ждёшь ответного взгляда.

очень жарко хотите мороженого чудный вечер хотите вина о чём вы думаете чему улыбаетесь почему так смотрите вы устали я провожу о чём вы почему что ты что ты подожди-подожди я скоро скоро-скоро — стучит сердце скоро-скоро — отвечают ему поезда

Прошло уже много лет, как я стою на перроне, машу на прощанье рукой незнакомым людям. Окна вагонов мелькают, словно кадры кинохроники. Вон то грустное женское лицо могло бы стоять в рамке у меня на столе, тот мужчина мог быть моим другом, соперником, та девочка — моей дочерью. Пиши, не забывай. До свидания, до свидания. Прощай навсегда.

И никому ни слова, ни поцелуя... Поезд прибывает на путь, отправляется с платформы, просьба провожающих покинуть встречающих.

И я покинул. Теперь хожу на кладбище, где вечные проводы и много таких, как я: поезд давно ушел, а они все стоят и машут на прощанье. Здесь все заодно. На похоронах можно приложиться к холодному лбу

покойного, шепнуть ему: счастливого пути, брат, и никто не отшатнется, не скажет: я вас не знаю. Разве что родственники недоуменно пожмут плечами. Можно сесть на скамейку у любой могилы, словно перед дальней дорогой, помолчать, глядя на овальную фотографию раба божьего, рабы божьей. Вон то грустное женское лицо, тот мужчина, та девочка — могло бы, мог бы, могла бы...

Помнишь старика в кафе на набережной? Он приходил каждый вечер в одно и то же время. Выпивал кофе и ставил на блюде чашку вверх дном. И после пристально и отрешённо, точно вслед уходящему поезду, глядел в сумрак кофейной гущи. Расплачиваясь, всякий раз говорил официантке: «Прощайте, бог знает, доведётся ли ещё встретиться».

— Интересно, что он там видит? — я молчал, тогда мне было всё равно.

А сегодня, сегодня надо мной, над тобой, надо всеми проплывают облака, гружённые ливнями и грозами, несбывшимися мечтами и надеждами, и кто-то выглядывает из-за туч или показалось... До свидания, до свидания. Прощай навсегда.

IV
ЭССЕ

Андрей ВЫСОКОСОВ

...ГРУСТНЫХ И ЯСНЫХ, КАК НЕБО, СТИХОВ

(о поэзии Светланы Сырневой)

«Если в месячную ночь стоять очень тихо и ни о чем не думать по-стороннем, заслышишь колокольный звон». Стою перед окном своей комнаты на северной окраине Москвы, вспоминаю, откуда в голову вскочили эти слова. Конец апреля, ночь вполне месячная — дынный ломтик луны ярко желтеет над лесом. «Мыло с сахаром твоя дынька». И это тоже надо вспомнить. Из темноты выплывает «умная» фраза: ассоциация идей... При чем тут ассоциация... Колокольного звона мне, конечно, не услышать, слишком много постороннего и случайного в мыслях. Или это не постороннее?.. И немели деревья, немели, и молчали деревья, молчали, и ничем намекнуть не посмели, что другое они предвещали... Ну, это просто, это я помню, это Светлана Сырнева, о Пушкине; и про дыньку помню, из «Петербурга» дынька, но вот колокольный звон... Ловлю себя на мысли, что Пушкин у Сырневой — как у Георгия Иванова. Маленький и беззащитный; слезами заливался, имение прозакладывал, жену ревновал. Чудная, смутная музыка, слышная только ему... С седьмого этажа мне хорошо видна улица под окном с редкими в этот час машинами, улица называется Планерная, хотя никаких планеров здесь отродясь не видели, — чтобы попасть к ближайшему аэродрому, надо пересечь все Тушино с севера на юг и выйти к Волоколамке, и вот на другой стороне шоссе будет аэродром — Тушинский. Ну и есть еще, конечно, Шарик, как его часто называют в целях экономии гласных и согласных. Шарик — это Шереметьево. Самолеты, заходящие в Шарик на посадку, бывает, низко пролетают над землей, и тогда в окне, перед которым я сейчас стою, тревожно дребезжат стекла... Ассоциация идей... «Хоть я и "великая сушь", но по ночам я рыдаю в подушку, вспоминая, что жизнь прожита и зачем она прожита...» Не уверен в точности цитаты, кажется, это Георгий Адамович. Из какого-то его письма. «Сказать ничего нельзя...» И кажется, в эту именно ночь

я решил, что должен написать о Светлане Сырневой, точнее, о ее стихах. Хотя бы попробовать... Почему именно о ее стихах? Трудный для меня вопрос... Если не ошибаюсь, Фолкнер говорил что-то вроде: я не знаю точно, что я думаю о чем-либо, пока я об этом не напишу...

Еще из окна мне видно метродепо. Это обнаженная земля, на ней лежат рельсы, по которым периодически, не исключая глубокую ночь, проползают вагоны метро; также тут помещаются железные и бетонные ангары, краны, прожектора и прочее оборудование и даже спортивная площадка за сеткой-рабицей, где днем свободные от работы деповцы играют в футбол. Метродепо начинается прямо за дорогой, за бетонным забором, кажущимся сверху игрушечным, и веером расходится в сторону улицы Свободы. Ручкой своей веер упирается в другую улицу, названную именем латвийского писателя и госдеятеля Вилиса Лациса, а дальней своей стороной — через линейку гаражей — в лес. Лес стеною стоит на горизонте, всё остальное — это огромное небо, только справа, вдали видны редкие огоньки Новых Химок, а слева, тоже на изрядном удалении, дома по Вилиса Лациса. И еще, прямо передо мной, между метродепо и лесом, торцами глядя на Вилиса Лациса, стоят два пятиэтажных корпуса дома для престарелых, соединенные крытой галереей. Это не обычный дом для престарелых... Хотел говорить о стихах Светланы Сырневой, а вместо этого... Ассоциация идей... Кстати, вспомнил я про колокольный звон. Был такой поэт и писатель, теперь почти забытый, Дмитрий Голубков. Он был член СП СССР, работал редактором в издательстве, путешествовал, писал — и для печати, и в стол (книги его, которые «для печати», аккуратно издавались), вел дневник. Жизнью жил внешне благополучной, приятельствовал с Юрием Казаковым, боготворил Пастернака, написал «Недуг бытия» о Боратынском, а в стол — вполне шестидесятнический роман «Восторги», главный герой там, молодой художник, кончает жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из отцовского нагана. И однажды, ранним холодным ноябрьским утром 1972 года, на своей даче в Abramцево сорока двух лет от роду Голубков застрелился из охотничьего ружья. Колокольный звон — из одного его рассказа. Еще в петровские времена монахи схоронили в речке Сумере, в глубоком бочаге, монастырский колокол — уберегли его от переплавки, Петр в ту пору велел лить пушки из колоколов; и с той поры у местных есть поверье: если в месячную ночь встать тихо у реки и ни о чем постороннем не думать, услышишь со дна доносящийся колокольный звон...

Это не обычный дом для престарелых. Когда-то, еще в СССР, эта богадельня, значащаяся под номером 9, была от Литфонда (сейчас она для ветеранов труда). Это именно здесь прожил последние три без малого

года Варлам Шаламов. Здесь он писал стихи. Вернее, он не писал их, он их с трудом наговаривал, а за ним записывали. (Так же Георгий Иванов незадолго до смерти — в больнице «богомерзкого» Йера — шептал Одоевцевой: «Поговори со мной еще немного, не засыпай до утренней зари», и она послушно записывала за ним...) Это здесь Шаламов узнал о награждении его французским Пен-клубом премией Свободы (премиальных денег он, конечно, так и не увидел). Это отсюда его в январе 1982-го увезли в интернат для психохроников, говоря проще — в сумасшедший дом. Через три дня Шаламов умер. Георгий Иванов умер от жары, Варлам Шаламов — от холода, но оба умерли от человеческой подлости и равнодушия. Сумасшедший дом помещался в Лианозове, на Абрамцевской улице. Где-то я прочитал, что Шаламова везли туда через всю Москву. Это не так, — его везли вообще не через Москву, но по самому ее краешку. Я знаю, как его везли, сейчас я вам это расскажу.

Дело было морозным январским утром. Одетого в легкую больничную одежду Шаламова затолкали в неотапливаемый кузов машины скорой помощи. Он не хотел ехать, сопротивлялся (после будет сделана «медицинская» запись: «буен, пытался укусить санитар»). Выехали на Вилиса Лациса, сразу свернули налево, на прямую, как стрела, Планерную улицу, и поехали вдоль забора метродепо. Проскочили вот здесь, прямо под моим окном, и на перекрестке снова повернули налево — на улицу Свободы. И снова свободы досталось Шаламову немного — меньше километра, до поста ГАИ. Сейчас пост ГАИ находится перед поворотом на МКАД, но в те годы он стоял после съезда на кольцевую дорогу, который с поста даже не просматривался. Кто знал, этим пользовался: если нужно было на машине попасть в Москву, избегнув встречи с ГАИ, достаточно было проехать этот короткий и кривой отрезок по встречке — медленно, с включенной аварийкой. Стало быть, не доезжая до поста, санитарный рафик ушел со Свободы направо и очень скоро уже катил по внутренней стороне МКАД. Кольцевая дорога в то время представляла собой узковатый и кособокий шлях, со стертой разметкой, весь в трещинах и колдобинах, и с известной гордостью носила народное прозвище «дорога смерти». Собрав все полагающиеся на ее долю ямы, санитарка додребезжала до поворота в Лианозово, и вскоре уже были на месте, — искомый интернат за номером 32 тоже недалеко убежал от московского кольца. Весь путь вряд ли отнял больше сорока минут — пробок на дорогах тогда не было, но и этого времени было вполне довольно, чтоб убить слабого, слепого, не по зиме одетого и потому прозябшего до костей старика. Об этом почему-то не говорят, но это было вполне сознательное, более того — грамотно спланированное убийство, замаскированное под совдеповское разгильдяйство. Через три дня Шаламов умер от двусто-

ронного воспаления легких, которого у него и в помине не было, когда его заталкивали в машину во дворе его предпоследнего и не самого в его жизни скверного пристанища — на улице имени латвийского писателя-коммуниста Вилиса Лациса...

Всё так, скажет придирчивый читатель, спору нет, но при чем тут стихи Светланы Сырневой?.. Отвечу я на это обоснованное замечание, наверное, следующее: может быть, я что-то не то забрал себе в голову, но мне кажется, что всё, что я до сих пор говорил, я говорил и о стихах Светланы Сырневой, и даже уже много о них рассказал. Может быть, я уже рассказал о ее стихах существенную часть, нечто важное, без чего всё теряет смысл, вернее, не смысл, а что-то другое, что совсем не смысл... но и осталось, конечно, много сказать, нет, это не поза, много надо еще сказать, сейчас мы этим займемся. Придирчивый читатель на это вправе возразить, что этим же вступлением можно было бы начать разговор о стихах, к примеру, Тихона Чурилина или Сен-Жон Перса. На это я единственно могу возразить: каждому, не исключая Тихона Чурилина и Сен-Жон Перса, полагается особое вступление, и в каждом случае оно было бы написано свое; к тому же никакое это вовсе и не вступление...

О Русь! У кого и как
берёшь ты таких пустот,
где даже бессмысленный знак
отчетливый смысл несет!

Говорить о стихах всегда было нелегко. Говорить о стихах, когда всё давно о стихах сказано, почти невозможно. Что вообще о них можно сказать? Получается как будто по Чехову: если стихи достойные, в них есть некая тайна, которую другими словами не объяснишь, единственные слова, которые как-то объясняют, отчего хороши эти стихи, — это самые эти стихи; а если стихи скверные, то и объяснять нечего (причина, почему они скверные, — вещь неопределимая). Нет более бессмысленного и главное — ненужного занятия, чем разбор того или иного стихотворения. Объяснить ничего нельзя. Но можно попытаться сказать, ничего не говоря. Примерно как у Сэлинджера: приложить чистый листок бумаги вместо объяснения...

И сколько нужно горя перенести,
чтоб научиться счастье отвергать!
О жизнь моя, мы встретимся не здесь,
не при чужих, которым надо лгать.

Сама Сырнева где-то обмолвилась, что у нее немного читателей, но они — люди умные и глубоко чувствующие. Любим мы говорить слова... Я, например, в отличие от Дмитрия Голубкова, не люблю стихов Пастернака, но уверен, что и у Бориса Леонидовича читатели умные и глубоко чувствующие. И их тоже мало. Потому что их вообще и всегда мало — тех, кому нужна поэзия. Да и нужна ли она вообще? «Стихи всегда беззащитны. По совести: кому они нужны в жизни, для "жизнетворчества", для работы и бодрости, — кому?» — спрашивал когда-то Адамович. Да, поэзия — «лунное дело», а по ночам нормальные люди предпочитают спать. Что же: «один сумасшедший напишет — другой сумасшедший прочтет»? Нет, не так. А как? Не знаю, но не так, — это совершенно точно...

«Мама, мне страшно, в канаве вода.
Мама, мне холодно, дрожь пробегает.
Мама, зачем мы приходим сюда?»
Некуда больше идти, дорогая.

Лирическая пронзительность, говорит Дмитрий Ильин. Да, пронзительность. Слезы. Ну, что же, да, слезы. Сергей Есенин. Конечно, безусловно, — Есенин! «Страна равнин». И здесь все верно. «Что есть любовь? Одно мгновенье, удар, потрясший бытие». И отчего-то всплывает в памяти — кажется, где-то у Грэма Грина — ребенок, мальчик-гурани, убивший свою маленькую сестренку: сестренка чуть подросла и съедала теперь слишком много маниоки, и ему не хватало еды; и чтоб меньше страдать от голода, он столкнул ее с мостков в воду, а все думали, что девочка утонула сама. Но мальчик все простодушно рассказал священнику на исповеди. И что же священник? Он, как и другим индейским детям, дал мальчику конфету. И наложил наказание: три раза прочитать «Богородицу»...

В час немого отчаянья
места глаголу нет:
скорбный удел молчания —
доля твоя, поэт.

Тихо жить и тихо думать. Не Блок это, конечно придумал, это восходит еще к Эпикуру, а до него был, пожалуй, другой какой-нибудь Эпикур, о ком мы ничего не знаем. Как старый профессор, летящий в железной ракете к убийственным звездам и тихо поющий во мраке... «Древние уважали молчащего поэта, как уважали женщину, готовящуюся стать матерью». Иные письма не стыдно и почитать, — да, вот пись-

ма Гумилева о русской поэзии не стыдно... «Живо слово нетленное — живо, пока молчу». Но ведь «настоящих слов в языке нет». Что, снова начинается эта мертвечина?! Эта «парижская нота», с эфирно-губеркулезным душком, с голубоватым оттенком? («Умышленно, сознательно предпочитаю молчание...») Нет, какое там, это «русская глушь, переходящая в елисейские тени»...

Я знаю мало, вижу мало,
одна отрада, что не лгу.

«Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками». Ну, пожалуйста, черт возьми, не будьте ими! Это же так просто — не быть.

Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья... Время вывихнуло коленный сустав. Мир расселся надвое, и вот разверзлась бездна великая, и трещина прошла через сердце поэта. Сквозь звезды, которые снятся влюбленным, и небо, где нет ничего... Грусть мира. Зима тревоги нашей. «...Пусть над черною бездной белеет окно и глядится в свое отражение». — Тетушка говорила, что у меня приступ Weltschmerz'a. — А что это такое? — Это когда по твоей могиле гуси ходят... Бог ты мой... гуси... Tristia. Мировая скорбь. Но с этой вещью, говорят, можно справиться. Как?.. Есть способы. Простейший — досчитаться, не сбившись, до ста. Или придумать к Weltschmerz'u рифму... Только ведь не досчитаешь... и рифмы не придумаешь... никто пока не придумал.

И никто не сможет, как бывало,
оттолкнуть меня или обидеть.
Не сама ли я порой мечтала
умереть, но из могилы — видеть!

Видеть — да. Но не качели эти
в их размахе вольном и счастливом,
и не то, как налетает ветер
в белый сад, парящий над обрывом.

Но видеть — что? Господи, что же можно оттуда увидеть?.. Ведь не этот же вечно долгий миг, когда волнуется желтеющая нива... И не этот вечно зеленеющий темный дуб. Или все-таки за ту квадриллионную долю неисчислимого мгновения, пока меркнет свет, пока длится эта нечеловеческая, уже нечеловеческая боль, и планеты успевают родиться, состариться и рассыпаться в прах, и

Выдаст тебе родина суглиненная,
вывесит у колыбели самой
право быть печальной рябиной,
право быть бессильной и упрямой.

...Муза Эвтерпа, старая, безобразная, с выплаканными глазами. Когда она еще была девушкой, она была изнасилована каким-то, кажется, водяным богом. От этого у нее родился сын. «Не люди сына Музы воспитали». Но сын ее после был коварно — во сне — зарезан врагами. Вот такая история, брат Горацио... «Чужой тебе я, Муза, человек, но мне с тобою хочется заплакать...» Образ, метафора... Два стародавних врага поэзии. Но дело не в том...

Назывные предложения. Они разоблачают, называют вещи по имени, показывают их такими, какие они есть. Гольф король, лагерная пайка. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». «Обмен валюты. Разоренный храм». Страшнее, бессмысленнее разоренного храма — ненамоленный храм. Неприличное заведение, вроде лупанария; нет, лупанарий ближе Господу, там бесхитростные грешники, даже не возжелавшие чужой жены... А еще гаже — институт ненамоленных стихов... Стихи Сырневой — из противоположного института... Совершенное отсутствие «поэтических актуальностей». Лирическая пронзительность... Что же, штука не новая. Нет, мой друг, знакомой уж дорогой — так же страшно, так же тонок лед... Пронзение, толковала о том же самом Зинаида Гиппиус...

Это древнейших времен ремесло —
дыры латать у скупого огня...

Стихи нельзя писать никак. Можно повторять эту азбучную истину (которая, впрочем, когда-то была и не азбучной). Можно отрицать ее, и это тоже будет азбучной истиной... Где она, истина? Может, в вине? В вине, которое пьют и от которого блаженно пьянеют. Или в вине, которой упиваются... Достаточно написать одно слово, любое, чтобы поймать себя на отвратительной мысли, что ты у кого-то что-то ворешь. Сейчас положи на место!..

Что для русского — умереть?
О, не более, чем заснуть.
Ибо жизнь ему — то тесна,
то неслыханно широка.
И ему потребны века
для его короткого сна.

Время на Руси идет своим ходом. Во-первых — просто медленнее. Во-вторых — ходом метафизически своим. И русские (не новые, а все остальные) люди, тоже идут своим ходом — шагают обок телеги с нагруженным на нее скарбом. Птица тройка куда не несется, несутся куры по пыльным дворам, Николай Васильевич, верно, обознался. Нехитрый дорожный снаряд, телега, довольно намазаная, медленно катится по разбитой дороге, пегая лошаденка раздумчиво переставляет ноги. Вот такой вот «тройки широкий разбег». Часто телега в починке, и тогда стоит на обочине, и мужик лениво меняет колесо, покуривает, погромыживает баллонным ключом. Фемистоклос и Алкид — и сейчас еще дети, хотя убелены сединами. И слава Богу. Европа, Европа, сады твои полны народу... В Европе случились Ренессанс, Реформация, Сенсуализм, Романтизм, Позитивизм, Фрейдизм, Скептицизм, Интуитивизм, Рационализм, Неопозитивизм, Резистанс, Экзистенциализм, Постструктурализм, протек Поток Сознания и сделалась Сексуальная Революция, в России же, при любых -ансах и -измах, всё тревожно и непонятно, всё, что вокруг и особенно внутри, и во всем надо разобраться, доискаться правды и найти ответы на последние вопросы, без чего не будет счастья, о котором проще и верней других скажут вот эти две строчки:

Холод. И небо над нами стоит
так же, как вечно стояло оно.

Говоря о поэзии Светланы Сырневой, Дмитрий Ильин обращается к нам с полувопросом: «Ну, согласитесь, читатель, можно ли воспринимать лучшие образцы русской поэзии XIX века с таким неистовым волнением! Со слезами, наконец. Едва ли. Русская классика гармонизировала "половодье чувств" эллинским чувством меры, которым она овладела через высокие образцы западной культуры... Поэзия Светланы Сырневой воскрешает что-то иное... Это слезы от невысказанных в XIX веке запредельных чувств и душевного воскрешения. Словно скрытое покаяние русского человека в веке XX».

Чистый листок бумаги придумал не Сэлинджер, и не Стерн... да откуда я знаю кто?! Кто придумал выражение *tabula rasa*, кто придумал язык, на котором записаны эти слова?.. И то, что поэзия золотого века не трогает, не «цепляет» и, по-видимому, и не ставила перед собою такой цели, что это в основе своей стихи, исполненные красоты и гармонии, но они не пронзают, не хватают за душу так, как стихи другого склада и значительно более позднего времени, — все это уже кем-то сказано, давно сказано. Ну, например, в «Комментариях» Адамовича.

«Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка... Сейчас я ошибся и не то сказал: прогресс есть. Человек учится выбирать и ощущать, время точит душу, поэзия освобождается от трескотни, становится чище и тише... Два-три слова, которые мы все-таки лучше слышим теперь, чем сто лет назад... Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина и, — вообще во всей русской поэзии — гимн чуме. Спорить трудно. Стихотворение действительно гениальное. Но... в этих стихах есть напряжение. Как трудно это объяснить, не наговорив глупостей!.. В этих стихах есть пафос, который, может быть, холодней внутри, чем снаружи. Невольно спрашиваешь себя: а нет ли тут декламации, хотя бы в сотой, тысячной доле?.. Ни "Песнь председателя", ни "Пророк" не заменят мне стихов другого склада, грустных и ясных, как небо».

Словно бы полем, поляной, рекой,
небом и космосом, всеми и вся
невосполнимо утрачен покой,
и ни на что опереться нельзя.

В час рокового смещения эпох
сущее общий находит язык:
шум несмолкающий, трепет и вздох,
долу клоненье и сдавленный крик.

...Грустных и ясных, как небо, стихов. Таких, как стихи Светланы Сырневой. И не от Есенина идет эта традиция. Есенин — это русское гуляй-поле, это исповедь «хулигана», которому все одно пропадать, но пропадать больно и страшно — и вот он, размазывая слезы кулаком, говорит, говорит, и голос его взмывает ввысь и сейчас же падает до забубенного хвастовства... Если начать искать корни лирики Сырневой, скорее их найдешь в поэзии русской эмиграции, в «незамеченном поколении». Смоленский и Поплавский интонационно и духовно гораздо ближе ей, чем все «черноземные голоса», чем все деревенщики на свете. Ее поэзия — это поэзия тихой безнадежности и молчания, пустоты и одиночества. Немного отчаяния, по ту сторону которого, как сказал один экзистенциалист и притом не дурак, начинается человеческая жизнь. Бесконечности, бездонности. И — еще чего-то, какой-то малости, слезинки — «как хочешь ее назови», щемящей, бесконечно русской и в то же время — вселенской, объемлющей, — «этот шелест тих и бесконечен»...

Есть неделимый, нерасщепимый
атом в подветренной этой вселенной...

Бесконечность, одна бесконечность в леденеющем мире звенит... Атом... Сон ребенка; душа человека. Распад атома. Душа человека — такую она не была никогда... Да, не была никогда, но вот — стала. Раньше упокоившиеся души могли еще «мечтать, о чем не домечтали, любить, как думали любить». Сейчас пришло время каяться. Каяться и слезами жечь этот мировой лед, зубами вгрызаться в эту заледеневшую, зачехленную бессмыслицу, чтобы растопить, расшевелить... Как тот зэк из рассказа (из жизни, вернее) Шаламова, Васька Денисов, который украл насквозь промерзшую тушку поросенка с ледника, убежал от преследования, забаррикадировался в красном уголке казенного дома и, пока до него добрались, успел съесть, ломая последние зубы, половину этого мерзлого свиного трупика...

Один из афоризмов Григория Ландау говорит (или Ландау говорит с нами одним из своих афоризмов): «Быть одиноким среди близких — какой укор для близких. Быть одиноким среди дальних — какой укор для одинокого».

Но, встречая братьев своих
в тупиках, на буранных околицах,
мы все так же сторонимся их
и далекому ангелу молимся.

...Гораздо проще было бы, наверно, взять кисти и краски и «Ах, зачем я не живописец, господа?» Эти надерганные из стихотворений строфы и строки — как выбранные косточки из «стихов виноградного мяса»: само по себе несъедобно, но брось в землю, полей из лейки — и вырастет виноградная лоза. При благоприятных условиях... И возможно, что мы с вами занимаемся не бесполезным делом. Критика не должна ничего объяснять, — может быть, отчасти оправдывать, отчасти — просто молчать. Однако молчать не как молчит тот, кому нечего сказать, но молчать — как море тихим вечером, которое набегаёт на берег и с тихим шорохом отступает назад и которое ты слушаешь не ушами только, а смысл им сказанного сознаешь не разумом, но всем существом своим. «Ибо от избытка сердца говорят уста».

Апрель — май 2009 г.

СЧАСТЬЕ И ЗАКАТ ВЛАДИМИРА СМОЛЕНСКОГО

Мы были странной кучкой людей...

Н. Берберова

Хотелось бы начать бодрой, жизнеутверждающей фразой: дескать, возвращаются на родную землю — занесенными ветром строчками своих стихотворений — замечательные поэты русского рассеянья, но будет это изрядным лицемерием, ибо возвращаться-то они, положим, возвращаются, но, возвратившись, постоят потупившись, попереминаются с ноги на ногу и, глядишь, повернутся и пойдут себе восвояси, в небытие.

«Среди поэтов "аутсайдеры" типа Заковича или Дряхлова, может быть, переживут многих зарубежных "генералов" от литературы», — пророчески, со всею наивной прямотой рубанул как-то Василий Яновский. И накаркал. Ибо генералов не так-то просто пережить, очень уж они, генералы, живучи. В местечково-трансцендентальном плане.

Которые там ходили в мэтрах — Ходасевич, Г. Иванов, Адамович (в котором критик заслонял поэта), Чиннов, — тем повезло больше, их хоть как-то нынче печатают: верно, считается, что от генерала до мэтра — рукой подать. Но ежели ты второго (или, упаси Бог, третьего) «ряда» — дело твое плохо; у таких прекрасных русских поэтов, как Анатолий Штейгер, Екатерина Таубер, Виктор Мамченко, Лидия Червинская, Алексей Холчев, Юрий Мандельштам, София Прегель, Борис Закович, Владимир Мансветов, Бенедикт Дукельский (не путать с Владимиром Дукельским, русским поэтом и известным — под псевдонимом Вернон Дюк — американским композитором), Кирилл Набоков, Антонин Ладинский, Юрий Терапиано, Вера Булич, Перикл Ставров, Дмитрий Кленовский, Валерий Перелешин и многих, многих других, на родине поэтические книги не выходили, и с творчеством их можно познакомиться лишь в зарубежных изданиях (которые не достать; с некоторых пор, с ляпами и орфографическими ошибками, — в Интернете), редких антологиях, маленьких коллективных сборниках либо скудных журнальных публикациях.

В этом смысле Владимиру Смоленскому на судьбу жаловаться (буде у почивших и был бы такой обычай) вроде бы и грех: в 1994 году московское издательство «Праминко» напечатало его книжку (тоненькую и далеко не полную), а к столетию со дня рождения, в 2001 и 2002 годах, также в отечественном издательстве — «Русский путь» вышел одно-

томник «О гибели страны единственной...», обнимающий все книги стихов Смоленского. Но сути дела сей отрадный факт совершенно не меняет: напечатанные мизерным тиражом, сборники эти давно уже стали библиографической диковиной, каковой диковиной остается для современного русского читателя и сам Владимир Алексеевич, известный сейчас в России разве что «узким» специалистам.

Это тем более грустно, что аутсайдером в поэзии Смоленский никогда не был, но, «слабый сын» потерянного поколения, названного позже В. Варшавским «незамеченным», он сначала ходил в «поигрывающих бедрами» тещах и эпигонах, потом — что может быть банальнее! — в проклятых поэтах, причем того самого «второго ряда», после коллаборационистах — людей хлебом не корми, дай повесить ярлыков, — а там уже и вовсе все это перестало быть кому-то нужно. «Поплавский, Кнут, Ладинский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных, бездомных, нищих, бесправных и потому — полубразованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, первых репрессий, бегства, поколением талантливых людей, не успевших прочесть нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей, вышедших из катастрофы голыми, наверстывающих кто как мог все то, что было ими упущено, но не навеставших потерянных лет». Это из «Курсива» Берберовой.

Очень тепло писала о встречах в середине 20-х годов со Смоленским в своих «французских» мемуарах Зинаида Алексеевна Шаховская («Образ жизни», из книги «Таков мой век»): «На одном из балов я встретила молодого человека романтической внешности с черными глазами и тонкими чертами бледного лица. Один из нас, танцуя, начал читать на память стихотворение Александра Блока, а другой его закончил, и мы оба были восхищены тем, что среди обывателей встретились два поэта, взаимная симпатия перешла в дружескую влюбленность. Это был Владимир Смоленский, который позже стал самым любимым поэтом русской колонии в Париже. Я подарила Владимиру Смоленскому перстень, врученный мне, как талисман, другим поэтом с трагической судьбой, великой Мариной Цветаевой...» Позже Смоленский потерял это — несчастливое — кольцо, что, впрочем, не помогло...

Смоленский — Зинаиде Шаховской: «Начиная с 18 лет воевал с большевиками в Добровольческой армии, с которой и эвакуировался из Крыма в 20-м году. Два года жил в Африке, в Тунисе, где и начал впервые писать стихи, потом приехал во Францию, года два работал на металлургических и автомобильных заводах. Потом получил стипен-

дию, кончил в Париже гимназию, учился в Сорбонне и коммерческой академии. Теперь служу бухгалтером в одном винном деле, или, как говорит Ходасевич, — "читаю чужие бутылки"... Женат. Имею красивого сына. Вот, кажется, и все».

В «Полях Елисейских» и в почтенные лета не сумевший свыкнуться с несовершенством человеческой природы Яновский «вспомнит всё»: «Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудой девицей. Тогда он пел стихи о "ласточке белогрудой"... Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький, смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о "пьяном поэте" и что "каждая ночь бесконечна". <...> В характере Смоленского было нечто объединявшее его с Ивановым и Злобиным — моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и вкусом повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшимся на этот счет, Смоленский действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое». Ничего и никаким числом это на самом деле не объясняет, ибо умер Смоленский, как впоследствии и Венедикт Ерофеев, от рака горла, 60 лет от роду, что молодостью, даже при самой оптимистической жизненной позиции, не назовешь.

«Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без отдаленного ее присутствия. Это, конечно, не значит, что слово "смерть" должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, "морбидны". Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти. <...> Правда, по Платону смерть — источник и побуждение философии. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, о чем поэзия, к чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной улады. Только и всего». Это мнение Адамовича (Комментарии, издание Камкина 1967 года, с. 110). Смерть, как писал Вл.Янкевич (в La Mort), абсолютная «апоэзия», она «навязывает молчание», но ведь в этой «невозможности поэзии», в этих «двух-трех последних словах» сосредоточена самая ее суть, пронзительная и невыразимая.

Вот еще зовет вдали и плачет,
Вот уже и вовсе не слышна.
Тишина... Но разве это значит,
Что умолкла навсегда она?

Д.Кленовский

Насчет же гнильцы — не очень понятно, что Яновский имеет в виду. Рассуждения на тему «гений и злодейство» стары как мир, и Василий Семенович даже не замечает, что сам себе противоречит: в одном месте его книги мы с удивлением читаем чуть не восторженный пассаж о Прусте: «Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман» (ай, какой молодец!), а в другом — с таким же удивлением видим грубую диффамацию в адрес людей не менее талантливых, чем Пруст, но до обустройства на паях гомосексуального публичного дома все же не докатившихся: «Г. Иванов — человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются... Такого сорта монстры (sic!) встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же "аморальной" семье». Все это больше похоже на какое-то детское сведение счетов, средни пресловутому до краев полному ночному горшку, выставленному Буниным в переднюю (по злорадному свидетельству Берберовой), так что на этом «скользкую» тему можно закрыть и перейти собственно к стихам.

Печататься Смоленский начал сравнительно поздно, в 28 лет, в Париже, в «Сборниках» Союза молодых поэтов и писателей; на дворе тогда стоял 1929 год. А первый «самоличный» сборник его стихов, «Закат», вышел в парижском издательстве «Я.Поволоцкий и Ко» в 1931 году, — тоненькая брошюра на скверной бумаге. В нем ровно сорок стихотворений, большей частью коротких, в две-четыре строфы. Ходасевич на эту книгу отозвался так: «В небольшой книжке Смоленский сосредоточил то, что разрозненно бродит по стихам весьма и весьма многих его современников, а в той или иной степени присутствует, может быть, у всех... Можно сказать, что Смоленскому посчастливилось написать книжку, чрезвычайно показательную для его поэтической эпохи... Стихи Смоленского очень умелы, изящны, тонки, — по нынешним временам даже на редкость».

Будут жить в тесноте — тесной станет земля, как тюрьма, —
 Будут знать, что ни Бога, ни ада, ни вечности нет,
 Выше туч из бетона и стали построят дома,
 И большой дирижабль долетит до далёких планет.
 И когда зазвонит над кружащимся миром труба,
 И когда над землёй небеса распахнутся как двери,
 И погаснут огни, и откроются в склепах гроба —
 То никто ничего не поймёт и никто не поверит...

(1929)

Стихи, собранные в этой книге (не исключая и редкие относительно слабые, и некоторые изысканно-подражательные стихотворения), завораживают удивительно простым и удивительно своеобразным голосом, исполненным тою мерой, которой невозможно научиться, — она либо есть, либо ее никогда не будет, сколько ни старайся. В не слишком пронизательной и довольно поверхностно написанной рецензии на «Закат» «Стихи В.Смоленского» (газета «Последние новости», 1932, 21 января, № 3956) Адамович не спорит с тем, что «у Смоленского есть талант, у других его нет» (подразумевая, и совершенно правильно, что в поэзии талант — штука необходимая, без него и говорить не о чем, но далеко не достаточная, — это лишь первый шаг, первая ступень посвящения), и выражает свое чувство: «...Стихи его обладают особым свойством "нравиться": иногда видишь даже их слабости, замечаешь недостатки, — но стихи все-таки кажутся хорошими, удачными благодаря пронизывающей их музыкальной прелести».

Нина Берберова и Смоленский (Коша, как называли его друзья) были ровесники, притом родились чуть не в один день, в конце июля 1901 года, — Нина Николаевна в Петербурге, Владимир Алексеевич на Дону, под Луганском. Из «Курсива» Берберовой: «...В Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский наверное их не читал, смутно знал эти имена... Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию (а своеобразия-то у него было меньше, чем у других). Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него». Берберовой Смоленский посвятит одно из стихотворений своего первого сборника.

У наглухо закрытого окна
 Стоишь ты, неподвижна и бледна,
 Ты смотришь вдаль. И по твоим губам
 Скользит улыбка. Что ты видишь там,

За этой тишиной и темнотой?
 Какою невозможною мечтой?
 Ты сердце ослабевшее пьянишь?
 Какое ожидание таишь?
 Какою радостью душа живет?

Так умирающий бессмертья ждет,
 Так иногда слепому снится сон,
 Что он прозрел, что солнце видит он,
 И у него тогда — о, ложь и страх! —
 Такая же улыбка на губах.

(1930)

Когда я говорю о своеобразном голосе Смоленского, я имею в виду совсем не то, что Берберова, — не поэтику, не формальное и тематическое своеобразие, здесь Смоленский, действительно, вряд ли открыл что-то новое, — но некое надсмисленное своеобычие, тот самый «голос приглушенный», о котором позже скажет Адамович, голос, по которому сразу узнаешь стихотворение Смоленского; благодаря ему даже и проходные его стихи не вызывают равнодушия, но необъяснимо трогают, как трогали раньше и трогают по сию пору многие неряшливые и, может быть, «не имеющие художественной ценности» стихи Блока (в противоположность, например, искусно выделанным, но лишенным этого печального очарования оеувг'ам Брюсова).

Нам снятся сны, но мы не верим им,
 Не понимаем знаменья Господне,
 Вчерашний сон развеется, как дым,
 Его не в силах вспомнить мы сегодня.

Вот так и жизнь земную — в смертный час
 Мы, коченея на холодном ложе,
 Смежая веки изумленных глаз, —
 Ни вспомнить, ни понять не сможем.

(1930)

Тут приходят на память Случевский, Фет... «Жизнь пронеслась без явного следа, Душа рвалась — кто скажет мне куда? С какой заранее избранною целью?..» Кто скажет? Никто не скажет, кроме поэта. Говорить простыми словами о самом главном — вот, пожалуй, простое поэтическое credo Смоленского. Простое по формуле, но трудное в выполнении, ибо поэзия при такой сверхзадаче пресуществляется в жизнь. Берберова вспоминает: «Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье и небольшой талант свой не развил, вероятно, оттого, что был неумен, был эклектик и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на тысячу лет затвердела и в старой своей

просодии, и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятиям — жили Блок и Л. Андреев, а вернее всего — Ап. Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след». Раздражение Берберовой, женщины волевой и целеустремленной, конечно, понять можно: она знала, что говорит; и когда нечто из того же ряда навалилось на нее саму, она... сварила борщ на неделю, заштопала своему гению носки и — была такова. Но прожив десять лет с поэтом, знала ли она, что такое поэт? Вопрос без ответа. Однако рассуждения о «затвердевшей просодии» сейчас не могут не вызвать улыбки — с высоты «неутешительного знания» о том, в какой бесконечный тупик залезла нынешняя, «гибкая», просодия.

Разбрасывать и собирать слова,
 Уже почти без смысла и значенья,
 Уже без страсти и без вдохновенья,
 Уже без боли и без торжества.

И почерком разборчивым вписать
 В тетрадь еще пять-шесть коротких строчек,
 И не забыть ни запятых, ни точек.
 Перечитать и отложить тетрадь.

Изнемогая в медленной борьбе,
 Где победить и незачем и нечем,
 Всё больше горбить сгорбленные плечи,
 Всё равнодушной думать о себе

И о других. Так, продолжая жить
 Уже с полузакрытыми глазами,
 Почти непогрешимыми словами
 Научишься о жизни говорить.

Это стихотворение из второго сборника Смоленского «Наедине», вышедшего в издательстве «Современные записки» в 1938 году. Если взять в расчет существовавшие идеологические, эстетические и «человеческие» разногласия между поэтами «парижской ноты» и группы «Перекресток» (что во многом «человеческими» же причинами и объясняется; тут и масонство, в том числе Адамовича — вдохновителя «ноты», Ю. Терапиано, и «вероотступничество» последнего, и, что

греха таить, нетрадиционные сексуальные наклонности, владевшие, к примеру, тем же Адамовичем, Штейгером, и литературно-бытовая свара между Ходасевичем и «двумя Жоржиками» — Ивановым и Адамовичем, часто с переходом на личности, ворошение всякого «компромата», вроде леденящего кровь убийства — то ли богатой старушки, а не то старичка — в Петрограде, на Почтамтской, 20, в доме, принадлежавшем мадам Беллей, тетке Адамовича, и проч. и проч. все в таком роде), если учесть, повторю, разногласия между двумя «школами», «течениями», смотрите, насколько в унисон звучат вышеприведенные строки Смоленского со старым стихотворением Адамовича:

Плачь, и земную грусть, и отблески любви,
 Дни хмурые, утра, тяжёлое похмелье, —
 Всё в сердце береги, как медленное зелье.
 И, может, к старости, без сил, ты встретишь срок
 Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
 Чтоб их в полубреду потом твердил влюблённый,
 Растерянно шептал на казнь приговорённый

Адамович написал его еще до эмиграции, в 1919 году, и позже немного переделал (вместо слов «...к старости, без сил, ты встретишь срок» поставил «...к старости тебе настанет срок»). Но для Георгия Викторовича этого рода большая поэзия была литературным упражнением, стихотворным переложением идеи, извлеченной из «Записок Мальте Лауридса Бригге» Рильке. И только много позже, в 1967 году, пройдя свой путь изгнания, многое поняв и сказав (а многое не успев), он вслед за Смоленским, к тому времени уже давно ушедшим из жизни, повторит в стихах то, о чем всю свою эмигрантскую жизнь говорил как мыслитель и критик — и в Литературных беседах, и в Комментариях, — о «невозможности поэзии», о том, что «настоящих слов в языке нет»:

Ни музыки, ни мысли... ничего.
 Тебе давно чистописанья мало,
 Тебе давно игрой унылой стало,
 Что для других — и путь, и торжество.

Удивительно, что «влиятельная» критика — Ходасевич, Глеб Струве, Бицилли — Смоленского преимущественно хвалила. Хвалил его, хотя и сдержанно и с оговорками, даже Адамович (это с его-то

«сквозным» брюсовским тезисом-императивом, обращенным вообще к поэтам: «Пишите прозу, господа. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле!»). Удивительно это тем, что на излете четвертого десятилетия двадцатого века стихотворец, пишущий твердым метром и в рифму, чуждый модернизму, авангардизму и всякому другому «прогрессивному» -изму, не знающий не только западноевропейской, но и своей родной литературы и потому перепевающий последнюю на все лады, вряд ли мог претендовать на «престижное» место в табели о поэтических рангах. И большим поэтом Смоленского не величали — не было за что. Но куда более высокое звание — поэт божьей милостью — закрепилось за ним сразу.

Не стоило так долго жить,
 Так много знать, так много видеть,
 Чтоб виденное разлюбить,
 Любимое возненавидеть.

Не стоило. — Не возражай,
 Не спорь — ты знаешь цену слова;
 Себя надеждой не смущай
 И ложью не прельщай другого.

Средь тёмных душ, и слов, и числ
 В небесное глядись сиянье
 (Единственный быть может смысл!)
 Земное для существованье

Не для того, чтоб что-то вдруг
 Понять или простить кому-то
 (Всё прощено, мой нищий друг...)
 Но для, чтоб отдалить минуту

Прощания, вот с этим всем
 Ничтожным и прекрасным миром,
 Где в шуме умолкала лира,
 Ненужная ему совсем.

Да, все прощено... В 1934 году в 55-м номере парижского журнала «Современные записки» было напечатано восьмистишие Георгия Иванова, вошедшее позже в «Отплытие на остров Цитеру»:

Звезды синеют. Деревья качаются.
 Вечер как вечер. Зима как зима.
 Все прощено. Ничего не прощается.
 Музыка. Тьма.

Все мы герои и все мы изменники,
 Всем, одинаково, верим словам.
 Что ж, дорогие мои современники,
 Весело вам?

Не правда ли, поражает замечательное созвучие этих стихотворений. И дело здесь не в «тематическом» сходстве, не в совпадении оборотов, но в неопределимом таинственном сродстве; у Смоленского тут, пожалуй, что-то от Поплавского, от его «мне мир невыносим», ивановское же стихотворение наполнено такой красоты музыкой, пронизано таким неземным печально струющимся светом, что о каком-либо подражании либо заимствовании в нем даже думать — кощунство. Однако если Ходасевич по старой соре и считал, что Георгий Иванов «вышел из Фета, причем не самого лучшего», то в отношении Смоленского он держался иного мнения. В «Возрождении» (а где бы еще?!) он писал: «Поэзия Смоленского глубоко современна, но вполне чужда поверхностного новаторства; непогрешимо изящная, проникнутая тонким, порой очень сложным и изысканным мастерством, она отличается той целомудренной сдержанностью, которая неразлучна с подлинностью чувства, с внутреннею правдивостью. В современной русской поэзии Смоленскому принадлежит одно из первых мест». В сборник 1938 года Смоленский поместил и стихотворение, обращенное к Ходасевичу, — пожалуй, одно из лучших в книге:

Всё глуше сон, всё тише голос,
 Слова и рифмы всё бедней, —
 Но на камнях проросший колос
 Прекрасен нищетой своей.

Один, колеблемый ветрами,
 Упорно в вышину стремясь,
 Пронзая слабыми корнями
 Налипшую на камнях грязь,

Он медленно и мерно дышит —
 Живёт — и вот, в осенней мгле,
 Тяжёлое зерно колышет
 На тонком золотом стебле.

Вот так и ты, главу склоняя,
 Чуть слышно, сквозь мечту и бред,
 Им говоришь про вечный свет,
 Простой, как эта жизнь земная.

Пройдет совсем немного времени, несколько месяцев, и он вместе с Владимиром Вейдле, Раевским, Юрием Мандельштамом будет нести гроб Владислава Фелициановича... Смоленский был из «круга» Ходасевича, Терапиано. «Ходасевич любил его не только как человека, но и за его внешность — в нем (как и в Ходасевиче самом) была какая-то природная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе, чем на самом деле был... Ему "посчастливилось": в первый год приезда в Париж он получил стипендию, окончил счетоводные курсы и служил бухгалтером в крупном предприятии. Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы ("младшие") в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда и у цыган, в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции и где красавица Маруся Дмитриевич (рано умершая) всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать, конечно, никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд (булка, проложенная лепестком колбасы) в одно из кафе на бульваре, открытое до утра» (Н. Берберова).

Шампанское, и водка, и абсент,
 И музыка, и запах ресторана —
 Затянутая в смокинг обезьяна
 Старухе шепчет сальный комплимент.

Поёт цыган, а важный метрдотель
 Склоняется к икающим влюбленным —
 Карману и душе опустошённым
 Должно быть вреден благодатный хмель.

Он жжёт огнём свинцовые сердца,
 Их прочный мир шатается и тает,
 Обломанные когти выпускает
 Придушенная совесть подлеца.

Уйдём, мой друг, отсюда навсегда,
Мы тоже пьяны, но совсем иначе...
Уйдём скорей, иль ты опять заплачешь
От боли, отвращения и стыда.

Откроем дверь, пусть ветер пробежит
По волосам, по тихим струнам лиры,
Пусть мир иной, страдающий и сирий,
Заблудших нас и примет и простит.

Общая тенденция к «полевению» русской эмиграции, наблюдавшаяся с конца 20-х годов, продолжилась и усилилась после 1945 года. Из поэтов до войны вернулись на родину Раиса Спинадель, Цветаева, Эйсер (последний — в 40-м; сейчас по возвращении был арестован и 16 лет провел в лагере и ссылке), после войны взяли советский паспорт и уехали в СССР (большинство — уже в середине 50-х) Ладинский, Бек-Софиев, Екатерина Рейтлингер, Илья Голенищев-Кутузов, Дмитрий Кобяков, Николай Щеголев (не думаю, что список полный). В кругах «творческой интеллигенции» «большевизантство» одних, равно как и коллаборационизм (истинный или мнимый) других, становились причиной разрыва отношений между вчерашними друзьями и единомышленниками (пример — Адамович и Г. Иванов; впрочем, можно только гадать, из-за чего на самом деле они поссорились). В 30-е, в «период обнаженной совести», всюду всем мерещились (и что уж там говорить — неспроста) агенты ОГПУ, НКВД, позже — гестапо, предатели, ренегаты...

Во время войны Смоленский не покидал территорию Франции, не уехал и в свободную зону страны. Позже он напишет в «Воспоминаниях» (1955; опубликовано в 1960): «Было бы отвратительно, если бы большевизм "удался", и в результате русской трагедии, страшных русских страданий, гибели русского духа, гражданеподобные советские рабы, вполне удовлетворяясь мещанским своим благополучием, жрали бы каждый день по бифштексу — догнали бы Америку, — предел чаяний своих обезьяноподобных вождей». Вот за такие мысли и умонастроение к нему прилепился ярлык «коллаборанта». И не только к нему. Берберова вспоминает об Иванове: «После войны он был как-то неофициально и незаметно осужден за свое германофильство. Но он был не германофилом, а потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал». Делать полицмейстером в Смоленске Смоленский не собирался, но «...при оккупации он, как и Мережковские, Иванов, Злобин, "идеологически

расцвел". После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике "Четырнадцать" (или "Тринадцать"?) ни Смоленский, ни Иванов, ни Одоевцева, ни Гишпиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в "Эстафете"» (В. Яновский).

Надо сказать, что к этим вещам в то время относились чрезвычайно болезненно, достаточно было, казалось, невинной мелочи, нелепого и мелкого недоразумения, чтобы оказаться записанным в «приспешники»; выписаться же оттуда было трудно и хлопотно. «Коллабой» могли попенять кому угодно из тех, кто в войну жил в Европе, совсем «чистеньких» было не так уж и много; не избежала, кстати, этих упреков и Берберова (но это — отдельная тема). А если кто-то, что называется, «был замечен», на него вешали всех собак. Так, у Дон-Аминадо в «Поезде на третьем пути» читаем: «В этот страшный сорок второй год сделки с совестью совершались не ежедневно, а ежеминутно, и все эти бесчисленные Роцины, Любимовы, Лоллии Львовы, Жеребковы, графини Чернышевы и Солоневичи бесстыдно лизали немецкие ботфорты и ездили в полоненные русские города издавать газеты и просвещать "освобожденный" народ, а Дмитрий Сергеевич Мережковский истошным голосом вопил и кликушествовал во все микрофоны германского штаба...» Мережковский действительно в июне 1941-го, живя в «поганом» Биаррице, выступил по местному радио с панегириком в адрес Гитлера, однако в 1942 году вопить истошным голосом он мог разве что с того света, поскольку 7 декабря 1941 года он умер. Словом, как в бородатом анекдоте: «Подсудимый виновен, ибо хотя в момент совершения преступления его и не было в городе, но, если бы он там был, он бы его обязательно совершил».

Не вся правда и в словах о «бойкотировании» парижанами Смоленского и других, кого упомянул Яновский, — кто-то, может, и бойкотировал, однако в альманахе «Орион», который выпустили в 1947 году Смоленский, Юрий Одарченко и Анатолий Шайкевич (он вышел почти в одно время с «Эстафетой»), были напечатаны, помимо прочих, стихи Г. Иванова (десять стихотворений!), Адамовича, Одоевцевой (семь стихотворений!), Ладинского, Г. Раевского (брата Н. Оцупа), Дряхлова, Бек-Софиева, Одарченко, Туроверова, произведения (проза) Бунина, Зайцева, Ремизова, Берберовой, Тэффи, отрывки из «Ночных дорог» Газданова, воспоминания В. Злобина о Мережковском и З. Гишпиус (сам Смоленский кроме восьми стихотворений поместил в альманахе и свой перевод со старофранцузского первой главы «Тристана и Изольды»).

Так или иначе, но третья книга стихов Смоленского выходит только в 1957 году. Называется она «Счастье». «Собственно счастья или того, что счастьем зовется, в книге не много. Лишь первые проблески...» — скажет в своей несколько сумбурной рецензии В. Злобин («Возрождение»,

1957, № 70). По воспоминаниям Яновского, «перед войной на Монпарнасе начала появляться красивая сухая блондинка, новая невеста, затем жена Смоленского. Говорили, что она религиозно настроена и собирается «спасти» поэта». В одном из интервью Игорь Чиннов рассказывал: «Завсегдаем померанцевских вечеров (на квартире у К.Д. Померанцева после войны собирались по четвергам многие русские, преимущественно из эмиграции первой волны: Бунин, Берберова, Газданов, Зайцев, Г. Иванов, Одоевцева, Адамович, Александр Гингер, Анна Присманова, литературовед Георгий Мейер, художник Сергей Шаршун и др.) был Владимир Смоленский, ученик В. Ходасевича и очень талантливый поэт, с широким дыханием, поэт-романтик, к счастью не унаследовавший от своего учителя его желчи и скептицизма. И слава Богу: пусть Ходасевич остается Ходасевичем, а Смоленский — Смоленским. Я был и у Смоленских и хорошо помню его жену Таисию Ивановну. Оба они были очень хорошими людьми...»

Начинается «Счастье» семью стихотворениями, посвященными Таисии Смоленской, которые весьма сильны, — даже на фоне традиционно высокого уровня русской поэзии тех и предшествующих лет вне России, — хотя и почти пригодны для того, что Терапиано называл «мелодекламацией с надрывом». Но Смоленскому уже не до декламации, это уже не «молодой казак-литератор», не «поэт *maudit*», собирающий полные залы и понуждающий чтением своих стихов рыдать чувствительных девиц в голос; это несчастный, бедный и больной человек, уже, быть может, и не ищущий «последнего смысла», уже открывший, быть может, трудную и страшную и такую простую истину, что никакого смысла никогда не было и нет.

Душа во мгле проснулась,
И заскулил щенок,
И, в облаках, метнулась
Луна, куда-то вбок.

И дождик чуть закапал,
И мутной пеленой
Покрылся мир, заплакал
Младенец за стеной.

Какая в мире слабость,
Безвыходность, тоска...
Бредёт по лужам баба,
Глядит на облака;

Мужик стругает палку
Зазубренным ножом,
Дымок струится жалкий
Над скудным очагом.

И то сильней, то тише
Дождь льётся без конца
На серенькие крыши,
На нищие сердца.

«Во всех своих бедах он всегда был виноват сам, знал это и не собирался меняться; я называла это его свойство "пьяным фатализмом", и сердилась на него, и уговаривала его "все бросить", "начать сызнова", "послать все к черту". Он качал головой. Отними у него страдание, что у него останется? Из чего будет он делать стихи?» (Н. Берберова). Ну, что ж поделает, если, как говорил Григорий Ландау, «в культуре основанием служит вершина». Во всех смыслах, и в самом страшном... А в «богомерзком» Йере умирал Георгий Иванов — этаким «йеромонахом», в богадельне, в обществе... дряхлых испанских коммунистов, бежавших еще в 1938 году во Францию от преследований франкистского режима. Мучился, как в свое время Рембо в Адене, от дикой жары, перекраивал наново старые свои стихотворения, что-то писал — порой чудесные стихи — ужасным своим почерком и сам уже путал драму с дрёмой (плюясь на глупую ивасковскую опечатку), а страдание с сиянием.

Еще в начале 30-х Петр Бицилли, мудрый, приметливый и справедливый (который в 1936-м во всем альманахе «Якорь», «надежды символе», отыщет единственное «прегрешение против русской грамматики» — строку Смоленского «Сквозь толпу торгующих святошей»), отмечал формальную (в определенной степени подражательную) схожесть стихов Смоленского со стихами Георгия Иванова. Стихи Смоленского 50-х годов гораздо ближе к стихам позднего Иванова, конгениальны им, родственны им по духу; они стали сдержаннее и приглушеннее, «сияние» в них — такая же законная «лирическая константа», меньше стало патетики и выпренности, куда тише придавливается «педадь» (любимое словцо Адамовича), и лишь практически полное отсутствие иронии у Смоленского принципиально различает этих двух поэтов. Отчаянье превратить в игру? — в эти игры он уже не играет, преобразить гибель в торжество? — что ж, это сделают и без него. Он живет одной минутой, и минут этих осталось не так много.

Весенний холод, улочка Парижа
И кабачок знакомый на углу...
Всё дальше жизнь уходит, смерть всё ближе,
Всё равнодушной я к добру и злу.

Конечно, зла старался я не делать,
Но вижу, что не сделал и добра, —
Писал стихи, на острие пера
Душа в слезах чернильных холодела.

Что эти слёзы? — расплылись стихом,
Читатель их какой-нибудь читает...
А вот слеза, что по щеке тайком,
Стыдятся, скользит, мне душу обжигает.

«Когда я вернулась летом 1960 года в Париж (после десяти лет отсутствия), — вспоминает Н. Берберова, — у него был рак горла, и в середине горла была проделана доктором дырочка, и там что-то хрипело, говорить ему было запрещено. Я вспомнила, как он много лет подряд на вопрос "как живешь? как поживаешь?" неизменно отвечал: "Медленным смертием"... Лицо у него было теперь чужое: красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и все время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он все так же выглядел на десять лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать его жены, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора; ванная была грязна, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние».

Умер Владимир Смоленский 8 ноября 1961 года в Париже. Умершего Чехова ждало «триумфальное» возвращение на родину — в вагоне из-под устриц. Смоленский, конечно, не удостоился и этого. Одна кумирша современной молодежи, наиболее жизнерадостной ее части, сказала недавно из телевизора: «Терпеть не могу Чехова!» Она бы так же возненавидела и Смоленского, но она его не знает. И слава Богу.

И не прощённо, не раскаянно,
В гордыне, ужасе и зле
И в страхе бродит племя Каина
По русской авельской земле.

В 1963 году в Париже вышел посмертный сборник его стихов. Маленькая книжка, изданная его вдовой, Таисией Павловой. Наверное, он очень хотел дожить до весны, поэт с перерезанным горлом.

Брось книгу на пол, отвернись к стене
И, чувствуя тоску и холод в теле,
Уже сквозь сон, подумай о весне,
Которая придёт в конце апреля.

Ты будешь ли ещё смотреть в окно,
Иль будешь ты уже лежать в могиле, —
Участвовать ты будешь всё равно
В её красе и радости и силе.

О гибели страны единственной он горевал всегда, Россия для него была домом — разрушенным домом, святым и невосполнимым. На глазах его был убит его отец, казачий полковник, расстрелян красными прямо во дворе собственной усадьбы. Да, шла война... Но нельзя разрушить храм, уничтожить его жрецов и паству, а потом, на его месте, построить новый, с виду такой же, и населить его новым людом и новыми местоблюстителями, да еще потомками прежних убийц. Россия, ставшая аббревиатурой (тогда — СССР, нынче — РФ), и была для поэта огромной, многотрадальной землей, на которой уже не народ-богоносец живет и возносит хвалу Господу, но дикий сброд, навеки проклятый Богом, влачит свое жалкое существование. И счастья здесь уже не будет, ему просто здесь неоткуда взяться, за ним нужно идти туда, где всегда светит мягким светом закатное солнце и где с тобою пребудет все, что ты любил, — все, что ушло от тебя в недостижимую вечность.

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.

Давно был этот дом построен,
 Давно уже разрушен он,
 Но, как всегда, высок и строен,
 Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря,
 Без страха смотрит с высоты,
 Как проступают там, в лазури,
 Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы,
 И чтоб его поцеловать,
 Из залы, или из могилы,
 Выходит, улыбаясь, мать.

И вот стоят навеки вместе
 Они среди своих полей,
 И, как жених своей невесте,
 Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый
 Прислушивается, к чему —
 Не знает сам, и роза в вазе
 Бессмертной кажется ему.

*Февраль — май 2008 г.
 («Крещатик», 2008, № 3 (41), с. 323—338.)*

Я БЫЛ БОЛГАРИНОМ ПОЛГОДА...

*...Это страшно — всю жизнь ускользать,
 Уходить, убежать от ответа.
 Быть единственным — а написать
 Совершенно другого поэта.*

В. Соколов, 1976

А теперь, не успев еще и начать, сразу предлагаю сговориться об одной вещи: то, что мы будем говорить здесь о поэте Владимире Соколове, мы будем говорить о поэте Владимире Соколове, а не о том, каким бы кому-то хотелось видеть поэта Владимира Соколова — даже из самых благих побуждений. Иными словами, предлагается (для некоторого разнообразия) поговорить честно и серьезно о поэте, о поэтах, о поэзии... Классик при жизни, лауреат Государственных премий, — если это греет душу — так! И в мысли не заберем отрицать очевидные факты! Однако надобно отметить, что деятельность, направленная на побронзовение при жизни, — это одно; стать же классиком после жизни — это совсем другое. И классиком не того рода, когда ты олицетворяешь определенную идеологию, тенденцию и после своей безвременной кончины продолжаешь быть нужен оставшимся у ветрил проводникам в жизнь этой идеологии (как в случае с Маяковским), выпуклолобым филологом, защищающим на тебе свои проворные диссертации, да мучить детишек в школах, с тихой ненавистью вынужденных заучивать твои блистательные опусы *by heart*. С чем ассоциируется у современного человека, совокупно воспринявшего русскоязычную культуру последних десятилетий, такой всецело замечательный советский поэт, как Михаил Светлов? Увы, боюсь, что исключительно с пароходом из фильма «Бриллиантовая рука». «Хоть так бы!» — скажет кто-нибудь. Ну, если разве что вот только так...

*...И, может, к старости тебе настанет срок
 Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
 Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
 Растерянно шептал на казнь приговоренный,
 И чтобы музыкой глухой они прошли
 По странам и морям тоскующей земли.*

В этих словах Адамовича — сколько от правды, столько и от трепетной поэтической мечты. От мечты, ибо как поэтов в каждое столетие рождается (слава Богу) несколько лишь человек, так и людей, способных чувствовать поэзию, — не намного, не принципиально больше (Господь ведь заботится о жизнеспособности вида); по-настоящему поэзия никому не нужна: коли подслушать, что там на деле шепчут влюбленные и приговоренные в своем полубреду, вылезут вещи, упованиям Георгия Викторовича ни в малейшей степени не отвечающие. Ну а от правды... поскольку это — частью и правда, какой бы она ни казалась странной и никчемной (бывает ли никчемная правда?!)... Впрочем, «питайте отвращение к плохой музыке, но не презирайте ее, — мечты и слезы людей ее пропитали; уважайте ее за это» (Пруст). Вот так вот! Имейте мудрость исполниться уважения и к скверной музыке, и к великому пиитическому Чернильному морю, а заодно к тем, кто это море совместными ритмическими усилиями налил!..

Начинал свою «творческую карьеру» Владимир Соколов в обстоятельствах, очень удобных для человека, обладающего от природы немудрящей способностью к версификации и вместе с тем не чуждого здорового честолюбию; для человека же, желающего быть и во что бы то ни стало оставаться поэтом, эти обстоятельства были, напротив, чрезвычайно неудобны. В итоге сказалось и то, и другое: и лаурятство вкупе с некогда вожденным членством в Союзе писателей было достигнуто, и, как и другим советским деятелям культуры, простите за штамп, бессмертной душой приторгнуть довелось. По словам поэта Игоря Большаева, «что такое официальная советская поэзия 60-х и далее годов? Что-то вроде детского сада. Вот вам, дети, книжки-раскраски и давайте — раскрашивайте. Ты раскрась картинку про электрификацию, а ты — про дедушку Ленина. Только, смотри, аккуратней. Бесконечные сочинения на заданные темы...» Сущая правда, к которой можно лишь добавить, что все это было не очень-то «детский сад»: от этого детского сада люди и стрелялись, и из окон кидались...

Довелось пораскрашивать сии детские ужасики и Владимиру Соколову. В 1947 году он поступает в Литературный институт и «прикрепляется» к семинару поэта В.В. Казина. Общеизвестный факт биографии Соколова; а вот вы читали ли когда-нибудь поэта Казина? Нет? Извольте полюбопытствовать:

...Я в то мгновенье острой мукой
Глубоко сердце занозил
И после тихую разлукой
Тебя глубоко запылл.

И вот сегодня шум свиданья —
И ты, кудрявись второпях,
Взвиваешь теплые воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.

Василий Васильевич написал это в 1920 году, и без малого три десятилетия спустя это, верно, уже успело стать классикой и подавалось, по обычаю литвузовских семинаров, как образец для подражания... Словом, взвивая теплые воспоминанья, условий для того, чтобы студенты не поворотились в сторону такой же кудрявой поэзии, почти что и не было... Существовали и другие злободневные темы. «Студентами 1-го курса были недавние фронтовики, — вспоминает сам Соколов. — Поэтому мысль о том, что делал я тогда? — ставшая постоянной, привела меня к стихотворению "Памяти товарища", которое оказалось моим поэтическим паспортом и первым моим опубликованным стихотворением. Появилось оно летом 1948 года в «Комсомольской правде» на полосе, посвященной творчеству поэтов Литинститута. Мне объяснили, что я открыл новую тему — военное детство (Соколов родился в 1928-м) и что я должен ее форсировать. Но это было бы чересчур сознательным отношением к творчеству. И если я написал затем еще несколько стихотворений о детстве военном, то написал я их так же непреднамеренно, как и все остальные стихи того времени». То есть мысль, «ставшая постоянной», была, но в стихах она воплощалась непреднамеренно...

Позднее, в стихотворении «Шипка», Соколов скажет:

Я был болгариним полгода.
Текла весенняя вода.
Шумела южная природа
О том, что это навсегда.

И шли в душе дожди косые
И начинался листопад...
Вдали от пристальной России
Любой березке был я рад...

А в это время в действительной дали «от пристальной России» жили другие — не советские, — но тоже русские люди, и в их душах тоже шли «дожди косые», и некоторые из них по странному совпадению тоже писали стихи, и у некоторых из них получалось даже не хуже, чем у Владимира Соколова и его товарищей по советскому поэтическому цеху... Коли речь зашла о листопаде, вспомним Ивана Алексеевича Бунина.

«...Но Бунин резко отстраняет помощников широким жестом — не мешайте, сам могу! — и уже легко поднимается на крыльцо, хмурясь и брезгливо морщась. — Дрянная погода! Черт знает что. Я говорил, не стоило приезжать, — произносит он сквозь зубы. Увидя меня и Георгия Иванова: — А, и вы здесь? Пррриехали! Ну здррравствуйте! Здррравствуйте! — передразнивая меня. — И вы — болгарин — здравствуйте. Наверное, тоже жалеете, что приехали сюда? Чертовски скучаете, а?..»

Это из воспоминаний Ирины Одоевцевой. По еще одному странному совпадению, «болгарином» Бунин звал Георгия Иванова. Не по национальной принадлежности, скорее, иронически, — просто отец Иванова какое-то время служил кем-то вроде флигель-адъютанта при болгарском короле (правильнее — князе) Александре Баттенберге. Конечно, не был болгарин и Соколов, но страну эту он любил, — родом из Болгарии его жена, Хенриэтта Попова. А вот тут начинаются какие-то страшные параллели: отец Георгия Иванова покончил жизнь самоубийством, выбросившись на ходу из поезда; выбросилась из окна жена Соколова Хенриэтта, оставив ему двоих маленьких детей... «Я был болгарин полгода...»

...Талант поэта в корне отличен от таланта прозаика или, допустим, драматурга. Или салонного, светского художника. Талант поэта — в полном отсутствии таланта как его обычно понимают. Стереотипное представление о таланте — это самобытность, своеобычие, «самость» со всеми прилагающимися, несомненно, полезными качествами: фантазией, живостью (пера, резца, кисти и т. д.), легко приходящим и долго не покидающим вдохновением и проч. и проч. Для поэта — ежели только он не придворный или какой-то в таком роде поэт — все это не годится.

Помните, у Чехова в рассказе «Святою ночью»? — умер человек, у которого был странный, никому не нужный и не любопытный, раздражающий даже своею никчемностью дар: он мог писать акафисты. « — А разве акафисты трудно писать? — спросил я. — Большая трудность... — покрутил головой Иероним». Конечно же, акафист здесь у Чехова — метафора поэзии как высшего рода творчества. Поэзия ведь совсем не то, за что ее принимают сейчас, — не холодное виршеслагательство, не конструирование стихосодержащих текстов на основе вполне рациональной теории и многосотлетней практики версификации.

Поэзия — это истинная вера, любовь и сострадание, томление по Господу. Она, как жизнь, — мучительно-сладкий «недуг бытия» (Боратынский), ежеминутная необъяснимая боль, с которой постепенно сживаешься, но которую так никогда и не научаешься ни терпеть, ни победить, поэзия — страх за тех, кого любишь, великая ответственность перед ними, перед совестью и Господом, поэзия — ослепительный свет благодати Господней, затмевающий бранные очеса и дарующий духовное прозрение.

В глубине, на самом дне сознания,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня.

Это Георгий Иванов... Зададимся теперь вопросом: что есть икона зримая? Св. Дионисий Ареопагит учит: иконы суть «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ». Икона — окно в иной мир. «Иконостас, — писал Павел Флоренский, — есть сами святые. И если бы все молящиеся в храме были достаточно одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было видящим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих самому Богу свидетелей Его, своими ликами и своими словами возвещающих Его страшное и славное присутствие, в храме и не было бы... Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже и не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог"».

Настоящая, неподдельная поэзия есть Божиим словом творимая икона. Каждое талантливое лирическое стихотворение — новое свидетельство бытия Господня. Не каждому дарована чудесная способность услышать сию икону, только нецинический, доверчивый, наивный, верящий, верующий человек, человек с незамутненной душой, чутко вслушивающийся незачерствелым сердцем в слова, идущие от другого сопереживающего сердца, — следственно, от Господа, — способен к этому. И выходит, что для поэта, как и для иконописца, важно строгое,

неукоснительное следование духовному канону, который — в его сердце, а не фантазии, подсказываемой ему его разумом. Это объясняет, почему графомания всегда чрезвычайно разнообразна и многолика, хорошие же стихи кажутся написанными одним и тем же автором. Это же объясняет и то, почему в нашу «фельетонную эпоху» (Гессе), эпоху замаранных сердец, скукоженных душ и изошренного разума, поэзия никому не нужна...

В Святом Писании сказано: «Молящиеся же не лишше глаголите, якоже язычници: мнят бо, яко во многоглаголании своем услышани будут: не подобитеся убо им: вестъ бо Отецъ ваш, ихже требуете, прежде прошения вашего». Обратиться к Богу, чтобы быть Им услышанным, равно и к сердцу человеческому, — чтоб услышало оно, услышало и защемило и через боль стало хоть немного чище, — великое искусство. Тут не пособны ни напористость витии, ни многоглаголание, тут надобны особые слова. То есть слова-то самые обычные, человеческие, но вот как их расставить, как зажечь в них тот, незримый, огонь — великая тайна... Сим тайным искусством врачевания недугующих (вечно, всегда недугующих!) душ владеет поэт.

Та школа, которую проходил сызмала Владимир Соколов, вряд ли располагала к осознанию, к пониманию этих вещей. Да и «понимать — худший исход, когда нельзя уже непосредственно воспринимать» (Бергсон). Государственный атеизм, порушенные храмы, единственно верная и все на свете объясняющая идеология, опаленное войною детство, старшие друзья-фронтовики, несшие свою страшную, выстраданную правду и, безусловно, имевшие право на то, чтобы их правда — правда народа — стала определяющей во всем. Но поэзия — не всё, она вне всего, надо всем, — над правдой и ложью, над миром, над людьми, над народами, над временем и судьбой, над поэтом, — «смутная, чудная музыка, слышная только ему»; и чтобы уметь почувствовать это, слышать эту музыку, требуются годы. Не зря Варлам Шаламов говорил, что «поэзия — дело седых».

...Спасибо, музыка, за то,
Что ты единственное чудо,
Что ты душа, а не причуда,
Что для кого-то ты ничто...

И все же, видит Бог, Владимир Соколов все, что нужно, чувствовал изначально, — пускай смутную, едва-едва слышную приходила к нему эта несуществующая музыка, — и все же слышал он ее изначально. Вот смотрите: 1945 год, ликование, пафос великой Победы; и что же он пишет?

Я люблю незнакомые улицы,
А особенно осенью в дождь,
Когда небо темнеет и хмурится,
Пробегаешь деревьями дрожь.

А по крышам блестящим и мокрым
Дождик каплями крупными бьёт.
По мутнеющим, плачущим стёклам
За слезинкой слезинка ползёт.

Пляшут капли на крышах блестящих,
И струятся ручьи и журчат.
На деревьях, стволами скрипящих,
Бледно-жёлтые листья шумят...

Это хорошо, это печально и не умно, это чудесно и... необъяснимо, чудесно трогает! Это поэзия.

...Про Владимира Соколова можно сказать то же, что и про некоторых других замечательных, огромных русских поэтов — про Анненского, например, про Гумилева, — и звучать это будет отнюдь не как порицание: это недоразвившийся, недораскрывшийся поэт.

Ничего, что вымокла дорога,
Что друзья забыли обо мне,
Что луна задумчиво и строго
На меня глядит, застыв в окне.

Это правда. В рощах листья тают,
Сыплет дождь на поздние стога.
День уже заметно убывает.
Каждая минута дорога.

Здесь Соколову двадцать девять лет. Вся еще жизнь, Бог даст, впереди. Но у поэта иное ощущение времени. И его, времени, всегда не хватает, — не смиренно, не так, что: ну, сколько Господь отмерил, и на том спасибо, — а катастрофически, издевательски не хватает. Это, верно, успел почувствовать Иннокентий Анненский, «в бобрах и накрахмаленном пластроне падая с тупою болью на грязные ступени Царскосельского вокзала»; этот хохочущий в лицо абсурд сполна познал в последние дни жизни Николай Гумилев, накануне ареста намеревавшийся жить «непрерывно до девяноста лет, уж никак не мень-

ше»... Ты можешь тихо и незаметно идти своею общественно значимой стезей, принося людям маленькую, но ощутимую пользу, а себе — маленькое, уютное счастье, — печь хлеба, тачать одежду, строить мосты, мастерить компьютеры и межпланетные летательные аппараты; что же в итоге? — «швы расползутся, рухнет дом», а счастье? счастье такая же иллюзия, как и дома и хлеба и эти глупые межпланетные скорлупки. Ты можешь всю жизнь ровно ничего не делать, мучиться и тосковать — по родине, по женщине, по небывалой жизни, — созерцать, и скучать, и писать стихи — вот как Соколов или Георгий Иванов:

Стоят сады в сияньи белоснежном,
И ветер шелестит дыханьем влажным.

— Поговорим с тобой о самом важном,
О самом страшном и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном:

Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая, —
Вот, наконец, кончается и это...

Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.

И от этого ничего не изменится: и Земля не возьмет в обычай вернуться в другую сторону, и вокруг будет «всё то же, что и было, и будет бесконечно...» И жизнь, однажды данная, будет бессмысленно и неизбежно тянуться до срока, от времени до времени обрываясь зачем-то, — во сне, конечно, не наяву, — может быть, затем, чтобы побольше насолить... И всей этой бессмыслице надобно дать какое-то объяснение, уже по определению не могущее быть более осмысленным, чем сам вопрос.

Кто же способен дать такое объяснение? Религия? Нет, она — в разных ипостасях — много раз пыталась, она не может; религия научает вере — сиречь способу земного существования, и точка... Наука? Даже никогда и не ставила такой цели. Эзотерика? «Мистический путь духовного познания»? Я умоляю!.. Может это только Тот, Кто все это устроил однажды, устроил с какою-то одному Ему ведомою целью. И сколь неприглядна, мучительна земная жизнь, столько непостижима и прекрасна эта цель: она есть истина. Ее нельзя понять, но можно услышать — не ушами, конечно, а духовным слухом, — отрешившись от этого мира и настойчиво вслушиваясь в себя, ибо душа человека

предстоит Господу и весь мир объемлет. Прикосновение к истине, уловление едва слышной «музыки сфер», печальной и прекрасной, — не цель, не задача поэзии (нет у поэзии ни этой, ни какой-либо другой цели!), — но сама поэзия, ее тело и ее душа...

Советский поэтический официоз — помимо идеологических вывертов — битком набит вещами, с поэзией никак не соотносящимися: демагогией, плакатными штампами, патриотической патетикой, пространными и витиеватыми декларациями, плебейской иронией, совдеповским юморком, природным хроническим безвкусием (часто выдающим себя за «глубинный народный язык»), глупостью и элементарным невежеством. Соколов никак уж не относился к «андеграунду» — это был член Союза писателей, лояльный власти печатаемый поэт; и всех вышепоименованных прелестей (за исключением решительно не свойственных ему глупости и невежества), к сожалению, в его «творческом наследии» хватает с избытком. Не хочется приводить очевидных примеров, лучше, наоборот, возьмем стихотворение из разряда обреченных на похвалу, «правильных», прочитав которые... вспоминаешь Щедрина: «Так! — отвечали головотяпы».

СТРАХ

Оставит женщина? Пускай.
Она уйдет недалеко.
Ей превратиться невзначай
В другую женщину легко.

Оставит самый лучший друг?
В лютейшую из всех годин?
Других друзей не счесть вокруг,
Хоть лучший друг всегда один.

И от кончины в трёх верстах
Не затрепещешь — ничего!
Но есть один страшнейший страх,
Поэты знают суть его.

Как перед кладбищем ночным
Страх у мальчонки-пастуха,
Как — умереть и быть живым,
Страх перед жизнью вне стиха.

Страх до чего скверное стихотворение... Нужно объяснять? Как говаривала Зинаида Гиппиус (чуть переиначивая Г. Ландау): «Если надо объяснять, то не надо объяснять»... Когда читаешь у Осипа Манделштама: «...Прошелестит спелой грозой Ленин, и на земле, что избежит тленья, будет будить разум и жизнь Сталин», или у Ахматовой: «...Мы пришли сказать: где Сталин — там свобода, мир и величие земли», не стыдно ни за Манделштама, ни за Ахматову. Напротив, больно и горько, и чувствуешь бесконечную нежность к этим великим и наивным людям — великим во всем, даже в унижении, — пытающимся выручить из беды себя, своих любимых при помощи этой нарочитой чепухи, не умеющей никого обмануть. И совсем другое — ничем извне не мотивированная пошлость, банальщина, прекраснотупая демагогия в вышеприведенном стихотворении Соколова — в самых худших традициях совдеповской пустопорожней риторики, — вот это по-настоящему гадко и стыдно!

Однако поэт неправильно оценивать по его неудачам, эстетическим и иным просчетам, — все это может быть интересно лишь критику, настроенному предвзято. Поэт раскрывается в редких, пусть единичных, но удачных стихах. У Соколова есть немало крепких, безусловно, достойных произведений, скроенных, что называется, «в уровень» — но не более того. И есть всего несколько стихотворений, ради которых стоило прожить эту жизнь. Всего несколько, но на их фоне все остальное им созданное определено смотрится этаким пиитическим чистописанием, аккуратным салонным бумагомаранием...

Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной...
Должен быть сад,
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.

Должны быть большие сирени —
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.

И чья-то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что всё это канет во мгле.

Чудесные стихи!.. Когда Георгий Иванов увидел одно стихотворение Игоря Чиннова — это было «А помнишь детство, синий сумрак, юг...», он в восхищении воскликнул: «Так и я мог бы сказать!» Приведу полностью эти строки:

— А помнишь детство, синий сумрак, юг,
Бессонницу и тишину — часами —
Когда казалось, будто понял вдруг,
Почти умея выразить словами —

О чём звезда мерцает до утра,
О чём вода трепещет ключевая,
О чём синеют небо и гора,
О чём шиповник пахнет, расцветая...

А кто же сказал: «Пластинка должна быть шипящей, заигранной. Должен быть сад, в акациях так шелестящий, как лет восемнадцать назад...»? Владимир Соколов? Но это мог сказать почти любой хороший поэт — Серебряного века и позже, вплоть до наших дней — почти вне зависимости от поэтических -измов, направлений и школ — и Георгий Иванов, и Адамович, и Ходасевич, и Поплавский, и Штейгер, и Вл. Смоленский, и Кедрин, и Ладинский, и Чиннов, и Осип (а заодно и Юрий, и Роальд) Манделштам, и Арсений Тарковский, и Заболоцкий, и Борис Рыжий, и...

«Пластинка» Владимира Соколова в этом смысле совершенно универсальна: это не стихотворение, но воплощение совершенства — платоновская идея стихотворения, материализовавшаяся и попавшая на землю, при этом чудесным образом ничуть не поступившись своею идеальностью. Не верите? А вот смотрите — это написал Дмитрий Кедрин в 1939 году, за двадцать восемь лет до Соколова:

Когда я уйду, —
Я оставлю мой голос
На чёрном кружке.
Заведи патефон.
И вот, под иголочкой,
Тонкой, как волос,
От гибкой пластинки
Отделится он.

Немножко глухой
И немножко картавый,
Мой голос тебе
Прочитает стихи,
Окликнет по имени,
Спросит: «Устала?»,
Наскажет немало
Смешной чепухи.

И сколько бы ни было
Злого, дурного,
Печалей, обид, —
Ты забудешь о них.
Тебе померещится,
Будто бы снова
Мы ходим в кино,
Разбиваем цветник.

Лицо твоё тронет
Волненья румянец.
Забывшись, ты тихо
Шепнёшь: «Покажись!..»
Пластинка хрипнёт
И окончит свой танец —
Короткий, такой же
Недолгий, как жизнь.

Трудно не заметить близкое родство этих стихотворений — не тематическое, но надсмысленное, надчувственное, вышнее. Чья же «Пластинка» лучше? А ничья не лучше: оба стихотворения идеальны; такое ощущение, что авторы их имели возможность — в волшебном сне, быть может, одним глазком — подсмотреть то, что не дано, не положено видеть и знать человеку... И разница между, например, Георгием Ивановым и Владимиром Соколовым в том, что первый был милостиво допущен лицезреть «тайные и сверхъестественные зрелища», может быть, чуть не еженощно, запоминать и приносить в наш мир их точные словесные копии, а второй — второй допускался туда лишь изредка, вероятно, по большим лишь праздникам... Вот хороший пример. Помните, у Блока? —

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё — равно.
Вон счастье моё — на тройке
В серебристый дым унесено...

Летит на тройке, потонуло
В снегу времен, в дали веков...
И только душу захлестнуло
Серебристой мглой из-под подков...

В глухую темень искры мечет,
От искр всю ночь, всю ночь светло...
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастье прошло...

И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна.
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна.

Чарующее стихотворение, — будто какое-то заклинание... А теперь сравните с ямбами у Соколова:

Мне нравится, что жизнь проходит,
Что мокрый жёлтый лист летит
И что с меня очей не сводит
Ночь под мельканье копыт.

С подков, взблеснув, летят ошмётки
Дорожной грязи и времён...
И вдруг — опушка, лес и кроткий
Вздых льном повеявших сторон.

И, множась в мороси тумана,
Конь, взбрыкивающий без нужды, —
Так просто... спутанный... ночной...

И — независимо и чуждо —
Всем небосводом, без обмана,
Глядящий в душу край родной.

Начиналось все хорошо, но в конце второй строфы что-то засбило, «картинка» стала пропадать («вдохновение», как говорят в народе, кончилось) и... пришлось дописывать самому. А что может человек в одиночку? Да ничего, в сущности, не может. Ну, вот может без нужды утащить у Боратынского «без нужды» — с ударением на «у» (уж брать, так целиком, как Георгий Иванов!). Может «без обмана» сочинить чего-нибудь, какую-нибудь историю, — к примеру, про глядящий в душу край родной. Ее мы и имеем. А стихотворение умерло, ни за понюшку табаку пропало. Жаль...

Поэт — он редко когда праведник. Нам не дано понять, кого и почему Господь выбирает на роль святого, — почтенного ли семьянина или совершенного пропойцу, исполненного христианских добродетелей книгочех или какого-нибудь сэра Чаппеллетто, на котором негде ставить креста. Касательно поэтов бывает по-всякому — и так, и так... Как это у Бориса Рыжего: «...Красивое стихотворенье бормочет уродливым ртом. Бормочет, бормочет, бормочет, бормочет и тает как сон, и с жизнью смирится не хочет, и смерти не ведает он».

Когда случается, что стихи, оставленные нам поэтом, печальны и безумно красивы, а жизнь его — так себе жизнь, so-so, ни то ни сё, биографы пишут посмертное «оправдание жизни» и все прочее, полагающееся в таких случаях. И это правильно, конечно. Но ничего не меняет... «Ты прожил жизнь, ее не замечая, бессмысленно мечтая и скучая...», и делая еще множество неподобных для здравомыслящего человека вещей. Георгий Иванов, как вспоминает с некоторою женскою обидой Одоевцева, «жил, никогда и нигде не работая, а писал, только когда хотел; хотелось же это ему довольно редко». Владимир Соколов был, мягко говоря, тоже не подарок... Но ведь зачем-то все это нужно, и что-то ведь остается после, что неизмеримо важнее всех этих здравомыслящих оснований жизни, важнее самой жизни...

За два десятилетия до рождения Соколова Блок запишет: «Двадцатый век... Ещё бездомней, ещё страшнее жизни мгла...» У Бунина от сентября 30-го числа 1917 года читаем:

...Презренного, дикого века
Свидетелем быть мне дано,
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.

«Счастлив, кто посетил сей мир...» Соколов же, по молодости, в 1950-м, — в духе типичной для того времени совдеповской метромагии, — оптимистически заявляет:

Чего ты хочешь, умный век,
В турбины заключивший воды?

От бед твоих не в стороне,
Я отзовусь, ты лишь покликай.
Ты ошибаешься во мне,
Как и в душе своей великой.

Что же, людям умным свойственно с возрастом умнеть и прозревать, а дар, если это действительно дар, а не случайная прихоть скучающего разума, с возрастом не выдыхается, но крепнет и облагораживается, как старое вино... В 1988 году, в возрасте шестидесяти лет, Соколов создает одно из лучших своих лирических стихотворений:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Я давно уже ангел, наверно,
Потому что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унёс серафим.

Пушкин, Боратынский, Лермонтов, Тютчев, Блок были для Соколова не декларативными, но истинными учителями, — не в школярском, но в высоком смысле: вслушиваясь в неслышную для обычного человека музыку их стихов, он, как по камертону, настраивал душу на нужный лад, на нужную «волну». И что крайне важно, — в чем великое гуманистическое значение творчества Владимира Соколова: он один из тех немногих больших русских поэтов второй половины XX века, кто сумел стать связующим звеном между культурными традициями Серебряного века, а следовательно — пушкинской России, и России современной, кто обеспечил преемственность русской культуры, не позволил прерваться этой слабой и тонкой нити.

«Я был болгариним полгода...» Поэтическое наследие выдающихся русских поэтов — драгоценное достояние народа, коего не иссякает любовь к высокому поэтическому слову. Множатся издания поэтических сборников, организуются конференции, поэтические вечера и встречи любителей поэзии, горячих энтузиастов, со своими кумира-

ми. Проводятся семинары, на которых молодые и средних лет поэты оттачивают свое мастерство, почтительно учась у уважаемых мэтров. Не загухает исполненная высокой духовности жизнь в регионах. Периодически глубинные наши таланты, черноземные и подзолстые самородки, съезжаются в столицу, дабы порадовать культурную общественность своими последними находками на поэтической ниве. Продолжаются интереснейшие исследования ведущих отечественных филологов и стиховедов феномена современной поэзии, а также в области теории стиха, его истории. То и дело открываются новые... Господи, да чушь все это собачья! Не нужна никакому народу никакая поэзия, кроме разве что стёба в духе Вишневского или какого-нибудь Лаэртского. Народу нужно, отвалывая день, в лучшем случае выпить пива и завалиться с детективом на диван — это самая культурная культурная программа, на которую он способен. И все эти поэтические вечера — не что другое, как редкий сплав прохиндеев, тяжелых идиотов и бесповоротных графоманов — невежественных, самодовольных и тщеславных, ревниво внимающих друг другу и заботливо выискивающих друг у друга, подобно как шимпанзе выискивают друг у друга вшей, несурязицу в приготовленных загодя виршах... И вся эта имитация бурной литературной деятельности — не более чем иллюзия. А между тем, быть может, бывают моменты, когда тонкая ниточка этой самой культуры, о которой так любят говорить, не обрывается благодаря лишь одному-двум людям, совершенно не заметным для «культурной общественности». Наверное, в какие-то моменты таким человеком был и Владимир Соколов. «Я был болгарин полгода...» Константином Философом, Мефодием, Георгием Ивановым... Георгий Иванов болгарин прожил большую часть жизни, Соколов — ну что же, полгода. Целых полгода! Иванов — глыба, гений, что сравнивать; но полгода — ведь это очень много, это бесконечно много; это — непонятный большинству, неприметный подвиг. И хотя — да, Соколову всю дорогу пришлось «ускользать, уходить», в итоге выпало «написать совершенно другого поэта» — да, это больно и страшно, — но прожить другую жизнь он все равно бы не смог. И кончим на этом...

*Москва, февраль 2007 г.
(Крещатик, 2007, № 2.)*

ПОЭТ БОРИС РЫЖИЙ

Есть такие вопросы, без ответа на которые прекрасно удается жить. Собственно, прекрасно жить и станет как раз затруднительным занятием, ежели пытаться ответы эти сыскать. Вот один из подобных вопросов: что такое поэзия? Видит Бог — совершенная загадка, хотя все с поэзией так или иначе сталкивались и даже некоей частью ее отягощали свою когда благодарную, чаще скучающую память. Для большинства людей вопрос этот приятен простотой, относительной безопасностью и недокучливой бесполезностью, ибо попадают вопросы бесполезные навязчиво, да вдобавок к тому заковыристые (к примеру: «прозрачный колпак для осветительной аппаратуры из семи букв»), о которые легко вывихнуть голову и незнание существа которых рождает легкие угрызения, начинающиеся обыкновенно мыслью «вот так и помру идиотом...». Для большинства поэзия — это стихи. Любые. Преимущественно, конечно, рифмованные. Сюда же — в поэзию — попадают песни, речевки, рекламные слоганы и застольные здравицы. Этим проблема исчерпывается. Для просвещенного меньшинства, знающего, что есть стихи и стихи, и читавшего в подлиннике, ну, скажем, «Озарения», тоже все давно в достаточной мере устаканилось: от кольриджского «лучшие слова в лучшем порядке», до какой-нибудь многомудрой «просодической дистинкции» или плешь проевшей «нездешней музыки» (нередко в «музыке» с ударением осередь).

Недавно довелось побывать на пиитическом вечере, устроенном по случаю юбилея крупного национального поэта. Подкупало, с каким достоинством держали себя участвующие: виновник торжества в фойе скромно надписывал свежевыведшую книжку всякому желающему, интеллигентные люди с вызывающе по нашим временам одухотворенными лицами неспешно рассаживались в зале — буфетом так никто и не заинтересовался; переместившемуся на сцену юбиляру искренно, от души хлопали, потом с интересом смотрели короткую фильму, ознакомливающую с детством будущего явления в отечественной культуре, потом тепло поздравляли и снова хлопали: по всему ощущалось непритворное единение читателя и творца. Потом были стихи, стихи, много стихов. И все дышало такой высоконравственной, гуманистической радостью, что я сумел продержаться до начала следующей фильмы, то есть, по моим расчетам, никак не меньше получаса; но вот погасли люстры, и по чьим-то в темноте интеллигентно воздыхающим ногам я ринулся вон из зала, чувствуя себя вандалом, хищнически разграбляющим римскую пинакотеку. На воздухе полегчало. Метрически современные и ритмически звучноколокольчатые, не разобрать здешне или

нездешне музыкальные, но уж точно богатствонародногоязыкавобравшие, неподдельность переживаний являющие, искусно уснащенные тонкими аллюзиями и древними максимами, историческими реминисценциями и параллелями, звукописью и чрезвычайно уместными аллитерациями, украшенные мнимыми неправильностями и неправильными рифмами, сигнализирующими взыскующему ценителю о несомненно интуитивном характере творчества, стихи крупного национального поэта выходили в сереющий воздух легкой головной болью. В них было все вышеперечисленное вкупе с многим мною по нерасторопности не замеченным, недоставало лишь одного — того, что отличает мастеровитую литературу от поэзии...

Хуже кого бы то ни было знает, что такое поэзия, сам поэт, не знал этого, конечно, и Борис Рыжий. «Способ жить и умирать» — определение Тарковского — уже высокий штиль, литература, ибо ну никакой это и ничего не способ. Искусство? Не без этого. Но разве ж в искусстве дело? Вот как раз искусство — способ, поэзия вполне может обходиться без него. «Объясни, я люблю, оттого что болит, или это болит, оттого что люблю?» — пел Александр Башлачёв, екатеринбуржец, земляк Рыжего, поэт с трагической судьбой — такой похожей на судьбу Бориса (и такой отличной от нее!)... На Руси немало поэтов (понятно, «настоящий поэт», «большой поэт», «талантливый поэт» суть плеоназмы, наподобие как у Григория Ландау и Георгия Иванова «бедные люди — пример тавтологии»), основное, что их объединяет, — безмолвие. Может, лучше всего сказать: поэзия — это боль, в которой невозможно разобраться и которую невозможно ни терпеть, ни выразить. Боль, при полном телесном здоровье, вполне физическая, выматывающая, сносить постоянно которую нет сил. Постепенно приспосабливаешься, изобретаешь маленькие хитрости, изворачиваешься, плутуешь. Съезжающие вкривь на бумаге строчки — одна из таких хитростей: до поры помогает. Впрочем, лишь немногие из поэтов способны и находят в себе силы писать стихи, куда с большей охотой занимаются этим, уже в качестве салонной лакированной литературы, специально обученные сему затейливому ремеслу люди, очень любящие, когда плоды их без сомнения просвещенных трудов негласно-обыватель смешивает с поэзией. Поэзия — это не «состояние души» в расхожем понимании, не ее те или другие свойства, но совершенная души обнаженность, незащищенность. Бытийный обжигающий холод как невидимая и неосязаемая радиация разрушает, разъедает душу, счет часто идет даже не на годы — на месяцы. Всем страшно жить, стареть, всем одиноко, всем больно любить и больно терять любовь и близких, больно равнодушно встречаться глазами и расставаться, завязывать шнурки и глупо захо-

тать над анекдотом. Все с ужасом молча смотрят в грязное троллейбусное окно, с ужасом пьют на службе кофе или трогают горячий детский лобик, а под утро засыпают, зная, что недолгий обморок скоро пройдет и все начнется сызнова. Но все свыклись с этим, сжились, научились смотреть на это как на естественный и непреложный ход событий...

В культурной среде распространен «высокий» взгляд на поэзию: дескать, се — дар, Божия благодать, музыка высших сфер, в каковую надлежит, уйдя прежде в себя, вслушиваться — строго и печально. Все это, конечно, так, но упомянутый выше крупный национальный поэт всегда вам скажет: вслушиваюсь! ежедневно, печально и настойчиво! и только вслушавшись, записываю! И поди ж ты с ним поспорь. А какой другой повслушивается вот так, а потом глядишь — он уже из лексуса вылезает и бизнес свой заимел или, на худой конец, модный журнал редактирует. А будущее, об этом мало кто догадывается, имеет странную и зловредную особенность влиять на прошлое: и слова вроде теми же остались, и очередность их сохранилась, и «дискурс» на месте, и «полисемантичность» не исчезла, но все написанное вдруг умерло, эдаким мистером Вальдемаром зловонно растеклось по бумаге. А как же, спросите, жить, жить-то как? Вот именно, как...

Кудесник из «Игры в бисер» Гессе знал, что «люди духа вызывают у других какое-то удивительное возмущение и отвращение, что, уважая их издали и при нужде обращаясь к ним, их не только не любят и не смотрят на них как на равных, но и всячески избегают их». Не надо быть кудесником, чтоб почувствовать поразительную штуку: поэта — некоей инстинктивной нелюбовью — «нежно ненавидит» даже поэт. Будто продолжая прерванный разговор, Борис Рыжий собеседует с Ходасевичем:

...Так вы строго начинали —
Будто умерли уже.
Вы так важно замолчали
На последнем рубеже

На стихи — не с состраданием —
С дивным холодом гляжу.
Что сказали Вы молчаньем,
Никому я не скажу.

Но когда, идя на муку,
Я войду в шикарный ад,
Я скажу Вам: «Дайте руку,
Дайте руку, как я рад, —

Вы умели, веря в Бога
Так правдиво и легко,
Ненавидеть так жестоко
Белых ангелов его...»

Что это, когда не ревность? — ревность к другу, с которым вместе ухаживаешь за одной женщиной и которому везет больше. Это притом, что если в стихах Рыжего и есть что-то не от Рыжего, то как раз Ходасевича-то там больше всех остальных. Временами кажется — больше, чем нужно: не формально, и не интонационно, не мелодически, но по тому странному и неопределимому ощущению, которое будят в вас его стихи.

Подпольной жизни созерцатель
И Божьей милостью поэт, —
Ещё помедлю в этом мире
На много долгих зим и лет.

Неуловимо, неприметно,
Таясь и уходя во тьму,
Все страхи, страсти и соблазны
На плечи слабые приму.

Стиху простому, рифме скудной
Я вверю тайный трепет тот,
Что подымает шёрстку мыши
И сердце маленькое жжёт.

Это Ходасевич. А вот — восемь десятилетий спустя — Борис Рыжий:

Когда наступит тишина,
У тишины в плену
Налей себе стакан вина
И слушай тишину.
Гляди рассеянно в окно —
Там улицы пусты.
Ты умер бы давным-давно,
Когда б не верил ты,
Что стоит пристальней взглянуть,
И все увидят ту,

Что освещает верный путь
Неяркую звезду.
Что надо только слух напрячь,
И мир услышит вдруг
И скрипки жалобу, и плач
Виолончели друг.

Сродство удивительное! Имя ему — мера. Впрочем, за что нужно отдать должное всякой бездарности, так это за ее буйную фантазию: графомания всегда на редкость разнообразна, ведь она — дело великого множества самых разных — маленьких, сухоньких, мясистых, волосатых, веснушчатых — рук человеческих, в отличие от таланта — Божьего промысла, ибо Господь един... Так-то оно так. Но... Наблюдал тут недавно картину. В маленькую книжную лавчонку близ крайнего метро заскочил некоторый балагур, чуть навеселе. Представляет себе «идиота, оптимиста, любовника»? — ну вот это он. Спрашивает книгу, а кто написал не помнит и названия не знает, пальцами щелкает, хохмами сыплет, дескать, ну этот, ну как его, дьявола, еще вся Москва зачитывается. Пожилая продавщица, явно из числа вымирающих московских гуманитариев старой закваски, говорит ему — в тон, но вполне свысока: на фига вам, юноша, такая фигня, возьмите вот лучше Маркеса, хоть одну книгу стоящую в жизни прочитаете. А он Маркеса-то повертел, положил на прилавок и говорит: «Что Маркес. Маркес. Голодаем-то все одинаково. И умирать будем одинаково». И тихо вышел... И гуманитарного воспитания благородная дама сей момент устыдилась, и мне было стыдно до слез — за свои высокомерные мысли, и остальные — вроде и на голодающего никто не похож, но как-то так замолчали, задвигались бочком друг мимо друга... Человечнее надо быть, проще и человечнее.

Над домами, домами, домами
Голубые висят облака —
Вот они и останутся с нами
На века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем
Над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
Мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы,
 Геометрия жизни земной —
 Оглянись, поцелуй меня в губы,
 Дай мне руку, останься со мной.
 А когда мы друг друга покинем,
 Ты на крыльях своих унеси
 Только пар, только белое в синем,
 Голубое и белое в си...

Поймите, я не призываю к поголовному дремучему обскурантизму, и простота — это, верно, тот же талант, если только она естественна, не вымучена, изначально. В этом чудесном стихотворении нет слов, которые не были бы известны школьнику-четверокласснику, причем самого скверного прилежания. «Я всегда любил тщательно отсеянный словарь и никогда не хотел в стихах языкового богатства», — признает «раннего» Игоря Чиннова, что с полным основанием можно отнести и к Борису Рыжему. Но точно так же, как есть «нормальный» (по крайней мере для меня) Чиннов и Чиннов-«авангардист», так есть лирический поэт Борис Рыжий и Рыжий — певец городского (по преимуществу Свердловского) дна. Вся эта виллоновщина, ножики и бляди, портачки (сиречь наколки) и обернутая газетой арматура, разборки и мочилово, откинувшиеся урки со странными погонялами и матерщина, матерщина, матерщина, все это, конечно, замечательно, зачем-то и кому-то, наверное, нужно, но к поэзии имеет отношение опосредованное, а именно такое, что написано, как ни странно, поэтом. Однажды полюбопытствовать не вредно, но даже и после известных усилий полюбить не удастся, равно как и милейшее стихотворчество Чиннова про кикимор, шишимор и в шипящем котле сидящего Кикапу.

Мы помним, что Ходасевич пожелал Георгию Иванову — перед самой революцией, в 1916 году. «Доброй встряски, большого и настоящего горя». Горе не заставило себя очень уж долго ждать. Оно не сразу сделало поэта из прежнего Иванова (производителя, по выражению Ходасевича, весьма качественной, «недорогой и удобной» продукции «художественной промышленности»), прежде прошло время, горе вызрело и твердо ухватило за горло.

Мы не молоды. Но и не стары.
 Мы не мёртвые. И не живые.
 Вот мы слушаем рокот гитары
 И романса «слова роковые».

О беспмятном счастье цыганском,
 Об угарной любви и разлуке,
 И — как вызов — стаканы с шампанским
 Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!
 За потерю всего дорогого!
 И за то, что могло быть иначе,
 И за то — что не надо другого!

В Рыжем горе родилось вместе с ним, вместе росло и взросло, а возмужав и обособившись, держало уже крепко и далеко от себя не отпускало.

...Хотелось музыки, а не литературы,
 Хотелось живописи, а не стиховой
 Стопы ямбической, пеона и цезуры.
 Да мало ли чего хотелось нам с тобой.

Хотелось неба нам, ещё хотелось моря.
 А я хотел ещё, когда ребёнком был,
 Большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя.
 Вот тут не мучайся — его ты получил.

...Пытался вырваться из темного, мутного (но такого желанного, непонятного, но такого удобного!) младенческого хаоса и Пастернак, мучился, опрощался, однако то ли горя не достало, то ли, что скорее, не достало еще чего-то, но все закончилось скучно-порнографической стеариновой «Свечой», очень большой литературой и Нобелевской премией. И если к Иванову у Рыжего отношение такое же примерно, как и к Ходасевичу (и такая же онтологическая от него зависимость), то к автору «Доктора Живаго»... Вот смотрите, из прозы Бориса: «...»Рабы, чтобы молчать...» Это Мандельштам. Но я не молчу, Осип Эмильевич. Я говорю, а меня никто не слышит. Все здесь давно оглохли... А ведь еще три года назад я предпочитал вашим стихам стихи Пастернака. Потом вообще забыл имя последнего... Фонари зажглись. Булки фонарей... Нет-нет, я не люблю Пастернака, я так больше не чувствую. Мне не четырнадцать лет. — Эй, нищий, дай мне денег на трехтомник Георгия Иванова — я на Родине чувствую то, что чувствовал он в Париже...» Этой штуке, правда, давно придумано название: «внутренняя эмиграция». А «маленькое человеческое счастье» в

поэзии, пускай и с евангельским, со скрещеньями рук и ног, подтекстом, все равно вылезет после нехорошим боком...

«Вот эта любит Пастернака...» —
 Мне мой приятель говорил.
 «Я наизусть "Февраль"...», однако
 Я больше Пушкина любил.
 Но ей сказал: «Люблю поэта
 Я Пастернака...» А потом
 Я стал герой порносюжета.
 И вынужден краснеть за это,
 Когда листаю синий том.

Вообще к «крупным национальным поэтам» (возьму на сей раз в кавычки) Рыжий относился с хитровато-еврейской сдержанностью, очевидно и для себя не исключая литературной стези. «...Воспитанный в семье, где "Евтушенко" было ругательным словом, недавно собственноручно откопал у этого поэта хорошее стихотворение (это ж какая нужна лопата! — А.В.). До Вознесенского просто руки не дошли — может, и найдут чего интересное...» Ну, и так дальше. До Вознесенского руки дошли, в частности, у меня, — одну из них положи, свидетельствую: редкая чепуха. А насчет Евтушенко... Что ж — крупный национальный поэт! Сказано не мной, сказал так... сам Евтушенко о самом себе, выступая не так давно, детской панамкой покрыт, на собственном тезоименитстве. В глазах, кстати, маразма не было, в глазах светился холодный жесткий ум...

И с Евтушкой Борис как-то встречался, и ничего, не подрался, и к Бродскому всегда декларировал пристрастие, и, приятельски дружа, принимал наставничество (а был случай и «Антибукера») от Рейна. Словом, приходилось крутиться. Да, глухая провинция для поэта — место, мало способствующее избавленью от мелкого беса бытового цинизма... В «Роттердамском дневнике» читаем: «— А знаете, — говорю, — Евгений Борисович, если б не вы, я бы от премии отказался: деньги небольшие, не хотелось на говно наступать. — Выходит, — говорит Рейн, — ты из-за меня в говно вступил? — Выходит так, — говорю». Ирония, ирония, ирония иронии... Впрочем, опубликованная («Оправдание жизни», Екатеринбург, 2004) проза Бориса по уровню вряд ли сильно отличается от того, что принято называть «продвинутой журналистикой». Исключая, разумеется, короткие новеллы — «Над рекой», «Последний дождь осени», «О рабстве», «Из осеннего дневника», — это здорово, но все же это преимущественно прозаическая «калька» некоторых его стихотворений.

Существует серьезная, объемистая биографо-стиховедческая работа о Борисе Рыжем, принадлежащая перу филолога Юрия Казарина (автор называет ее эссе). Работа насыщена фактическим материалом, этим она ценна, но читать ее положительно невозможно из-за не то чтобы сложного, но избыливающего наукообразной лексикой и, главное, какого-то странного, тяжелого языка, через который нужно всю дорогу ожесточенно продираться; вероятно, автор считал, что именно таким мало кому понятным языком и пристало писать о недавно ушедшем из жизни поэте. Впрочем, Юрий Казарин хорошо образован, лично знал Бориса Рыжего, посему я почел своим долгом не обращать внимания на все эти «дискурсивные концепты», «автодидактические нарративы», «каузативные доминанты», «интертекстуальные парадигмы», «изоморфные хронотопы» и проч. и проч. и прочитывать-таки до конца сей венец могучемыслия. Ежели отбросить последнее (могучемыслие то бишь), в сухом остатке пребудет простой вывод: Борис Рыжий — поэт-новатор, создавший новую синтетическую поэтику, поэтику XXI века, складывающуюся из решительного столкновения, съединения традиционной высокой лексики, а также богатых языковых конструкций, со сниженным словарем (вплоть до малочисленного табуированного ряда, сиречь мата) и просторечной фразеологией. Оправдание всему — Божественная музыка стиха Бориса Рыжего. Под это утверждение подведена обширная и прочная доказательная платформа, теоретические изыскания глубоки и разносторонни: в ход идут Рильке и Шопенгауэр, Бродский и Фет, Блок и Батюшков, Случевский и Державин, Лермонтов и Анненский, Пушкин и Полонский, Достоевский и Кантемир, и много кто еще, и все эти люди, в сообщничестве с Юрием Казариным, делают так, что с ним, с Казариным, трудно не согласиться. Трудно, но попытаться все же можно.

Начну с того, что не бывает поэтов-новаторов, ибо не существует в поэзии такой категории как «новое» (помните? — «И черни, требующей новизны, / Он говорит: "Нет новизны. Есть мера, / А вы мне отвратительно смешны, / Как варвар, критикующий Гомера!"»). Мне неловко приводить избитые истины, но, видно, придется: «Что было, тожде есть, еже будеть: и что было сотвореное, тожде имать сотворитися: и ничтоже ново под солнцемъ. Иже возглаголетъ и речеть: се, сие ново есть, уже бысть в вещехъ бывшихъ прежде насъ». Это, конечно, Екклесиаст, а перед ним — конечно, Георгий Иванов. С тех пор как человек обрел язык, чего только с чем не сталкивали и не съединяли, и кто только не сталкивал и не съединял. И кто-то возглашал: нет оному прощения! и всегда находилось оправдание, и уж Божественная музыка — лучшее из оправданий.

Я бесконечно люблю поэзию Бориса Рыжего и, наверное, потому не могу не сказать: слава Богу, ничего нового он не сделал. Стихотворения его полнятся прекрасной печальной музыкой, музыкой цвета в синей предрасветной свежести озябшего женского плеча или запаха долгого осеннего дождя, но ведь звучит в ночи и «черная музыка Блока», и волхвующая музыка Федора Сологуба, и волною глухо рассыпающаяся музыка Георгия Иванова, и душистая, как «полевые пути меж колошесов и трав», музыка Ивана Бунина, и потусторонне-отстраненная, неземная музыка Владислава Ходасевича, и провидческая, бродяжная, «шарманки жалобное пенье», музыка Осипа Мандельштама, и... Да мало ли какая еще музыка слышна в ночи. И всякая печальная мелодия, слышная только поэту и через него — всем людям, есть лишь малая часть великой Небесной литургии, вечной литании во славу Господа и тихого плача о бренности жизни и любви.

Из Бориса Рыжего сейчас усиленно пытаются сделать «культового» поэта... Какого культа? Ну вот какого-то такого, «новаторски-подлиннонародного». Между тем Рыжий — просто поэт, поэт изумительный, самобытный, но та часть его творчества, что принадлежит вечности, отнюдь не выходит за рамки русской поэтической традиции, традиции трепетно и бережно воспринятой им русской культуры. Если слову «эпигон» вернуть его первоначальный смысл — не подражатель (говорят: жалкий эпигон!), но преемник, последователь, тот, кто сумел довершить либо воплотить нечто, чего не удалось предшественнику, — то тогда Рыжего с полным основанием можно назвать эпигоном и Фета, и Случевского, и Анненского, и Сологуба, и Блока, и Гумилева (специально поставлю А.А. и Н.С. рядом!), и Ходасевича (а значит, ряд этот верней начать от Державина и Пушкина!), и Георгия Иванова, и Осипа Мандельштама, и Кедрина, и Поплавского, и Адамовича, и Владимира Смоленского, и Кленовского, и Чиннова...

Сейчас пока в сборниках Бориса Рыжего свалено все подряд и в кучу (это даже и выпущенная в Питере книга Пушкинского фонда, и наиболее полная — 800-страничная, екатеринбургского издательства «У-Фактория», включающая также прозу, критику, письма и т. д.). Однако пройдет время, страсти поутихнут, утрясутся амбиции и тенденции, все, кто хотел, защитят на поэте свои диссертации, измыслив попутно «свежую» терминологию — какую-нибудь «уральско-петербургскую ноту», не позабудут затем предложить «расширенное ее толкование». Как это было после смерти Рембо, до хрипоты наспорятся школы и течения — к какой или к которому следует поэта причислить, выговорятся «ученики» и «друзья»... И все встанет на свои изначальные места, на коих и будет стоять такую короткую, короткую вечность. Томики стихотворений Бориса

Рыжего сделаются потоньше, многое из них уйдет, многое не удержится... Суть ведь не в «инвективной» лексике, и у Пушкина есть чудесные стихи с таковой (вспомним, например, «Телегу жизни», вторую ее строфу), и Ходасевич, этот холодный, чопорный Ходасевич, в глазах современников — покрытый гнойной коростой мизантроп, «муравьиный спирт», тоже не брезгал быть «вне границ пристойного» («...Я многие решил недоумения, / Из тех, что так нас мучили порой. / И мир теперь моё ласкает зренье / Не <...>, но честной наготой»). Суть дела совсем в другом... И когда потрясающее стихотворение того же Ходасевича «В моей стране» (из «Молодости», первого его сборника) солидные издательства все же стараются не включать в состав «Избранного» (хотя, ладно ненормативной — и сниженной лексикой там не пахнет), это и есть тот самый постепенный и незаметный процесс отмежевания драгоценного зерна от плевел.

Будущий сборник лирики Бориса Рыжего наверное обнимет куда меньше стихов, высочайшим же качественным уровнем он будет обязан малому ядрышку, вокруг которого сойдутся остальные стихотворения и включающему в себя два-три десятка произведений — тех, где скрипка не фальшивит, не сползает в «гармошки залиvistый вздор», где врожденный безупречный вкус не изменяет (или почти не изменяет) поэту. Это жемчужины, истинные шедевры русской поэзии, такие как «Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой», «Орфей», «Когда наступит тишина», «Над домами, домами, домами», «Всё, что взял у Тебя, до копейки верну», «Июньский вечер. На балконе», «Автомобиль», «Вдоль канала», «Ах, подожди еще немножко», «Благодарю за всё. За тишину», «Стансы», «Что сказать о мраморе, я люблю руины», «Памяти поэта», «За стеной — дребезжанье гитары», «Я подойду к окошку — как бы тайно», «7 ноября», «Памяти И.Б.», «...в эти руки бы надежный автомат», «Осенние сумерки злые...», «Отмотай-ка жизнь мою назад», «Вспомним всё, что помним и забыли» и некоторые другие. За иные же стихи — за неудачи — простим поэта.

Мне холодно, читатель, мне темно,
Но было бы темней и холодней,
Не будь тебя, ведь мы с тобой — одно,
И знаю я — тебе ещё трудней,

Сложней, читатель, потому — прости,
А я прощу неведомый упрёк,
Что листик этот не собрал в горсти,
Не разорвал, не выбросил, не сжёг.

И он простит нас. Простит и перед тем, как уйти, поблагодарит нас за то, что мы — такие, какие есть, и другими никогда не были и не станем:

...За всё, за всё. За то, что не могу,
 Чужое горе помня, жить красиво.
 Я перед жизнью в тягостном долгу.
 И только смерть щедра и молчалива.
 За всё, за всё. За мутную зарю.
 За хлеб, за соль. Тепло родного крова.
 За то, что я вас всех благодарю
 За то, что вы не слышите ни слова.

2005 г.

(«Крещатик», 2007, № 4.)

Сергей ФЕДЯКИН

МЕЖДУ ЗВУКОМ И СМЫСЛОМ

И.С.БАХ И ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Трагическая судьба художника. Мы уже привыкли к этому, вспоминая русских поэтов (гибель за гибелью), многочисленные «сумасшествия» живописцев (Гойя, Ван Гог, Врубель...), мучительную жизнь композиторов — «черный человек», заказавший «Реквием» Моцарту, глухой Бетховен, игравший пианиссимо неслышными звуками, но потрясавший слушателей своим «безумно-священным» обликом... В жизни Баха не было внутренней трагедии. Все легендарные события его жизни, которые приходят на память, говорят об ином: этот человек существовал внутри музыки как великой мировой стихии. Вот он, мальчишка-сирота, на воспитании строгого брата (по возрасту годного в «дядья»). Вытаскивает ночами «запрещенные» произведения современных музыкантов («слишком вольных в композиции») и переписывает при тускловатом лунном свете. Вот он, юноша-музыкант, получив четырехнедельный отпуск, едет из Арнштадта в Любек, чтобы слушать знаменитого органиста Дитриха Букстехуде и пропадает там целых четыре месяца, вызвав гнев арнштадской консистории. Вон он, зрелый мастер из Веймара, прибывает на состязание с известным французским импровизатором Маршаном. И после предварительной «пробы инструмента» знаменитый француз, услышав игру доселе неизвестного ему соперника, тайком сбегает из города. Наконец, Бах-старик, музыкант из Лейпцига, представший пред взором прусского короля Фридриха II и готовый показать искусство импровизации по заданной теме. Совершенство его многоголосных фуг, сыгранных «с ходу», говорило все о том же: Иоганн Себастьян Бах дышал не только обычным земным воздухом. Для его легких кислорода, азота и других «составных частей» было недостаточно, нужны были и «атомы» звуков, «молекулы» звукосочетаний и тем.

Лишь одно событие в жизни Баха излучает тот же «ужас неизбежного», которым веет от судеб художников более позднего времени. Ослепнув в последние годы, он однажды прозреет. Но вновь увиденный свет оказался зловещим знаком: за ним пришла смерть.

...Иногда кажется, что это жуткое «прозрение» было не только следствием кровоизлияния. Что оно не было новым обретением обычного

из человеческих органов чувств. Что Бах, стоя одной ногой в могиле, вдруг угадал что-то иное, «запредельное». Увидел прошлое, настоящее и будущее, слитые в одно мгновение. Почувал то «дыхание мировых бездн», которое в свое время потрясет и Державина, родившего за несколько дней до своей кончины величайший и словно недоговоренный акростих:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Европа тоже имела «общую судьбу». Когда Моцарт будет ошеломлен мотетами уже всеми забытого Баха («Что это?!»), в его потрясении будет жить и другое чувство: наше время такого уже не создаст. Когда Бетховен произнесет: «Не ручей (Bach), но море имя ему», — он выразит, в сущности, то же самое. И когда романтики начнут настоящее воскрешение музыки Баха, «старый Себастьян» для них станет символом не только величия нации, но и символом великого и ушедшего прошлого.

В том восхищении, с каким начало приниматься имя Баха в XIX в., было тайное родство со снисходительной улыбкой одного из его сыновей. Иоганн Христиан говорил об отце с добродушием, но и с иронией: «Старый парик». И в снисходительности одних, и в восторге других жило все то же ощущение границы: здесь «мы» — там Бах. И это «там», даже когда слушатель мог ощутить его величие, для послебаховского времени стало «вещью в себе».

Как часто язык музыки опережает язык философии. Много из того, чего будут добиваться философы, «преодолевающие» Канта, было задолго до них сказано Бахом, но в иной форме.

Имя Канта рядом с именем Баха вспоминается, как естественное «философское дополнение». Не потому, что и Кант для позднейших «немецких классиков» — Фихте, Шеллинга, Гегеля и далее, до «младогегельянцев» с «неокантианцами» — это тоже во многом «старый парик». И не потому лишь, что жизнь Канта с абсолютной точностью со-

ответствовала его творчеству (как и жизнь Баха, — свойство столь часто встречаемое у эллинов, и столь редкое для Нового Времени). Но, главным образом, потому, что они были начисто лишены болезненного индивидуализма, со временем поразившего Европу и начавшего разлагать ее духовный остов. Кант впитал в свои «Критики» всю мировую философию, в сущности, родив лишь вопрос, обращенный в будущее: «Что доступно человеку и что лежит за пределами его возможностей?» Любой ответ последователей, «преодолевших» антиномии Канта, — все эти многочисленные умозрительные «системы», — в сущности, оказались скрытым богоборчеством. Мыслители готовы были объяснить мироздание, примеряя на себя роль Творца, не чувствуя даже, что кроют одежду не по своему росту. Говоря о Вселенной они тайком «выстраивали» ее по своему человеческому образу и подобию.

Из сознания человека уходило чувство своего места, заменяясь преувеличенным, безответственным отношением к своим возможностям. Единичная личность начинала заполнять собой мироздание, заново «творить» его, как «Я» у Фихте с легкостью из себя выводило все огромное «не-Я»...

Сонатная форма потому столь ярко воплотилась в послебаховские времена, что в ней воплощалась идея личной судьбы. Человек рождался (экспозиция), был «внутренне противоречив» (контраст главной и побочной темы, «я» и «не-я»), рос, мужал, терпел бедствия, торжествовал победы (разработка, где темы сталкивались, боролись, могли измениться до неузнаваемости) и, наконец, его жизнь обретала смысл (заключительное проведение тем).

Идея фуги, главная идея творчества Баха, — говорила совсем о другом ощущении жизни, мироздания, Бога.

Контрапункт для Баха — это некое подобие существования живой речи. Михаил Бахтин не случайно свой знаменитый термин — полифонический роман — позаимствовал из теории музыки. Не случайно рядом с «полифонией» он упоминал и «металингвистику», которая должна изучать не «речь вообще», но живую речь. Бах воплотил то же отношение к миру, что (согласно Бахтину) Достоевский в своих романах. Отдельный голос — воплощение одиночного сознания. Многоголосие — это равное участие разных сознаний в общей жизненной драме. Бах учил: когда тому или иному голосу нечего сказать, композитор должен дать ему помолчать. Каждое звучание — значимо, каждая тема, мотив, а то и звук — это «оживание смыслов».

Как часто мы встречаем у него эту форму: «фантазия и fuga», «токатта и fuga», «пассакалия и fuga», «прелюдия и fuga». Переводя на язык философов — находим здесь знакомую пару: «явление — сущность» или (вспомнив Канта): «вещь для нас» — «вещь в себе». Сначала прелюдия (свободная композиция) как «введение в предмет», потом fuga (строгая музыкальная форма) «раскрывает» его сущность.

Совершенство этой формы не может не восхитить. Хорошей фуге всегда присуща математическая точность. Бах эту «математику» сумел наполнить живым дыханием.

В фуге нет трагических столкновений (как в сонате), но есть «драма идей», и «диалогическое начало» (о котором писал Бахтин) пронизывает фугу от начала и до конца в каждом ее «звене». Тема в одном голосе рождает сходный ответ, но в другом голосе. Ответу — вторит, но по своему, противосложение. Проведения тем сменяются интермедиями, за которыми — опять следует возврат к теме. И как часто интермедии воплощают в себе «нарастающую сложность» (сначала — простая секвенция, в следующий раз — каноническая: второй голос «подхватывает» мысль, произнесенную первым).

Стоит ли упоминать, что фуги могут быть не только двух-, трех-, четырехголосными, но и пяти, и шести?.. (И далее, где, впрочем, композитор, дерзнувший на чрезмерную множественность голосов, чаще всего теряет путеводную нить: в полифоническом «звуковом лесу» живет свой леший, умело водящий за нос всякого, кто залез «в дебри».) Стоит ли упоминать, что fuga может быть «двойной» (с двумя темами), «тройной» (с тремя) и далее — опять до самого непроходимого звукового «бу-релома»? Наконец, можно «не брать в расчет» все метаморфозы темы, которая может пойти вдруг медленнее или быстрее, «зеркально» (головой вниз) или в обратную сторону («ракоход»)… Но нельзя умолчать о драматургической вершине фуги. Стретта — вот апофеоз контрапункта, когда тема не успевает дозвучать в одном голосе, а уже зарождается в другом, бежит, «наступая себе на пятки». И с каждым разом все больше голосов произносит — друг за другом, как заклинание — эту последовательность звуков. И с каждым разом все быстрее второй голос подхватывает «произнесенное» первым, а третий — вторым. И когда, наконец, тема падает на басовый органнй пункт, долгий спор голосов приводит их к «озарению», к единству, которое наступает во время общей молитвы всех чад Христовых. Поскольку fuga — это высшая форма «сосуществования» отдельных «сознаний» (голосов), взыскующих общей правды.

Бах не только предвосхитил «антиномии» Канта, но и разрешил их — в отличие от философской немецкой классики — единственно достой-

ным образом, хотя и жил на полвека раньше кенигсбергского мыслителя. Еще в добаховские времена музыканты чувствовали мощь настоящей полифонии: из самой бледной темы можно было сочинить по-настоящему сильное произведение. Иоганн Себастьян Бах знал как никто великую суть контрапункта.

Путь к истине — как fuga — «многоголос». Истина не достигается в одиночестве, она — вне единичного сознания, вне единичной жизни (даже отшельник в чайнии истины — «воцерковлен»). Fuga — музыкальная форма, воплотившая идею Вселенской Церкви, единство разноголосого человечества перед Творцом.

Не каждая тема способна родить фугу. Она не должна быть «криклива», «индивидуалистична». Но она должна быть характерна, должна нести в себе личностное начало. В сущности, идея фуги, это та же идея «соборности», только на европейский лад.

Но кого из писавших фуги можно поставить рядом с Бахом? В своей соборности он остался в Европе одиноким. Ведь «искусство фуги» — не в том, чтобы все это — многотемье, многоголосие, «ракоходы» и проч. — громоздилось одно на другое. Искусство фуги — в умении все это разнообразие свести к звуковому единству, к общему: «Осанна!», чтобы каждый голос был на своем месте, незаменим, и только все голоса вместе могли прийти к единой Истине.

Можно вспоминать полифонические сочинения и предшественников Баха, и тех кто был после. Ре-минорная «Пассакалия» Дитриха Букстехуде и мелодией баса, и «плетением» голосов предвосхитила доминорную «Пассакалию» Иоганна Себастьяна. Как эта вещь знаменитого Дитриха хороша сама по себе! И сколь бледной предстает она, если пытаться слушать ее после Баха. Сколь замечательные фуги писали Моцарт и Бетховен. Рядом с Бахом — они лишь ученики. Поразительно, полифонист Бах высится надо всеми композиторами мира не потому, что другие были менее талантливы. Но потому, что те, кто пришел после него, были в своем творчестве более индивидуальны.

На «границах творчества» и Моцарта, и Бетховена можно иногда «спутать» с Гайдном. Но в высших проявлениях своего гения — они неповторимы. В веке XX своеобразны не только «первые», но и «вторые»; Лядов так же ни на кого не похож, как и Скрябин, Рахманинов или Бриттен.

Бах скромн. Он похож на предшественников. Если неподготовленного слушателя привести в собор и заиграть на органе Пахельбеля или

Букстехуде, он сразу и по-своему решит «проблему авторства»: «Бах». И будучи скромным, всегда чувствуя себя пред оком Творца, Иоганн Себастьян не боялся «учиться», — у итальянцев, у французов, у англичан, рождая свои певучие «сицилианы», «французские» и «английские» сюиты. Он мог «перелицевать» для собственной радости произведения Вивальди или написать фугу на тему Корелли. В нем жила великая соборная душа, готовая найти что-то для себя даже у малых талантов. Эта соборность и принесла ему вторую, вечную жизнь через столетие после окончания первой. Будучи «со всеми» он и стал понятен всем. Но в этой «европейской соборности» он все-таки был неповторим.

Однажды Лорка через непере译имое слово «дуэнде» (то, что на русском отчасти можно передать словом «изюминка») хотел показать, чем подлинное искусство отличается от «искусства вообще». Он вспомнил старуху-испанку, которой заводили музыку «великих древних». Ни Вивальди, ни Генделя она, знавшая лишь народную песню, «не услышала». И вдруг просияла, когда зазвучал Бах: «У него есть дуэнде!»

Только младшие современники Иоганна Себастьяна могли слышать в нем одну лишь «музыкальную математику». Только измученные муштрой юные музыканты готовы были ставить его инвенции рядом с этюдами Черни. Только не вживаясь в Баха (как Римский-Корсаков в ранние годы) можно было услышать в нем «сочиняющую машину». Но и «замученные теорией контрапункта» музыканты вдруг улавливали «дуэнде», чувствовали «озаренность» Баха.

«Я не понимал тогда, — вспоминал тот же Римский-Корсаков, — что контрапункт был поэтическим языком гениального композитора, что укорять его за контрапункт было бы так же не основательно, как укорять поэта за стих и рифму, которыми он якобы стесняет себя, вместо того чтобы употреблять свободную и непринужденную прозу».

Молитва никогда не может быть подобна «свободной и непринужденной прозе». Но как живое начало в музыке Баха сочеталось не только с изощренной «звуковой математикой», но и с настойчивым символизмом — наверное, навсегда останется его тайной.

То, что три бемоля или три диеза в ключе (тональности Es-dur и A-dur) могли означать святую Троицу, — это было общее у Баха с современниками. То, что числа в его музыке играют важную роль: диктуют количество нот в теме или число сюит в цикле (6 дней творения, 7 — как венец творения, 12 апостолов, 14 — сумма порядковых номеров

букв ВАСН в немецком алфавите и т.д.) — тоже особенность музыкального сочинительства того времени. То, что композитор в собственном произведении пытается оставить свою «ропись» — тоже «не новость». Но именно у Баха его фамилия идеально ложилась на музыку, каждой букве (большая редкость!) соответствовал звук: «В-А-С-Н», т.е. «си бемоль — ля — до — си». Хроматизм этой темы вряд ли мог не отразиться в баховском мелодизме. Не случайно в его музыке такое обилие «случайных» диезов и бемолей. К тому же именно Бах в «Хроматической фантазии и фуге» создал, в сущности, музыку XXI века. Но, что еще невероятнее, — (разве после этого можно просто «отмахнуться» от этого «звукового имяславия?»), — в теме «ВАСН» запечатлелся и главный христианский символ. Любая мелодия того времени, идущая вниз, вверх, снова вниз, несла на себе «крест» (линия, проведенная между крайними звуками, пересекалась с линией, соединяющей средние). И сколько изумлений пережили исследователи, каждый раз находя крест «ВАСН» в самом значимом месте!

Вопреки недоверчивому к подобным символам сознанию XX века — Бах действительно «нес на себе крест». Отсюда его строгость и неуступчивость в главном: слыл за очень сурового «эксперта» в органном деле, был неуживчив и даже «оскорбительно горд» с начальством, не хотевшим вникать в его творческую сверхзадачу. Отсюда же — его скромность и отзывчивость в остальном (по давним свидетельствам, — когда это было в его силах, всегда был готов оказать услугу).

Он не мог не ощущать на себе «крест судьбы». В своем последнем «прозрении» он мог увидеть и «крест истории»: музыка до Баха, музыка после.

«Море должно быть имя ему». По некоторым свидетельствам Бетховен сказал не «море», но «океан». И «океан» — звучит не только мощнее, но и точнее. Здесь — и глубина этой музыки. И ее широта.

И.С.Бах писал для всех инструментов. Во всех жанрах. «Обошел» только оперу. Впрочем, если вспомнить, что оперы Мусоргского получили жанровое определение: «народная драма», то свои «религиозно-народные драмы» — «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» (то, что сохранилось, вообще «Страстей» было больше) — Бах тоже написал.

Его музыка вышла из народно-религиозного начала, из хора. Через хоральные прелюдии привела к величайшим и уже навсегда непревзойденным произведениям для органа. Через речевое, декламационное начало привела к хоровым сочинениям — кантатам, «Страстям»,

«Мессе» и, косвенно, — ко всей инструментальной музыке. Последний шаг мог вести только в «сферы иные».

Об «Искусстве фуги» (которой суждено было остаться незаконченной) одни говорят: здесь живой трепет покидает музыку Баха, здесь полифоническая виртуозность вытесняет «живую жизнь». Другие спорят, для какого инструмента готовилось столь необычное произведение, все чаще соглашаясь со странным мнением: «Искусство фуги» не писалось ни для какого из всех известных инструментов. Любое «земное» ее исполнение — это лишь плоский чертеж многомерного здания.

Некогда один музыкант, — из тех, кому предстояло участвовать в воскрешении имени Баха, — изучал «Хорошо темперированный клавир», помечая крестиками то, что ему понравилось как «живая музыка», и с удивлением замечая, что день ото дня крестиков становится все больше. Чтобы «добраться» до «Искусства фуги» — нужно проделать один и тот же путь не один, не десять и, может быть, не одну сотню раз. «Искусство фуги» — то «полифоническое существо», которое доведено до кристаллического (потому — с первого раза — вроде бы чрезмерно «холодного») совершенства. До того состояния, когда и не видно света, и музыка кажется опустившейся на мир немостою.

Но где светил погасших лик
Остановил для нас течение...

— Так, словами Анненского, можно было бы передать первое впечатление от этой не трех-, но четырехмерной (т.е. над-временной) музыки. Но — вживаясь в звуковое «четвертое измерение» заключительного баховского сочинения — нельзя не дойти и до последующего ощущения мимолетного «возврата из вечности к земному», точно выраженного тем же Анненским:

Но где светил погасших лик
Остановил для нас течение,
Там бесконечность — только миг,
Дробимый молнией мученья.

Миг, когда сжимается сердце, прерывается дыхание. Миг перехода в «иные сферы». Случайно ли, что предсмертное «Искусство фуги» оборвалось, когда композитор ввел свою тему: ВАСН? Или оно и вовсе не обрывалось?

Последнее стихотворение Державина, начальные буквы которого составили загадочную фразу: «Руина чтн...» — заканчивается строкой:

«И общей не уйдет судьбы». Обрыв? Или уход «в другое измерение», на тот самый Суд Божий, на который и указывает последнее слово?

«Искусство фуги», застывшее на «ВАСН», где имя композитора слилось с общим «крестом», — разве не та же «судьба», Суд Божий? Миг, «дробимый молнией мученья», миг предсмертного «прозрения» Баха.

Когда его спрашивали, как он достиг такого полифонического совершенства, ответ композитора был предельно скромным: «Пришлось быть прилежным». Но в прилежании Баха мало было «человеческого, только человеческого». Писать лучше других он мог бы и без «прилежания». Но в редкой точности контрапункта Бах стремился достичь той «музыки сфер», которую пифагорейцы пытались уловить в движении светил.

Что узнал Бах перед смертью, озаренной этим неземным светом? Что «искусству фуги», этой идее соборности на европейский лад, приходит конец? Что само его творчество — это и фокус, собравший лучи предшествующей музыки, и тот никем уже не достижимый «источник света», который озарит тревожное будущее людей? Что религия (то, что буквально значит — «связь», т.е. связь между людьми, связь человека с мирозданием, с Творцом) покидает тело Европы, оставляя вместо живого чувства лишь мертвую оболочку? Что «музыку сфер» уже не способно уловить ухо европейца, оглушенного странным и вполне земным грохотом?

...Прозревший Бах с ужасом смотрит в будущее.

Религиозная сила, некогда поднявшая Европу, стала гаснуть, расплываться, звучать уже не в массах, а лишь в отдельных личностях, которым предстояло нести свое слово. С Моцартом и Бетховеном в музыку войдет одинокая, трагическая судьба. Кажется, еще раньше ее голос услышал гениально одаренный и спившийся сын Баха, Вильгельм Фридеман. Уже детей Иоганна Себастьяна коснется наступающий «декаданс» европейской культуры. Тот грандиозный «декаданс», который еще породит гениев, но который со временем вырождается в масс-культуру конца XX века.

Бах вслушивается в будущее, в «Руина чтн...». Слышит слова, обращенные к Западной Европе. Слова другого великого полифониста, не в музыке — в прозе, Федора Михайловича Достоевского: «Дорогие там лежат покойники...»

МУСОРГСКИЙ

«Самый русский из русских композиторов»... Как часто приходится слышать эту фразу, едва лишь зайдет о Мусоргском речь. И как часто она более походит на заклинание, которое повторяют не понимая смысла произнесенных слов. Ведь написаны им не только «Борис Годунов» и «Хованщина», не только «Светик Савишна», «Сиротка», «Колыбельная Еремущке»... Его тянуло и к Софоклову «Царю Эдипу», и к флоберовскому «Саламбо», и к библейскому «Иисусу Навину». И в «Картинках с выставки» есть не только «Избушка на курьих ножках» и «Богатырские ворота», но и «Гном», и «Лиможский рынок», и «Римские катакомбы», и «Два еврея, богатый и бедный»... И все же — «самый русский из русских». Даже когда пишет на «нерусские» темы.

Еще в ранний период его музыкального сочинительства появляется «Интермеццо» си минор in modo classico. Тема похожа на «что-то из Баха». И — не похожа. Из сходного с Бахом движения звуков рождается музыка с русской мощью. С той же мощью, которая прет из бурлацкой «Эй, ухнем!» И эта внутренняя «русскость» вопреки внешней «европейскости» — преобразует все: рядом с «Интермеццо» Мусоргского «Восемь русских народных песен», оркестрованные Лядовым, кажутся затейливыми поделками, сувенирами. Музыка Мусоргского шла «двумя слоями». На поверхности — вполне «классическая» музыкальная форма. В глубине — то, что видел однажды в деревне под Псковом, позже рассказав об этом Стасову. Зимний солнечный день. Толпа мужиков. Они тяжело шагают по сугробам, проваливаясь в снег, с трудом выкарабкиваясь. И вдруг навстречу — с озорным хохотом и песнями — толпа баб на ровной тропинке. Музыка — как выговорил сам Мусоргский — «русская по секрету». Оттого-то он и мог, бросив «Саламбо», переносить уже сочиненную для «карфагенской» оперы музыку в «Бориса», что в потайной своей глубине с тем же «секретом» была и она.

Потому ли, что в нем соединилась дворянская и крестьянская кровь, да еще с далекой «ордынской» примесью, потому ли, что знал вполне деревенское детство — со сказками няни, с крестьянскими мальчишками, потому ли, что просто так было назначено свыше — он стал носителем народной души, причем во всей ее разноречивой и пестрой разноголосице. Будь то мужик или боярин, царь или юродивый, стрелец или беглый монах. Будь то Россия перед смутой, или Россия раннепетровских времен, или Россия века 19-го...

Но именно его столь русскую, более того — столь разнообразно русскую музыку — музыканты-современники могли слышать с трудом, не только недруги, но и ближайшие соратники.

Как странны мемуары его друзей. Балакирев, Кюи, Бородин, Римский-Корсаков... Первый изложил что пришло на память сухо, кратко, главным образом о своих занятиях с Мусоргским и крайнем его «непрофессионализме» в области гармонии. Второй написал в жанре «доброе слово о покойном», выгораживая его, спасая от возможных упреков в том же непрофессионализме, и тут же сдобривая свои похвалы жуткими оговорками о «некоторой антимузикальной закваске». Бородин, на запрос Стасова, что он помнит о покойном, ответил несколькими страницами. Написал не без тепла, но сдержанно, главным образом — о ранних встречах, словно бы стараясь «подзабыть» позднего Мусоргского. Наконец, Римский-Корсаков, когда-то живший со старшим товарищем бок-о-бок, «деливший» с ним один рояль, а после его смерти столько сил отдавший «доведению» его произведений, написал о Мусоргском больше других. Но тоже ведь не без сетований на его трудный характер и чрезмерную странность («Самолюбие его разрослось в сильной степени, и темный и запутанный способ выражаться, который и прежде ему был до некоторой степени присущ, усилился до величайших размеров. Часто невозможно было понять его рассказов, рассуждений и выводов, претендовавших на остроумие»).

Читая эти посмертные отзывы, можно засомневаться: да была ли на свете «Могучая кучка»? Неужели действительно существовало некогда это содружество единомышленников? Ведь и Мусоргский, показавший однажды бывшим товарищам куски будущей «Сорочинской ярмарки», оставил об этой встрече более чем тягостное свидетельство в письме к Арсению Голенищеву-Кутузову: «такой стужей повеяло от их взглядов и требований, что «сердце озябло», как говорит протопоп Аввакум». Да и как можно было не разочароваться в прежних товарищах, наговоривших о его «Сорочинской» много «правильных», но для Мусоргского давно ненужных слов?

Главная причина этого резкого расхождения с «некогда друзьями» — его упорное нежелание душить свои произведения всякой «музыкальной арифметикой». Для них, «кучкистов», в его «нелюбви к правильному голосоведению» и в стремлении писать так, как «не бывает», — дурное упрямство и дилетантизм. Для него — бывшая «кучка» превратилась в собрание «академиков», которые правилам «научились», но зато утратили способность непосредственного слушания.

Талант — это всегда своеобычность, «непохожесть на других». Потому людей сверхталантливых так редко понимают современники. Степень таланта — это и степень одиночества.

Жуткая одиночество Мусоргского говорит и о его величине. Но одиночество это было особое. «Музыка — способ беседы...» И он беседовал, не столько с современниками, сколько с людьми совсем других времен. Умел не только сам говорить, но и слушать. Как «вкусна» его правка драмы Арсения Голенищева-Кутузова о Василии Шуйском! — «...Что князь намедни наедине мне говорил... — «...намедни мне с глазу на глаз говорил» — «Послушай-ка»... — «Прислушай-ка» — «Коль Шуйский говорит, так значит правда»... — «...так значит стало» — «Того гляди, что храмы-то запрут» — «...что храмы позапрут». Мусоргский доводил язык чужого произведения не только до словесной, но и до интонационной точности: это историческое время он знал доподлинно. И не потому, что многое «начитал» (хотя и это было). Но потому, что «врос» в русское прошлое. Костомаров, услышав «Бориса Годунова», свидетельствовал: «Настоящая русская история». Настолько сильна была подлинность речевой интонации. Настолько точно были вылеплены исторические образы.

И когда после этих «бесед» с русским прошлым он сталкивался с современниками — его не могли понять. «Заумный способ выражаться» и «претензии на остроумие», отмеченные Римским-Корсаковым, сохранились в письмах Мусоргского. Эта заумь — от принадлежности к людям допетровских времен: их языком он пытается говорить с ныне живущими. И конечно им этот чужак был странен. Как и они ему: Русь живет в беде (ее сразу слышишь во вступлении к «Борису» и продолжайешь слышать уже после оперы), а тут — консерватории, профессора, «знатоки» и «специалисты».

Читаешь его письма, полные не то юродства, не то горечи — и от этих строк трудно оторваться. Да, это юмор обреченного, трагический юмор. Но с какой виртуозностью он изъясняется на русском «прошлых времен»! Чего стоит только его «письмо-доношение» Голенищеву-Кутузову. Письмо «шутейное»: «Извещены мы, Ваше сиятельство, о поимке в Тверском Воеводстве некоего, опасного и премного утруждающего Канцелярию Сыскных Дел, беглого человека, предерзновенно именующего себя Арсением Кутузовым. Онный вышепоименованный опасный человек уловился в самом граде Твери. А по спросе языка и по легонькомупытанию, в наружу оказалось, что сей опасный человек, ни близости сидения Воеводы, ни Сыску не страшился пренадменно...» И вскоре — о своих мытарствах. И за «скоморошиной», за «балагурством» — давняя

боль непризнанности и гонимости. Борьбу с «любителями правил» вел даже на «дремучем» языке, столь понятном ему, жившему при царе Борисе, и столь непонятном современникам: «И пуще того, сознался в табельных сношениях, для ради тех же и еще опаснейших целей, с изловленным уже и опубликованным мусикийцем-сочинителем, выдающим себя Мусоргским быть. Сей последний, в обманном мечтании злорадостно отрекшись от согласных мусикийских правил, делом и трудами мужей препорядочных и уважаемых и, более того, веками установленных, мнит ко мусикийскому согласию всякую речь человеческую привести и тем, злобствуя в явном безсилии мусикийства, уловляет людей, ради для своих злорадостных и опаснейших целей, и печально сие: толикое число уловил простодушных и несведующих в деле мусикийском и хуже сего — уловляет паки...»

Позже, 10 ноября 1877 г., он напишет Голенищеву-Кутузову другое письмо. Расскажет о расхождении с бывшими друзьями. И уже совсем без висельного юмора, мучительно выговорит слова «о погоде», а в сущности — о том же одиночестве: «...А у нас новая трава показалась и новые почки повыступили на деревьях; кажется, что летний сплошной холод восполняется, по закону равновесия, тепловатеньким и несносеньким ноябрем; по нервам ходит эта сумрачная теплынь». (Марина Цветаева, будто подслушав это признание, довела его до отчаянного: «Ходит по сердцу пила».)

Пафос прежних соратников понять можно. Им хотелось, чтобы русская музыка, только-только заявившая о себе, и с технической стороны была бы не хуже европейской. Поэтому Римский-Корсаков не мог не упомянуть о «варварской музыке из пустых чистых кварт» в «Хованщине», а взявшись редактировать сочинения Мусоргского, немало сил положил на тщательное «заполнение» этих «пустот». Поэтому Балакирев в письме одному иностранцу бросил о Мусоргском с осуждением, что «вполне признавая в нем огромный талант, в особенности со стороны декламации», он, как и многие другие, не может «преклоняться перед его гармоническим невежеством» и согласиться «с тем его воззрением, что музыка не есть цель сама по себе, но лишь способ беседовать...»

Почти все «кучкисты» готовы были признать, что до Мусоргского никто с такою мощью не изображал народные сцены, но им и в голову не могло прийти, что строптивость Мусоргского в отношении «учебы», «писания по правилам» и его умение вжиться в русскую историю — явления не противоречивые, а смежные, «рядоположные».

Его «ошибки» в музыкальной «арифметике» на самом деле были не каким-то чудовищным «неумением», просто-напросто он был наделен другим слухом. Если музыка не «замкнута» в самой себе, если она — «способ беседовать» (во что свято верил Мусоргский), то и в самый ее язык входит новое, диалогическое начало. А значит и «законы голосоведения» должны строиться на совершенно новой основе.

Русская музыка для европейца не могла не быть «странноватой». Уже «Марш Черномора» Глинки вытаскивал слух человека, воспитанного на Гайдне или Моцарте, в звуковую «неевклидову геометрию». Звуковой мир Мусоргского весь, целиком, даже там, где он выдает себя за «геометрию Евклида» (в том же «Интермеццо») пахнет «геометрией Лобачевского».

«Пустые кварты», столь раздражавшие ухо Римского-Корсакова (долгие годы муштровавшего себя в теории музыки), были в звуковом мире Мусоргского той абсолютно малой величиной, которой «можно пренебречь». Тем более что «щеголял» он не только пустыми квартами, но и параллельными секундами («Балет невылупившихся птенцов»), что тоже было «немыслимо».

Это пренебрежение к «правилам» могло раздражать современников. Но уже в XX веке исследователям приходится «очищать» произведения Мусоргского от редакторского вмешательства доброхотов, да и композиторы к Мусоргскому относятся совсем иначе. Из тех же пустых кварт Скрябин выращивает свой «прометеев аккорд», и диссонанс в роли консонанса становится для него нормой, и его этюды из 65-го опуса «радуют» слушателя параллельными квинтами, септимами и нонами (урок Мусоргского пришелся «впору»). А Прокофьев не побоялся одному французскому «натаскивателю» по теории композиции посоветовать «поступать как Мусоргский», дабы не потерять непосредственности, и не побоялся поставить строптивого Модеста Петровича в ряд немногих с «оригинальным языком» и безукоризненной техникой композиции (куда не попал никто из «кучкистов»). Свиридов прибавит самое главное: Мусоргский не мог слушаться «правил», потому что внимал знаку свыше, писал «озарениями».

«Ужасное» голосоведение Мусоргского разошлось с давно принятыми правилами по очень простой причине. Законы голосоведения, изложенные в учебниках гармонии, — это доведенное до схем «европейское ухо», которое не приемлет «пустых кварт», «параллельных квинт» и диссонансов без разрешения. Ухо Мусоргского оказалось слишком «неевропейским».

Первая настоящая трещина между ним и давними товарищами прошла после неожиданной, несправедливой рецензии Цезаря Кюи на первую настоящую постановку «Бориса». Сказать о «неразборчивом, самодовольном, спешном сочинительстве»... Ведь это была более чем неправда! Но если вслушаться в реплики злосчастной рецензии, так горько поразившей Мусоргского, то первопричина раздражения становится совершенно ясной: «музыки в ней очень мало и ее речитативы не мелодичны... Главных недостатков в «Борисе» два: рубленный речитатив и разрозненность музыкальных мыслей, делающая местами оперу попуриобразной».

Чем эта брань товарища отличается от реплики неизвестного недруга, запечатленной в воспоминаниях Ю.Ф.Платоновой? — «Черт знает что такое эта ваша «Хованщина»! Ни одного мотива, ни одной арии, спектакль интересный, но музыка, музыка — нет!»

Господи! Да в этой «рубленности» — и будущий Стравинский, и Шостакович, и Леош Яначек (чешский «русофильствующий» и до сих пор не оцененный по достоинству композитор), не говоря уже о «надышавшихся» Мусоргским Дебюсси и Равеле.

Мы привыкли «ласкать» ухо мелодией. Гармония кажется нам лишь «приправой». Но мелодии на затверженных гармонических ходах — высыхают, становятся стертymi. И лишь неожиданный гармонический «эмбрион», из которого она рождается, способен вдохнуть в мелодию жизнь.

Но композиция — это вообще не сочинение мелодий, это мышление в звуках. Через звук говорит с нами та Музыка, с которой древние связывали звучание небесных сфер, Ницше — рождение трагедии, а Блок — спасительную стихию, которая звуковой волной накатывается на обезжизненный мир цивилизации и несет с собой возмездие старому миру и — обновление его.

Мелодия — лишь поверхность «тела» музыкального произведения (потому и более ощутительна, очевидна, потому популярные мелодии готовы насвистывать, напевать, мурлыкать под нос люди очень далекие от стихии музыки). В западноевропейской музыке тема («начало» всякого произведения) легла на тонику, доминанту, субдоминанту, на знакомые по учебникам гармонии принципы голосоведения, «мелодизировалась» и за несколько столетий — пообносились. Европейская музыка не могла не исчерпать (рано или поздно) все виды мажора и минора именно в их «мелодизме» (потому — не случайно у Вагнера речитатив вытесняет арию: пусть он не столь «сладок», но зато менее предсказуем).

Цезарь Кюи не понял ничего, когда произносил эти безумные слова: «спешность», «самодовольство». Но при всей нелепости претензий в недостатке мелодизма, он точно уловил особенность музыкального переворота, совершенного автором «Бориса Годунова».

Мусоргский уничтожил мелодию как нечто «вкусное» для уха. В его драме и даже в песнях усилено речитативное начало, в основе его мелодизма — речь человеческая. Или — жест. (Даже в инструментальных пьесах: шаги «Гнома», гневный бас и жалобный тенорок из «Двух евреев», цыплячий писк и шаткие скачки в «Балете невылупившихся птенцов»...)

«Музыка как беседа с людьми». Понятно, что это чуждо академичному Балакиреву, что не совсем понятно даже самому близкому из «Могучей кучки», Римскому-Корсакову, немало сил положившему на то, чтобы Мусоргский, так много замысливший и так немного завершивший, зазвучал после своего краткого жития. Это поймет уже совсем другое поколение: Прокофьев, заново открывший, что оперу вовсе не обязательно писать на «рифмованный текст» (хотя и здесь впереди — «Женитьба» Мусоргского), или Шостакович, мысливший не столько мелодиями, сколько «музыкальными массами», и написавший фортепианные пьесы с непривычным для таковых названием «речитативы».

Даргомыжский был первым из русских композиторов, вставшим на путь усиления речитативного начала. Но услышав молодого Мусоргского, имел все основания признать: «Этот меня за пояс заткнет». Речитатив Мусоргского настолько точен, что становится столь же запоминаем, как запоминаются обычно мелодии. Он доведен до совершенства, до музыкальной формулы, которую, раз услышав, уже не забудешь. Потому так врезаются в память Юродивый, Пимен, царь Борис, Шуйский, Хованский, Марфа и другие.

Но сдвинув музыку с мелодии — на речитатив и жест, Мусоргский не мог не преобразить и свой гармонический язык. Он первым изобразил образ колокольного звона, эти ритмические «гроздьи» созвучий, которые никогда не впишутся ни в какие учебники гармонии.

Римский-Корсаков, описывая последние гастроли Мусоргского по югу России вместе с певицей Леоновой, поражен его репертуаром: когда Мусоргский выступал как пианист, он позволял себе играть «странные» вещи, например — звон из оперы «Борис Годунов». Для Мусоргского «музыка созвучий» не только возможна, но без нее музыка просто не станет «беседой». Колокольный звон — собирает людей и разносит весть, в нем живет соборное начало. И все творчество Мусоргского — с самой идеей народной драмы — это путь через «искусство-беседу» к искусству соборному. Его музыкальная драма род-

ственна — своим строением — церковной службе, только вместо истории о земном пути Иисуса Христа и его воскресении — в «службе» Мусоргского запечатлена история земного пути России...

О Мусоргском нельзя сказать, как о Пушкине: «Это наше все». Зато придется произнести иную формулу: Мусоргский — это все мы. Это разноголосая Россия во все времена и сроки.

«Буфетчик трактира знал чуть не наизусть его «Бориса» и «Хованщину» и почитал его талант, в театре же ему изменили, не переставая быть любезными для виду, а Русское музыкальное общество его не признавало».

Свидетельство Римского-Корсакова говорит, в сущности, о самом главном. Он более всего понятен людям простым, не-музыкантам, поскольку говорит с ними на их языке. Его понял бы и русский простолюдин времен стародавних, поскольку формула Мусоргского — «Искусство есть средство для беседы с людьми» — включает беседу и с теми, кто жил при Борисе, и с теми, кто жил при Петре, и с теми, кто будет жить в веке XX.

Отсюда — угадывание извечной русской беды, которая не оставляет русскую историю и русскую жизнь. Вступление к «Годунову» — протяжная, бесконечная русская даль и всхлипы, плачи, причитания, столь выразительные в народных обрядах. И сквозит «беда», которой нет еще, но которую нельзя уже не чувствовать, ибо — не миновать. И та же беда — в последней сцене, под Кромами. Народ, опьяненный ненавистью к царю-Ироду, и жалобный напев Юродивого:

«Плачь, плачь душа православная!
Скоро враг придет и настанет тьма,
Темень темная, непроглядная...»

В «речевом» мелодизме Мусоргского жило и то вполне простонародное начало, которое в 19 веке оценить было очень трудно. Его музыка могла быть понятнее какому-нибудь народному сказителю, нежели музыканту, привыкшему к салонам, залам и собраниям. Мусоргский и есть сказитель. Только от Шергина или Писахова его отличает не только общее отличие между музыкой и словесностью, но и редкой силы размах.

Да, это размах «Войны и мира», это сила глубинного познания человеческой души «Преступления и наказания» и это разнообразие

людей и людишек «Очарованного странника» и «Соборян». Музыкальные драмы Мусоргского сродни многомерному русскому роману XIX века: историческая мощь Толстого, психологическая тонкость, многослойность и «озаренность» Достоевского и сказовость, пестрое разнообразие Лескова. Как счастливо они соединились в Мусоргском. И сколь малый земной срок был ему отмерен, чтобы все это довести до своей полноты...

Кончина Достоевского, гибель Александра II, царя-освободителя, смерть Мусоргского... Все это — начало 1881-го, когда воздух потемнел, сгустился, и в сумерках золотого века русской культуры стал появляться зловещий серебристо-лунный отсвет будущих разломов.

Он знал все: как «рыщут, бродят слуги Бориса, пытаются люд неповинный», и как снова и снова появляются они, чтобы выкосить смертной косой живые души.

Названия-символы. В них — ясное знание своего настоящего и обещанного будущего («Забытый», «Без солнца», «Песни и пляски смерти»). Как будто видел уже изнуренных неземной тоской «демонов» Врубеля и блоковские «Пляски смерти» («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...»). И — с вечной надеждой рисовал «Рассвет на Москве-реке».

Начало «Хованщины». Светлеющий воздух. Крики петухов. С ударами колокола — входит тревога, предощущение будущего раскольничьего огня. Но если после огнепального финала оперы снова вернуться к началу, снова услышать «Рассвет на Москве-реке», то, что в начале звучало предчувствием бед, теперь слышится как воспоминание о бедах — неизбежных, но проходящих. И все более ощущается счастье рассвета, светлеющего воздуха, крики петухов, восход оранжевого светила...

Начала опер Мусоргского — это всегда предчувствие их последнего «звука». Раскольничий костер, венчающий «Хованщину», едва различим в красном зареве вступления («Рассвет на Москве-реке»), но тревожные утренние звоны нарушают мирный воздух раннепетровской Москвы, до того тревожимый только ветерком и петушьими криками.

Он жил в русской древности. Но и в русской вечности. В увертюрах (как дико звучит здесь это слово) Мусоргского — предчувствие. В финалах — многозначие... Он может провидеть беды нашего злосчастного века, разор, подлость, предательство. Но отказывается от мрачных пророчеств. История России не кончается, она длится. И за временем смуты всегда наступают «новые времена», они тоже неизбежны. И знал, что «Ночь на Лысой горе» не может вечно крутиться и бесчинствовать, что придет и «Рассвет на Москве-реке». И если неизбежны «Песни и пляски смерти», то неизбежна и «Детская».

«НИЧЕГО, КРОМЕ МУЗЫКИ, НЕ СПАСЕТ...»

(Об Александре Скрябине)

Его жизнь начинается с отточия: ранняя смерть матери, почти не видит отца... Маленького Скрябина воспитывали бабушки и тетка. Смерть тоже не поставила точки в скрябинской судьбе, скорее — поставила многозначие. В Петербурге дал один из лучших своих концертов. И после — поезд «из Петербурга в Москву». И на этой извечно горькой дороге России случайно сорвал маленький, едкий фурункул на лице...

Как странно читать гневные возгласы Лосева об «избалованном барине», который, боясь заразы, в своей чистоплотности доходит до абсурда, и как невесело ловить легкое подтрунивание в воспоминаниях Сабанеева, когда он пишет о скрябинской мнительности («За чаем всегда были «сушки», которые Александр Николаевич любил... причём очень боялся, как бы сушка не упала с тарелки на скатерть...»). «Раз она упала, уже не лезть есть. На скатерти могут быть бактерии...»). Ведь знали же, как мучительно он умирал, — давно предчувствовал не только когда (было предощущение, что самое главное не успеет закончить), но и как: от заражения крови.

Смерть его жутка именно своей «необязательностью». Странная, неожиданная, потрясая современников: «Как нелепо, как дико и остро ощущаешь личную долю вины, — ибо когда мы заботимся о наших творцах и художниках, когда мы заставляем их в поисках пропитания скакать по железным дорогам и выступать в паршивеньких городишках, жить в грязи и подвергаться всем случайностям путешествия, мы толкаем их к смерти», — многие испытали нечто подобное тому, что сказал Держановский в этом письме к Мясковскому.

Наверное, не говорить с горечью и с пафосом об этом было нельзя. Как нельзя было не писать стихов «на смерть». И многие — Брюсов, Балтрушайтис, Вяч.Иванов — не преминули откликнуться: «Он не искал минутно позабавить...», «Был колокол на башне, в храме вешнем...», «Осиротела музыка. И с ней поэзия, сестра, осиротела...» Но есть события, которые можно передать лишь самыми простыми словами, есть фразы, где любое лишнее слово — суетно и фальшиво. Лишь один поэт нашел точные слова о том, что произошло в апреле 1915-го, написал только для себя, гениально и просто: «Умер Скрябин». Эта строчка в записной книжке Блока той же природы, что и одностроковый эпитафия, сочиненный некогда Державиным: «Здесь лежит Суворов».

Да, уход Скрябина был не просто смертью великого композитора. Здесь было что-то еще. «Скрябин должен стоять одиноко, — сказал од-

нажды Прокофьев. — Он одинокий гений». Более всего Прокофьеву было ясно, что вслед за Скрябиным идти невозможно: «Скрябин — абсолютно уникальное и ни на кого не похожее явление в русской музыке».

Путь Скрябина — не вполне «композиторский». Был у него лишь один подлинный продолжатель, имевший право «идти вслед», способный в музыкальный язык автора «Прометей» вдохнуть новую жизнь. Юлиан Скрябин впитывал музыку отца вместе с молоком матери. Но гений — всегда миссионер, посланник. И потому — неизбежно, в силу своего места в мире, — подчиняется закону Рока, трагедии, которую он всегда предощущает. Судьба преследует его и за гробом. Наверное, Музыка (та Музыка, которая пишется с большой буквы), устала пребывать на земле. И маленький Юлиан Скрябин ушел из жизни, оставив лишь несколько небольших прелюдий и неразрешенную загадку скрябинского языка, скрябинских образов, скрябинской «Мистерии».

Александр Николаевич Скрябин «одинокий гений» не потому только, что он писал музыку на своем языке (как в литературе это делал Андрей Платонов). Он одинок и в том, что дерзнул уйти из музыки, точно так же, как из литературы — Розанов. В них и вообще много общего, как это ни покажется парадоксальным. И чуткий к чужому творчеству Мясковский не случайно в письме к знакомому сначала об одном собственном сочинении бросит: «детско-скрябинский лепет», а следом — вдруг присоветует: «Почитайте «Уединение» и «Опавшие листья» В.Розанова. Есть гениальные мысли и прямо из нутра... Мысли порой небывалые!» Эта неожиданная, быть может, туманная ассоциация особенным образом высвечивает это на первый взгляд неожиданное сближение. И действительно, Скрябин первым из композиторов отошел от обязательной точки в конце произведения — тоники. И для многих слушателей его музыка звучала так же дико, невероятно, как для читателей «Уединенного» — рваные края розановских отрывков.

Но «рванный край» в музыке мог возникнуть только тогда, когда в самой ее сердцевине произошел какой-то сдвиг. Тут вряд ли стоит подробно останавливаться на типичных высказываниях (как, например, говорили посетители скрябинских концертов в Германии: «Ранние произведения красивы, но не оригинальны — повторение Шопена; поздние — безусловно оригинальны, но зато некрасивы»). Здесь стоит вслушаться в слова действительно достойного оппонента — Павла Флоренского: «...О скрябинских произведениях хочется сказать: поразительно, удивительно, жутко, выразительно, мощно, сокрушительно,

но это — не музыка. Скрябин был в мечте. Он предполагал создать такое произведение, которое, будучи исполнено где-то в Гималаях, произведет сотрясение человеческого организма, так что появится новое существо. Для своей миродробящей мистерии он написал либретто, довольно беспомощное. Но дело не в том, а в нежелании считаться с реальностью музыкальной стихии как таковой, в желании выйти за ее пределы, тогда как музыка Моцарта или Баха бесконечно действеннее скрябинской, хотя она и только музыка».

Не стоит цепляться за спорный вопрос, чья музыка действеннее (всегда один назовет одно имя, другой — иное, и за каждым будет стоять его собственное восприятие, которое кажется непогрешимым). Важно, что Скрябин, действительно, даже внутри своей музыки — шагнул за музыку. Но разве сам Флоренский даже внутри своей философии не выходил то и дело за ее пределы?

Скрябин хотел, чтобы музыка была не только музыкой, но чем-то большим, как и великие русские писатели хотели, чтобы их произведения были не только «изящной словесностью», а философы — чтобы их идеи были не только «мыслями». И Скрябин сумел свою музыку приблизить к тому, что часто именуется словом «мыслеобраз» или «образ-понятие»: «Ирония», «Хрупкость», «Желание» — это не просто названия пьес, это — звуковые формулировки. Он часто о своих произведениях говорил как о набросках к «Мистерии» — и был совершенно точен.

Маленькие пьесы не потому были «набросками», что были незакончены (хотя многие, считавшие, что пьесы Скрябина не заканчиваются, а обрываются, могут это так и понять). Они были закончены, потому что были сформулированы (в звуках). Закончены, как закончены отрывки «Уединенного» — хоть они и с «рванными краями». Но «Мистерия» требовала целого содружества «мыслеобразов», здесь нужна целая «система формул»: и «Желание», и «Странность», и «Ласка в танце» и т.д. Большие его вещи, начиная с «Поэмы экстаза» (прообразы «Мистерии»), — это модели мирозданий, которые сотканы из множества мыслеобразов: «тема мечтаний», «тема творений», «тема томления», «тема воли», «тема полета», «тема самоутверждения», — одно вырастает из другого.

«Одно вырастает из другого»... Когда Скрябин натолкнулся глазами на скандальную «Пощечину общественному вкусу», для него это был курьез, чепуха, потеха. Но — ему понравился Хлебников, «текучесть» его слова. Не было ли тут и иного созвучия?

«Крылышка золотописьмом тончайших жил...» — в знаменитой строчке Хлебникова — детский взгляд на мир, когда видишь не траву под ногами, но каждую травку, когда удивляет архитектура не только цветка, но и тончайшей былинки, когда радуется само разнообразие строений, различие форм: вот лохматая головка кашки, а вот воздушный колосок мятлика. Когда Хлебников мечтал о «Лебедии будущего» и строил в воображении дома-растения — он выразил этот детский взгляд.

Скрябинские строения — от архитектоники его произведений до утопической идеи «Мистерии» — того же плана. «Поэма экстаза» — это развитие от «крылышка золотописьмом тончайших жил», и даже от совсем мельчайшего: от барахтанья простейших в крошечном водоеме — до «объяли звоны», до клокощущего, взрывного полета человеческого духа. Один из рецензентов точно это уловил, сказав об оркестровой музыке Скрябина: «она грандиозна по размаху концепций и вместе с тем миниатюрно-детальна, она необыкновенно причудлива и в то же время алгебраично-закономерна, ее крайняя чувственность совмещается с исключительной абстрактностью».

Хлебников умел совместить в душе размах, ширь степей и любовь к разглядыванию словесных букашек, он вылавливал из стихии языка удивительные формы — и занимался сумрачными вычислениями законов всемирной истории.

Скрябин, перейдя с языка мелодий на язык мелодических формул, не мог не совместить вдохновение и расчет: «Я всегда признаю, что математика в композиции должна играть большую роль. У меня бывают иногда целые вычисления при сочинении, вычисления формы». Музыка, как и архитектура, с которой ее так часто сравнивают, требует совершенных пропорций, по крайней мере таких соотношений, которые выдерживают взаимодействия частей. Скрябинская музыка — особенно когда он пришел к идее видимых световых форм — особенно.

Человек, который маленьким так любил рояль, что целовал его на ночь, и — в то же время — пытался понять его механизм до такой степени, что начал мастерить маленькие, действующие рояли, мог совместить несовместимое. Для Скрябина разрабатывать лады или вычислять мелодию было столь же естественно, как и чувствовать их. Его чувственное и рациональное начала совпадали, как совпадали — в его понимании, в идеале — мелодия и гармония, горизонталь и вертикаль: «...Гармония и мелодия — это две стороны одного принципа, одной сущности, они сначала в классической музыке все разъединялись... А теперь у нас начинается синтез — гармония становится мелодией и мелодия гармонией. И у меня нет разницы между мелодией и гармонией — это одно и то же. В «Прометее» этот принцип строго проведен».

Внешне, только в звуке, — это гармоническое открытие сродни миру «Мнимостей» у Флоренского: «Скрябин играет будто... на каком-то сверхфортепиано, с какими-то призрачными звуками» (Э. Метнер). Внутренне — это и есть основа метафизики Скрябина.

Говоря о его философии, обычно обращаются к ее внешнему облику, судят по записям типа: «Я миг, излучающий вечность. Я играющая свобода...», или — иной тональности: «Я играю. Какой ужас прийти к такому заключению! Я — один!..» и т.д. Это действительно солипсизм во всех его — сладких и горьких — крайностях. Но философия Скрябина — это не тот детский лепет, который выходил из его уст и запечатлелся в его «записях для себя» или несовершенных стихотворных опусах. Как по одной реплике Розанова в «Уединенном» нельзя судить о всей его метафизике (она — за словами, за видимым), как по «Дневнику писателя» невозможно полноценно говорить о воззрениях Достоевского (они — в живой ткани его романов), так и по словесным опусам Скрябина нельзя воссоздать его метафизику: она тоже — «за». Его философию, его Слово нельзя выразить в словах без остатка, — сколько ни говори, ни уточняй — всегда останется что-то в словах невыразимое. Его философию можно только услышать — сквозь его музыку.

Когда-то Шопенгауэр поставил музыку и философию на самую вершину пирамиды искусств. В Скрябине эти два искусства слились: его философия — это звучащие мысли, его музыка — это и философская «система».

Скрябин мыслил не словами, а «звукосмыслами» и «светосмыслами». Его метафизика не излагается, но сопереживается, ему нужен слушатель и (в идеале) сотворец. И если Скрябин стремился к «Мистерии», к действию, то все его словесные записи — это лишь самоощущение творческого сознания. «Я один!» — это лишь один полюс его метафизики, соборное действие — другой. Каждый участник, действующее лицо «Мистерии», должен преодолеть ощущение «оторванности», ощущение «я один!» — и слиться с другими в соборную личность.

Каждое позднее оркестровое произведение Скрябина — это драма творческого духа. Человек создан «по образу и подобию». И поскольку Писание начинается с акта Творения, то образ и подобие — осуществляются в каждом мгновении творчества. Начиная с «Божественной поэмы», а совершенно отчетливо — с «Поэмы экстаза», Скрябин изображает драму творческого сознания, которое «по обра-

зу и подобию». Идея же «Мистерии» — это идея всемирного сотворчества, некое церковное действо.

Философия Скрябина — не суждение о мире и о человеке, но их преобразование. И поскольку «Мистерию» он так и не осуществил, то до конца свою философию он в своем творчестве не воплотил. Сильнее же всего философия его выразилась в его гармонии.

Если посмотреть на кварто-квинтовый круг, тональности «до мажор» и «фа-диез мажор» — окажутся на разных полюсах: Арктика и Антарктика. Касательные к ним — это параллельные, которые никогда не сойдутся. «Тритоновая» основа гармонии Скрябина, сближение «до» и «фа-диез», — это то же, что геометрия Лобачевского. Это параллельные, которые сходятся. Или — иной пример — неаристотелева, «воображаемая» логика Васильева: возможен мир, где не работает закон противоречия, где один предмет может сочетать разные признаки, где лошадь может совместиться с человеком (кентавр). «Тритон» в роли консонанса — это (до Скрябина) нечто совершенно невозможное, противоречие в мире звуков.

Созвучие «до — фа-диез» — действительно не сходится в человеческом ухе. Самое «грязное» созвучие. Но уже Достоевский показал, как убийца может быть благородным человеком, а проститутка — святой. Уже Мусоргский написал по-детски чистый «Балет невылупившихся птенцов», с мелодией на параллельных секундах (ближайший к «до — фа-диез» по «грязности» интервал).

В последних произведениях гармонический мир Скрябина еще сложнее: все строится на нескольких контрастных гармонических вертикалях. Это — принцип русской колокольной музыки, где вертикаль преобладает над горизонталью, где каждый колокол — невероятного объема созвучие.

Западноевропейская музыка шла по тому пути, где горизонталь подчиняет себе вертикаль, где мелодия главенствует (Дебюсси и Равель — это уже влияние Мусоргского на Европу). Русская классическая музыка, только-только родившись, сразу пошла по пути «оправдания» вертикали. Здесь и усиление речитативного (немелодического) начала, и усиление роли созвучия.

Скрябин — следующий шаг за Мусоргским: его темы-восклицания и темы-заклинания — это речитативное начало, сжатое до возгласа, его созвучия — это эмбрионы мелодий. Вся его музыка живет стремлением воссоединить горизонталь с вертикалью (т.е. — идеей креста).

Он совсем не случайно пришел к идее видимой музыки. Его темы играют роль не мелодии, но характера, звуковой личности. Свою «Загадку» (ор. 52, N 2) он видел: маленькое носатое существо с перепончатыми крыльями, и прыгает. Видимая музыка — музыка световых форм — родилась из скрябинской мелогармонии. Самой же «светомузыкой» — он попытался очеловечить то, что не было человеку подвластно.

«Это вечное безмолвие бесконечных пространств ужасает меня», — полный ужаса крик Паскаля — крик человека, вдруг ощутившего себя жалкой пылинкой мироздания, — будет мучить каждого, кто хоть раз был подавлен ночным зрелищем. «Человек — всего лишь тростник...» Но Космос молчит лишь потому, что мы не понимаем его языка — языка света.

Скрябинская видимая музыка — это наша попытка «природнить» Космос, найти общий с ним язык и «заговорить» на нем, попытка ощутить «космос» («строй», «лад», «порядок») и внутри, и вне себя. Это искусство — не только для человека. И оно — искусство соборное.

Он окончил началом. Успел написать только первые такты «Предварительного действия». Судьба — та же, что и «строение» его произведений: в земном, диатоническом восприятии — они не заканчиваются, «обрываются» (хотя и завершены). Его жизнь — оборвалась, она не имела «разрешения в тонику», но в этой неоконченности — все-таки была завершена.

Если «Предварительное действие» не стало подступом к «Мистерии», то оно стало «предварительным действием» к иной мистерии: к новым звукам, новому виду искусства. Можно сколько угодно говорить о «солипсизме» Скрябина. Но если судить по делам... Из Скрябина вышла целая светомузыкальная культура (СКБ «Прометей» в Казани, опыты при музее Скрябина и т.д.), Он заставил ученых рожать инструменты с немислимими ранее тембрами (хотя бы «АНС» Мурзина). И композиторы включились в «Мистерию», когда взялись довоплотить по наброскам «Предварительное действие» (ценная неудача Протопопова и бесспорная удача Немтина).

Скрябин слышал не только музыку, но и Музыку, о которой Блок произнес вещие слова: «Ничего, кроме музыки, не спасет». Музыка спасла и скрябинскую «Мистерию», и его самого.

ДВА ПРОРОЧЕСТВА «СУХОДОЛЬНОГО МУЗЫКАНТА» (О Сергее Рахманинове)

Перечислять все знаменитые его произведения — просто бессмысленно. Настолько их много. Но есть у Рахманинова два сочинения совсем необыкновенных: дважды в своей музыке он был ясновидцем. В первый раз — совсем юным, начинающим музыкантом 18 лет, когда написал быстро ставший знаменитым прелюд до-диез минор (ор. 3, № 2). И второй раз — уже на закате своей жизни, в 1940 году, когда создал последнее произведение — «Симфонические танцы» (ор. 45). Прелюд — это взгляд, устремленный вдаль русского прошлого. «Симфонические танцы» — провидение мирового будущего.

Между этими вспышками рахманиновского гения — почти все его творчество. Второй и третий фортепианные концерты, симфонии, «Остров мертвых», два цикла прелюдий, «Этюды-картины» и многое, многое еще — ничуть не хуже раннего фортепианного прелюда и позднего оркестрового сочинения как музыка. Но свет, идущий именно от этих двух произведений, очерчивает контуры его неповторимого музыкального Слова.

Когда Рахманинов оказался в Америке, он был поражен невероятным, почти маниакальным пристрастием и пианистов, и слушателей к раннему своему до-диез-минорному прелюду. Он готов был насмешничать над своим — по его представлению — чрезмерно популярным детищем, ревновал к нему более поздние сочинения и, разумеется, был неправ. Этот ранний прелюд, в котором публика слышала перезвон московских колоколов, в чем-то подобен чудотворной иконе, которая, как живое существо, имеет свою судьбу. И эта «иконописность» колокольного прелюда — совершенно особого рода...

Есть у Бунина крошечный рассказ «Муравский шлях»: тройка, пустынная, бесконечная русская даль — и разговор ямщика с баринном: «Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь, и все не могли пройти...» — «А давно?» — «И не запомнит никто... Больше тысячи лет!»

Вместе с заглавием рассказ уместается в двенадцать строчек. Но пространство его распаивается, взгляд читателя — скользя над бесконечным Муравским шляхом — уходит за горизонт, и в эту секунду за мгновением чувствуешь дыхание вечности.

Прелюд Рахманинова — с тою же неоглядной далью в пространстве и времени. Это несколько минут, вместившие тысячелетия. Тяжелые басы, в ответ — всплески «колокольных» созвучий, снова басы и снова всплески. И вдруг — стремительный, тревожный полет, взгляд уходит за горизонт, где хоть и едва-едва, но различимо и начало русской истории, и татарское нашествие («как муравьи»), и поле Куликово — с конским топотом, криками, звоном мечей, болью и осиянной высью над раскрытыми глазами павшего ратника... В конце — не просто возврат к началу: снова колокольный звон, но уже громкий, гулкий, «вечный».

Рахманинова и Бунина часто сравнивали. В глаза бросается их внешнее сходство, вспоминается долгий, по-братски участливый разговор в незабываемую (на всю жизнь!) ялтинскую ночь, телеграмма Рахманинова к бунинскому юбилею: «Примите душевный привет от суходольного музыканта». Но было и глубинное родство: врожденная историческая память, суховатость, сдержанность при крайней — до судорог — страстности, «русскость» без бутафории — косовороток, лаптей и кокошников, — и особая образная обобщенность, когда каждое мгновение не исчезает, но (видимое через толщи времени) живет «всегда».

Две «тройки». Знаменитый «Ноябрь» Чайковского из цикла «Времена года» и уже зрелый прелюд Рахманинова соль-диез минор (ор. 32, № 12): кажется, слышишь колокольцы и бубенцы, чувствуешь мерную «рысь» и — не то сыплющийся снежок, не то моросящий дождь. Различия между тройкой Рахманинова и Чайковского не только в том, что у Петра Ильича она — светлая, радостная, трусит по чистому, сверкающему снегу, а у Рахманинова — дорога «без солнца». Кажется, в музыке Чайковского видишь и расписные сани, и веселого седока, и смех сидящих рядом, и каждое движение лошадок. Это тройка единственная, неповторимая. Это — изумительное «сегодня», которое промчится и не повторится уже никогда. У Рахманинова — иное. Это «тройка вообще», «тройка навсегда», символ вечной России.

В мелодиях «суходольного музыканта» — печаль русских полей, необозримых ни в каком-либо пространстве, ни во времени. Он словно чувствует за той Россией, в которой он родился и вырос, — ту Россию, которая была испокон веков, и в веках и пребудет.

В темах Рахманинова часто находят отголоски древних знаменных распева (не только во «Всенощном бдении», где композитор был обязан за ними следовать, но и в симфонической и фортепианной музыке).

Распевы пришли в его творчество не как заимствование, а как свое, пришли не потому, что он хотел дать образ России, но потому, что Русь всегда жила в глубине его существа и «выражалась» в его музыке сама собой, «дышала» в его ритмике, мелодиях, «колокольных» и «хоровых» созвучиях.

...И он как творец мог дышать только русским воздухом. На чужбине — почти перестал сочинять. В 1926 году переложил три русские народные песни на хор и оркестр и сумел закончить 4-й фортепианный концерт, начатый в предвещающий скорые беды год 1914-й. Через пять лет, в 1931-м, появятся «Вариации на тему Корелли», еще через три — «Рапсодия на тему Паганини». Середина 30-х — это мрачноватая третья симфония, год 1940-й — последнее сочинение: «Симфонические танцы».

Они словно вобрали в себя все, что он когда-либо написал. Здесь можно различить и отзвуки знаменитой поэмы для оркестра, хора и голосов «Колокола», и дыхание «Острова мертвых», и черты прежних симфонических произведений. Зазвучит здесь и тема из «Всенощной», и как зазвучит!

В «Симфонических танцах» иногда видят скрытую автобиографию. Автор и сам трем частям своего сочинения хотел дать название: «День». «Сумерки», «Полночь». И — не дал. Как «Суходол» Бунина живет не только его биографией, не только родовыми преданиями, но и горьким воздухом родины, так и последнее произведение «суходольного музыканта» вместило в себя и его прошлое, и его настоящее, и память о далекой России, и потемневший к середине века, «тяжкий» воздух Земли.

Первые же аккорды поражают своей «неклассичностью». Рахманинов в музыке всегда был столь же непреклонный «консерватор», как и Бунин в прозе. И все же не случайно он когда-то в своем небольшом издательстве «Таир» издал «Взвихренную Русь» Алексея Ремизова. В дикиннинной прозе знаменитого словесного «затейника» сквозь описания потешных снов и нелепых житейских ситуаций сочится жуть, мертвенное дуновение смутных времен. Тайный ужас трепещет и в «модернистских» гармониях «Симфонических танцев».

Переходя от одной части к другой, действительно ощущаешь, как сгущается мрак. В первой — *Non allegro* — есть русская безбрежность, песня полей, только это мелодическое воспоминание стиснуто напористыми, зловеще-дурашливыми прыжками другой темы, за которой узнается неприглядное лицо XX века. И вторая часть — мелодичный

вальс — уже лишен живого простора. Изгибы мелодических линий не дают вглядываться в даль, а кружат, кружат, и все отчетливей это извилистое движение пропитывается чернотой и крошечным одиночеством. И уже с этой болью душа человеческая попадает в третью часть — в мрак и лязг мирового шабаша.

В изображении мира бесов, ведьминского хоровода, плясок нечистой силы Рахманинов оказался достойным преемником Мусоргского с его «Ночью на Лысой горе». Но разнузданный ночной бал Сатаны у Мусоргского кончается рассветом, сошедшей на Землю тишиной, покоем, добротой. Третья часть «Симфонических танцев» начинается с полночи, с двенадцати звонящих ударов, но полночью и заканчивается. Время земное остановилось, и в этой паузе жизни раздался подземный гул, полетела нескончаемая, изматывающая душу пляска оборотней, упырей, кикимор и прочей нежити.

Идиотские прыжки, визгливое хихиканье, хрюкающие рыла — все, чем оказался богат с избытком XX век — вылетело на волю. Знаменитый погребальный напев из древнего реквиема *Dies irae* («День гнева»), который прокатился по всем последним сочинениям Рахманинова, здесь зазвучал в полный голос — и в явном виде, и во всевозможных мелодических превращениях и поворотах (именно как «оборотень»). Зазвучала и одухотворенная тема «Слава Отцу и Сыну» из «Всенощной», но здесь, в «Симфонических танцах», она начисто лишена духовности. В этих неуклюжих торопливых басах чувствуется что-то медвежье. «Русский медведь» на цепи, пляшущий на потеху ленивой публике?

По Рахманинову можно как по камертону выверять свою жизнь, поскольку в его музыке отчетливо «веянье судьбы». (Потому в его творчестве, как и в его душе, жила нетерпимость ко всякой фальши, ко всякой чрезмерности. Он и о своем юношеском шедевре, до-диез-минорном прелюде, говорил иногда с пренебрежением потому лишь, что слишком популярен был его ранний опус. Популярен до «нескромности», до «шлягерности». А всякая «шлягерность» и нескромность была Рахманинову органически чужда. При его крайней строгости к каждому, даже особо любимому произведению, такая популярность казалась слишком вызывающей.)

Но не только свою жизнь, «жизнь человека», можно настраивать по Рахманинову, но и жизнь народную.

В 1940 году, в «Симфонических танцах», композитор увидел и всю Вторую мировую, и Великую Отечественную, и Хиросиму. Но если бы он хотел изобразить только «ужас тоталитаризма», ему бы хватило традиционных музыкальных средств. Гармонические изломы «Симфони-

ческих танцев» выразили не только «мировую бойню», но и самый конец века: нашествие безликой и оголтелой пошлости на людские души. «Мчатся бесы рой за роем...», «имя им — легион». Не это ли предчувствие, что за тиранами и жестокостью неизбежно следуют демагоги и не люди, воплотилось в последней части «Симфонических танцев»? Именно чтобы передать торжество дьявола, «суходольному музыканту» нужны стали совсем новые, «неклассические» краски.

После самой мучительной и зловещей «медвежьей пляски» (за которой — как воспоминание — все же сквозит изначальное: «Слава Отцу и Сыну!») — падают последние аккорды. Музыкальное пророчество Рахманинова как бы и не кончается, но обрывается. Одно из самых страшных произведений XX века подводит к черной, вопрошающей немоте. Но в этом обрыве — та смутная, неясная надежда, как во всяком многоточии.

НА ВОЛНЕ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

«Небо — как колокол» — вовсе не метафора. Это виденье мира. И не только «неокрестьянского» поэта Есенина.

...Ах, когда б до небесного звона
Мог найти очарованный путь, —
На волне колокольного звона
В голубых небесах потонуть!..

Кажется К.Фофанов, чтобы написать эти строчки, должен был жадно, закрыв глаза, слушать звон колоколов, жадно втягивать пронзительный весенний воздух... От дрожания мирового Колокола — небо «дышит». И звуковая волна столь мощна, столь плотна, что может подхватить человека и унести в небесную глубь. Пройдет чуть более десятка лет, и в «Поэме экстаза» — самом «полетном» произведении Скрябина, в момент кульминации, когда тонешь, тонешь в небе, — начинается ликующий перезвон, и музыкальная волна уносит именно вверх, ввысь, в небесное сияние. Звук колокола, слышимый с детских лет, настраивал ухо особенным образом.

В Европе раскачивают колокол и бьют им по языку, в России — языком бьют по колоколу. Потому, — обычно поясняют, — и колокола в

России массивней, мощнее, поют «низким голосом». Как будто способ игры родил колокольный «бас», а не наоборот... Только низкий звук мог разойтись по большому пространству (колоколами передавали сигнал о нашествии от одного города — к другому). Быть может «диктат» пространства и заставил лить большие колокола (в которые — из-за их веса — пришлось бить языком)?..

Those evening bells, those evening bells... В этой строчке Томаса Мура — перезвон вечерних колоколов: три зазывных удара малых, с подчеркнутым «и» — удар среднего: «bells», на «э», — три удара малых — удар среднего. Козлов перевел эту мелодию (сохранив общий ее рисунок) на русские, более тяжелые колокола: «Вечерний звон, вечерний звон», — три удара средних колоколов, на «э» (первый (фонетически) и третий — чуть выше, тянут к «и») — удар большого: «о...» — три средних — большой...

(Музыка произношения: «ви-чер-ний-звон» — как «ми-ре-ми» — и вниз, мелодия песни не хочет идти в унисон, движется контрапунктом, перечит: «ре-ми-ре» — и вниз, но не глубоко, как в слове, а только до «си»). И все-таки долгое «зво-о-он» подчеркивает и силу, и «басовость» звука.)

Мур (англичанин) в свой перезвон вводит «bells» («колокола»), он слышит «тело», издающее звук; удар большого колокола у Козлова — «звон» — рисует не сам колокол, а его гудящее, незримое, вещее слово (тяга русского — к бесплотному).

Из композиторов-«звонарей», передавших не просто «копию» колокольного гула (здесь был свой виртуоз — Сараджев), не просто ощущение, но дух колокольного звона, первым был Мусоргский. В «Борисе» (коронация Годунова) звон отдает скоморошеством и юродством. В мелодическом рисунке перезвона — отзвук балалаечных наигрышей. Собор ощутим, но именно — Василий Блаженный (затейливый, гениально асимметричный собор — как образ маленького города с разновысокими луковичами и крестами). Есть оттенок этого чуть-чуть тронутого иронией видения мира и в переделке Мусоргским слов народной песни «Про Казань». В подлиннике — эпично, без резких движений, само мгновение взрыва — опущено:

Воску ярого свеча затеплилася,
 Что и с порохом бочка загорелася,
 Что побило татар сорок тысячей и три тысячи.

Мусоргский, черкнув здесь, черкнув там, кое-что добавив — написал вышукло, зримо и — затейливо:

Задымилася свечка воску ярова,
 Подходил молодой пушкарь-от к бочечке,
 А и с порохом-то бочка закружилася,
 Ой, по подкопам покатилося
 Да и хлопнула...

Сюжет «завинчивается», драматизируется, но в описании взрыва прыгает что-то пародийно-залихватское: не бочка с порохом рванула — хлопнушка «хлопнула».

Карикатурность, «небывальщина» — и в «Картинках с выставки» («Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Яга»). Но в «Богатырских воротах» — другой звон: скоморошество исчезает, появляется торжественность, перед финалом тревожно ухают низкие колокола (почти как в одном эпизоде «Рассвета над Москвой-рекой») и, все ускоряясь, все громче, залиvistее лупят маленькие — переплавляя тревогу в ликование и праздник.

Алел ты в зареве Батя —
 И потемнел твой жуткий взор.
 Ты крылья рыже-золотые
 В священном трепете простер.
 Узрел ты Грозного юрода
 Монашеский истертый шлык —
 и навсегда в изгибах свода
 Застыл твой большеглазый лик.

Восемь бунинских строк, описание мозаики в Московском соборе. Прочитав это, Иван Шмелев не удержался от возгласа: «Ведь в «Шестикрылом» вся русская история»...

Рахманинов так же противостоит музыкальному «модернизму», как Бунин в поэзии — символистам. Он так же сдержан и холодноват. И в

этом «консерватизме» (с точки зрения музыкального языка — он даже на фоне Мусоргского кажется архаистом) столь же оригинален.

Прелюд *cis-moll* — не просто звук колокола, это хор колоколов, «собор» (если взять это слово во всем многообразии значений), спетый колокольными голосами. Удаленный, тихий звук — воспоминание, историческая память (очень сильная и «нутряная» у Рахманинова), которая разворачивается, захватывает автора, становится его «другим» настоящим.

Звук нарастает, многоярусные колокольные «грозди» вызывают «отпевание» в ответ на гулкий бой басовых, потом — стремительный, тревожный «полет» колокольного звука («Алел ты в зареве Батя...»), «Летит, летит стальная кобылица...»), и снова — мрачные басы и сурово-просветленные аккорды. Это русская история, явленная в одной лишь пьесе.

Он написал его почти мальчиком! Откуда эта вековая, в звуках запечатленная мудрость? Это было — прозрение, откровение, подобное тому, какое испытал Блок в цикле «На поле Куликовом», минута редкого ясновидения.

И как юродивый Иоанн Рыдалец в рассказе Бунина на глазах читателя из бесноватого превращается в святого, уходя в предание, его прелюд, заканчиваясь, уходит из плана переживания, становится преданием о России, «Святой Руси», преданием, созданным до еще того, как Россия рухнула.

«Легион и соборность» — название статьи Вяч. Иванова — могло бы стать определением духовной жизни России «рубежа». Бес безлик («имя ему — легион»), собор — собор личностей и ликов. И слово колокола — людей собирает, и голос хора — соборен. На церковном пении и колоколах взошла гармония и мелодика Рахманинова.

Колокола звучали в его музыке и после, звучали во множестве. И колокольцы на русских тройках (прелюдия *cis-moll*), и тревожные удары колоколов, открывающие 2-й концерт, и в поэме «Колокола» — колокола и колокольчики от свадебных до похоронных, и самые разнообразные в «этюдах-картинах». Но нигде уже не было того «горнего», чистого звука, как в раннем прелюде. «Легион» выдавливал из души России «соборность», «День гнева» (*Dies irae*) — стоял у порога, просачиваясь короткой темой знаменитой секвенции в сочинения

Рахманинова. Эпоха наливалась мрачностью, Рахманинову слишком настойчиво виделся «Остров мертвых» в жизни XX века. И если в Первую мировую, во «Всенощной» (1915) будет хоровое (соборное) просветление, то во вторую, в последнем сочинении «Симфонические танцы» (1940), — может быть, самым жестоким, самым безрадостным, мучительным, безнадежным, — зазвучит вдруг страстная, религиозная тема из «Всенощной», но уже — в бубенцах и гримасах («на дурацком колпаке — бубенец разлук»), в ритме тяжелой «медвежьей» пляски, — резко всплывшее юродство и скоморошество, но не живое и затейливое, как у Мусоргского, а жуткое, как смех палача, как приторные, полные издевки «покаяния» «Грозного юрода», — с наплывом совершенно «неклассических», резких, «обезумевших» гармоний. Век («имя ему — легион») звучал оскорблением для соборной души Рахманинова, и бесноватый «легион» — ворвался в последние его сочинения под позывные *Dies irae*.

Скрябин (поздний) весь «звонит». Уже современники заметили, что его фортепьяно звучит почти фантастически, оно словно «излучает» неземные тембры.

Он сблизил самые далекие в «квинтовом круге» тональности. Его гармония — рядом с классической диатоникой — как обратная перспектива в живописи рядом с линейной. Не «объективный мир», поданный через субъективный «глаз» художника, но «мир субъективный», личность — под Божьим Оком.

Человек здесь — микрокосм, в нем — гармоническая система Космоса. В Скрябине — при всем видимом новаторстве — путь к архаике и синкретизму. «Мне тесно в темперированном строе», — фраза, которую не мог сказать никакой «прогрессист».

Его «тритоновость» — это разрушение чистых («естественных», «природных») интервалов (не то увеличенная кварта, не то уменьшенная квинта). И если представить ее вне темперации — получится «мерцающая» (не то «бемольная», не то «диезная», «геометрически» — мнимая) тональность. Но это же и путь мысли Флоренского — о «мнимостях в геометрии» и «обратная перспектива». Мир «мнимых величин» («побочная» тональность в сочинениях позднего Скрябина) — реален, как реален и «мир иной».

Два наиболее радикальных выхода из традиционной ладовой системы в XX веке — Скрябин и Шенберг. И насколько второй — рационален (качество вовсе не уничтожительное, а, скорее, подчерки-

вающее особенность германского ума), настолько первый («дважды-цепной» лад Скрябина) — интуитивен, как «прозрение», «откровение».

Его музыку слишком часто сблизжали с «дьяволизмом». Тоскливое и поверхностное слушание. Один священник был убежден, что «музыка его — бесовская», Даниил Андреев зачислил его в «темные вестники», А.Ф.Лосев в ранней (долагерной) работе произнес «непроизносимые», страшные слова: «Христианину грешно слушать Скрябина, и у него одно отношение к Скрябину — отвернуться от него, ибо молиться за него — тоже грешно. За сатанистов не молятся. Их анафемствуют».

Но путь «горе» — у каждого свой. И, может быть, все-таки был прав протоиерей В.П.Некрасов? — «Да воспарит его светлый дух к Богу, которому он служил своими художественными взлетами в надземную высь»...

Изнеженность, нищестанство, самообожествление, склонность к теософии, — сто раз слышанное и переслышанное, — не слишком ли «броски» эти суждения о Скрябине? Его философы — наивны, его стихи — детские попытки обуздать слово, но его музыка — больше его рассудка. Может быть, Мандельштам был зорче и точнее? — «Через него Эллада породилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах. Во всяком случае, к ним он гораздо ближе, чем к западным теософам. Его хилизм — чисто русская жажда спасения; античного в нем — то безумие, с которым он выразил эту жажду».

Скрябин действительно «раскольник»: защищать чистые лады, идти против темперации — это защищать двуперстие от рациональных изысков никониан. (И в нем же — рациональное начало, темы его часто почти графичны (как у Баха, хотя и другого характера). Быть может, их только и было — два композитора, которым мощное «рациональное» начало не мешало, ибо было лишь фундаментом интуитивного, высшего зренья).

Разве не прав (по-своему) советский музыковед, который с ужасом писал, что солипсист Скрябин вдруг из субъективного идеалиста превращается в объективного, когда в конце седьмой сонаты — со звоном колоколов — композитор обратился к идее церкви.

Сам Скрябин в 7-й сонате видел «к небу подвешенные» колокола («Небо — как колокол»), зовущие человечество к мистериальному действию, к соборной личности.

«Я раньше думал, когда был вроде ницшеанца, таким сверхчеловеком, что я один все сделаю, что это моя личность все свершит. Но ведь моя личность отражена в миллионах иных личностей, как солнце в брызгах воды... их надо соединить, эти брызги, надо собрать личность воедино... Получится единая соборная личность». Здесь не сделан еще последний шаг, еще много от прометеевского титанизма, но уже сквозит идея соборной личности.

После 7-й сонаты «волна колокольного звона» прокатилась через его поздние вещи, — то перезвонами маленьких, то гулками, иногда — затаенными ударами больших. В этюде ор. 65 N 3 — бег по звенящей «лестнице на небо» и ликующие прыжки (все выше, дальше и выше!) под колокольный бой. О прелюдии ор. 67 N 1 говорили как о «колдовских туманах», а в ней отчетливо звучит ионинский звон Ростова Великого.

«Но это же катастрофа!» — слова, сказанные на смертном одре, последние слова. И жутью веет от них, и как по-детски наивен был Скрябин в своей вере, что когда-нибудь прозвучит — нет, — свершится его «Мистерия», что оживет то самое создание, ради которого он пришел в мир.

Он двигался от дионисийства — к христианскому храму. В его «Мистерии» — жажда соборного действия, храмовой службы, но не рядовой, а той единственной, последней, апокалиптической — перед вторым пришествием и преображением. В нем действительно жил раскольничий дух, готовность на самоожжение во имя Истины. Фрагменты «Предварительного действия» (Сабанеев вспоминал сыгранное Скрябиным) — «полная опрозраченность музыки», «полное обесплотнение ее», т.е. полное просветление плоти (как по-детски попытался выразить в словах сам Скрябин: «Объяли звоны тишину»). «Прометей» — это преодоление Хаоса, сотворение мира. Партия света — отражение света незримого. Белый, ослепительный свет в финале — свет Абсолюта, Его явление (Люцифер-Денница — красен). Белый свет — изначален (он «разложим» на цвета радуги, но во-

все не есть их «смесь», напротив, радужный спектр — его порождение).

Это был путь к Храму, но не путь привычный, не путь преодоления «земных» препон и сомнений, но путь прозрений. Колокола не могли не зазвучать на этом пути, но и они были — не отражением земного звучания, но — провидением. Это — колокола мистические, небесные.

История колоколов писана на языке символов. Судьба московских больших колоколов — сплошная цепь несчастий: «Годуновский» колокол упал и разбился во время пожара в XVII в., колокол Данилова (1654) — разбился при сильном ударе (вряд ли мастера были плохи, тут — судьба, «указующий перст»), «громовый» колокол Григорьева (куда «влились» и обломки даниловского) погиб в пожаре 1701 г. — упал, разлетелся «на черепки». Каждый колокол — на останках предшественника, но все больше, все тяжелей. Царь-колокол Моторина «впитал» осколки колокола Григорьева.

Московские пожары словно предопределили судьбу России. При пожаре 1737 года Царь-колокол треснул, так и не побывав на колокольне. И, еще при царях, колокольный царь — не став живым голосом — превратился в музейный экспонат, как символ будущей судьбы государства: «...И общей не уйдет судьбы»...

Когда Россия шагнула в Зазеркалье и стала жить в мире мнимых величин даже живые колокола превращались в предание. Но — в «набатный» год (1942), когда души очистились всеобщим страданием — голос колокола, вещь его слово — зазвучало во всю мощь.

Седьмая соната Прокофьева, быть может, последнего великого композитора-«звонаря», написана в краткой творческой «вспышке», за несколько дней.

Первая часть — перепутанные военные кинохроники и — словно вопреки этому кошмару взрывов, пожаров, смертей — чистая, звенящая капля. Третья часть — «контрудар» и неудержимый, материальный напор. Часть вторая — почти духовная музыка, она точно ложится в магическую фразу: «По ком звонит колокол».

Это — остановка между тревожным началом и «напроломным» финалом. Это — облегчение после тяжелого сна, солнце в окне, которое вдруг пробуждает воспоминания, все более тревожные, все более

отчаянные, и эта память — ломанным, отчаянным боем колоколов взывает к Высшему.

Колокола часто отливались в поминовение усопших. Каждый удар, каждое касание края языком, каждое слово колокола — произносилось им в память. Прокофьев «отлил» колокола памяти павших, погибших, замученных, просто скончавшихся. В его сонате отчаявшийся человек — задавленный картинами торжества злых сил — повернул свое лицо к небу. И к нему сходит медленное утешение: боль усмиряется, расплывается, рассасывается. Остается отзвук далеких колоколов, тихое солнце, «вечный покой» и «вечная память».



Георг ТРАКЛЬ (1887–1914)

ЭЛИС

1.
Совершенно безмолвие дней золотых.
Под кроной древнего дуба
Являешься ты, Элис, тишайший, с распахнутым взором.

Его синева отражает дремоту влюбленных.
И на устах твоих
Угасают их цветущие вздохи.

Вечером полный невод выбирает рыбака.
И добрый пастух
Ведёт свое стадо к опушке лесной.
О! как праведны дни твои, Элис.

Нежно склонился
К голым стенам синий покой.
И умолкает древнего старца тёмный напев.

Золотая ладья
В одиноком небе раскачивает, Элис, сердце твоё.

2.
Нежный колокол бьётся в груди Элиса
В сумерках,
Когда голова его никнет к чёрной подушке.

Синий зверь
Истекает кровью в терновнике.

Одинокое бурое дерево
 Роняет голубые плоды.
 Созвездия
 Утопают безмолвно в вечернем пруду.

За холмами уже притаилась зима.

Синие голуби
 Пьют ледяную испарину
 С хрустального лба Элиса.

И только
 Божий ветер бьется о чёрные стены.

В ТИШИНЕ И ПОКОЕ

Пастухи схоронили солнце в облетевшем лесу.
 Рыбак
 Вытащил неводом месяц из ледяного пруда.

В голубом кристалле
 Поселился жилец; он прижался щекой к своей бледной звезде,
 Он уходит с головой в пурпурные сны.

И снова и снова чёрные караваны птиц влекут
 Мечтателя к тайне голубого цветка.
 В тишину забвения, к своему погибшему ангелу.

Кочует мысль в лунных скалах;
 И сияющим отроком
 Явилась сестра осени в чёрном распаде.

(переводы с немецкого Татьяны Грауз)

Людвиг УЛАНД (1787–1862)

МАЛЬВА

Снова, снова предо мною,
 Мальва блеклая, цветешь.
 Встреча с минувшей весною,
 Эта боль, и эта дрожь.
 Роза осени унылой,
 Не ярка и не пестра,
 Потускневшего светила
 Безуханная сестра.

Здравствуй, мне понятна эта
 Честность блеклости твоей;
 Ни бушующего цвета,
 Ни пылающих страстей;
 И не лицемерь, не надо,
 Не к лицу тебе пожар.
 Кроткий цвет — твоя отрада,
 Томная печаль — твой дар.

Рихард ДЕМЕЛЬ (1863–1920)

ANNO DOMINI 1812

Над полями мертвыми России
 ночь простерла мертвенные длани;
 смотрит, волоокая, мерцающая,
 в белый, ровный, тихий дол холодный.
 Под дугою бубенцы звенят.

Стук глухой копыт, белесый иней,
 скрип полозьев, свист кнута, дыханье
 лошадей клубится; снег взметенный
 за санями шлейфом серебрится.
 Вдоль дороги — белые березы.

«Эй, что слышал ты о Бонапарте?»
Старый кучер, вздрогнув, обернулся:
кто он, жестколицый чужестранец
с каменною твердостью во взгляде,
помянувший проклятое имя?

Думает старик, молчит и мнется;
думает и крестится пугливо.
Над землею в осажденном небе
темно-красный в черном чреве тучи
пламенеет месяц остророгий.

Темный снег кровавый на дороге;
на ветвях блестит кровавый иней;
чужестранец залит темной кровью.
«Ну, так что слышать о Бонапарте?»
Мрачно бубенцы звенят в ответ.

Бубенцы звенят: поют и плачут.
Кучер молвит строго и печально —
словно звуки древнего преданья,
тяжело, торжественно и тихо,
понеслись слова над долгим снегом:

«Велика была лихая туча,
вздумала похитить месяц ясный;
только не поддался месяц ясный,
разметал Господь лихую тучу.
Отчего же плачешь ты, народ?»

Навалились скопом злые тучи,
вздумали похитить звезды с неба;
только звезды тучам не поддались,
разметал Господь по небу тучи,
вечен, вечен свет звезды небесной.

Был велик могучий император,
было у него лихое войско;
но у нашей матушки России
без числа в груди сердец горячих,
вечен, вечен свет души народной».

Звуки глухо отдаются в звездах;
скрип полозьев, свист кнута, рыданье
бубенцов; кровавое мерцанье
инея на стынувших берегах.
Смотрит вдаль великий император.

Смотрит вдаль, на голую равнину.
Над полями мертвыми России
Ночь простерла мертвенные длани.
В небесах — кривой багровый месяц,
В небесах — кровавый серп Господень.

Уильям Батлер ЙЕЙТС (1865–1939)

ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ

Гарри Клифтону

Так истерички говорят: тошнит
От этих всех мольбертов и смычков,
И от поэтов — что их веселит?
Когда всем ясно: этот мир таков,
Что, если в корне все не изменить,
То просто прилетит аэроплан
И нам такой устроит кегельбан...
Все разбомбит. И негде будет жить.

У всех свои трагедии идут.
Вот бродит Гамлет, вот бушует Лир.
Офелия, Корделия — все тут.
Но пусть финал, пусть это сам Шекспир
Под занавес, апофеоз страстей, —
Не пустит в стих ни плача, ни хулы.
Достойный выдающихся ролей,
Он знает: Лир и Гамлет — веселы.
Избыт весельем ужас бытия.
Что жизнь? Цепь обретений и потерь.
Вдруг мрак — и небеса сражают «Я» —
Вот пик трагедии. И пусть теперь

Бормочет Гамлет, проклиная Лир,
И пусть финальный занавес опять
На миллионах сцен опустит мир, —
Трагичнее трагедии не стать.

Они являлись пешими, верхом,
С морей, и гор, и шли, и шли вперед,
Культуры старые круша мечом;
Потом и их не стало в свой черед,
Где ныне Каллимах, который мог,
Как с мягкой бронзой, с мрамором играть
И статуи свои так одевать —
Казалось, складки треплет ветерок.
Его светильник, стройностью своей
Похожий на приморских пальм стволы,
Не простоял и двух коротких дней.
Все поглощают времени валы.
Все создается вновь рукой людей.
И те, кто создают, те веселы.

Китайцы, две фигурки; рядом — третья.
Исполненные тонкими штрихами
На лазурите. Символ долголетия —
Над ними птица с длинными ногами.
Тот, третий, видимо, слуга, несет
Какой-то музыкальный инструмент.

И каждая щербинка синих сот,
И каждый узкий цветовой сегмент
Подобны лесу, склону и реке,
И снегом занесенному хребту,
И в то же время видно вдалеке
Черешню или вишню, всю в цвету,
У домика, куда идут они
Втроем. И мне приятен обиход
Их жизни, небу и горам сродни,
Их взгляд на все трагедии с высот.
Вот просит грустной музыки один.
Простые звуки льются в небеса.
И их глаза мерцают из морщин,
Их древние, веселые глаза.

Франк ВЕДЕКИНД (1864–1918)

ПЕСНЯ О БЕДНОМ МАЛЬЧИКЕ

На свете бедный мальчик жил,
Он слеп на оба глаза был,
На оба глаза был.
У пацана был старый друг,
Он был на оба уха туг,
На оба уха туг.
Такой союз у них возник —
Слепой пацан, глухой старик,
Совсем глухой старик.

И вот суровою зимой
Их случай свел с хромою вдовой,
Совсем хромою вдовой.
По ней шальной локомотив
Проехал, ногу отхватив,
По пояс отхватив.
Втроем бредут едва-едва:
Пацан, старик и плюс вдова,
Хромая бедная вдова.

Девиде нет и сорока,
Она не замужем пока,
И девственна пока.
Венцом девической красы
Служили пышные усы,
Гусарские усы.
Она, кусая черный ус,
Моча слезами черный ус,
Молила взять ее в союз.

Берем, берем, что за вопрос!
Идут. Лежит под лавкой пес,
Лежит под лавкой пес.
Он был бельмаст, паршив, беззуб.
Сказать по правде — полутруп,
Паршивый полутруп.

Но он в союзе пятым стал,
Скуля, кряхтя, но все же встал
И в путь поковылял.

В нужде и горе жил поэт.
Ни славы нет, ни денег нет,
Ну ни копейки нет.
Он кровью сердца все писал ...
Никто поэта не читал,
Никто его не знал.
В глазах — печаль, на сердце — груз ...
И он за псом вступил в союз,
В союз духовных уз.

И вот на радость всех бродяг
Он пишет пьесу в трех частях,
Одну, но в трех частях.
Вот список лиц из пьесы той:
Пацан слепой, старик глухой,
Несчастный и глухой;
Усатая девица и
Вдовица без одной ноги,
Ну напрочь без ноги.

И не прошло и двух часов,
А уж спектакль совсем готов,
Спектакль совсем готов.
Его поставил виртуоз —
Беззубый шелудивый пес,
Паршивый старый пес.
Премьеру цензор разрешил,
Премьеру критик похвалил,
Народ в театр толпой валил.

Аншлаг, аншлаг, аншлаг, аншлаг !
Актеры, сцена — все в цветах;
Пса носят на руках.
Конечно был и дивиденд,
Со сборов кругленький процент ...
И вот ангажемент:

Берлин, Париж и Амстердам,
Потом — Америка и там —
Турне по крупным городам ...

Мораль сей басни, господа:
Увечье — минус и беда,
Тяжелая беда.
Поэзия ж тяжелый груз
Преображает в жирный плюс,
В завидный жирный плюс.
Высок полет высоких душ.
Каков талант — таков и куш.
Итак, финал: оркестр, туш !

Роза АУСЛЕНДЕР (1901–1989)

ПРОШЛОЕ

У прошлого
тоже есть крылья

Оперенье их
отмершие клетки жизни

Зеленеют
склоны буковых гор

У любимого
голубые глаза

Дождь орехов
дети играют ими

Голенькие воспоминания
плещутся в Пруте

Умирает отец
умирает мама

Боль это старая яблоня
с горькими яблоками

Саша АНДЕРСОН 1953 г.

Хайге Гаргу

в моей душе мир обретает ясность
манекенщица черная птица февраль т
анцует неделями напролет и я боюсь
что когда-нибудь в августе она см
енит наряд и превратится в сентябрь

в моей душе мир обретает ясность
оправданием для скончания времен б
удет невинность этого белого цифер
блата часов которые делят каждую п
есню на шестьдесят равных частей

в моей душе мир обретает ясность
каждая точка в конце предложения р
аспахнута настезь и потому ничто
не будет забыто и только снег на п
авлиньем глазе в полдень растает

в моей душе мир обретает ясность
и когда вечером я превращаюсь в г
лухое зеркало над рекою слов мне о
стается только накрыть имена и р
ифмы черным прямоугольником ночи

в моей душе мир обретает ясность
тому не будет свидетелей мать о
бъяснила мне что война только из
обретение только шалость детей во д
воре один лезет в карман к другому

в моей душе мир обретает ясность
манекенщица белая птица ноябрь т
анцует неделями напролет и я боюсь
что когда-нибудь в феврале она см
енит наряд и окажется новой весной

(переводы с английского и немецкого Игоря Болычева)

Томас Стернз ЭЛИОТ (1888–1965)

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА

I
Потому что я не надеюсь вернуться
Потому что я не надеюсь
Потому что я не надеюсь снова
Как бы я ни хотел к щедротам земным и уделу земному вернуться —
Я больше о бренной земле не печалюсь
(Что орлу постаревшему крылья свои расправлять?)
Что мне горевать
По силе своей оскудевшей?

Потому что я не надеюсь снова познать
Славы мирской преходящей
Потому что я не сомневаюсь
Потому что я знаю: мне вновь не узнать
Быстротечного счастья
Не увидеть деревьев в цвету и не испить родниковой воды
Потому что вновь ничто невозможно

Потому что я знаю: время всегда только время
И место не больше чем место
И то что вершится вершится только на час
И лишь на пяди пространства
Поэтому радуюсь я что вещи живут как умеют
И чужд мне благостный лик
И голос блаженный
Потому что я не надеюсь вернуться
Я улыбаюсь призванный что-то создать
Приносящее радость

И Бога молю нам даровать свою милость
Молю чтоб позволил забыть мне
Безделки по которым душа так сильно томилась
К которым так сильно тянулась
Потому что я не надеюсь вернуться
Пусть эти слова
Ответят за все дабы снова не повторилось
И может тогда суд Господень для нас не будет так тяжек

Потому что так жалок размах наших крыльев
Только воздух они сотрясают
Удушливый воздух пустынный
Мертвей и бесплодней чем наши стремленья
Научи нас печься о чем нам пристало и не печься о чем не пристало
Научи нас смиренью.

Помолись за нас грешных ныне и в час нашей смерти
Помолись за нас ныне и в час нашей смерти.

II

Любимая, три белоснежных леопарда
Лежали в тени можжевельника,
Наевшись моими ногами, моим сердцем, моей печенью и тем,
Что хранилось под сводами черепа моего. И сказал Господь:
Оживут ли эти обглоданные кости? Оживут ли
Кости сии? И то,
Что хранилось в костях, прочирикало:
Благодаря её красоте, и потому что
В помыслах чтит она Деву,
Мы ярко сияем. И я, который сокрыт здесь,
Предаю забвенью творенья мои и любовь мою
Завещаю потомству пустыни и тыкве.
В них возродятся
Мои внутренности, прожилки глаз и неудобоваримые части,
Что леопарды отвергли. Любимая в белом платье уходит,
В задумчивости, в белом платье.
Пусть костей белизна будет залогом забвенья.
В них жизни нет, они мертвы. Как забыт я
И буду забыт, так хотел бы забыть
Вплоть до самозабвенья, весь этой цели отдавшись. И рёк Господь:
Ветру пророчь, только ветру, лишь ветру —
Ветер услышит. И под стрёкот кузнечика
Зачирикали кости:

Возлюбленная тишины
Бесстрастная и страдающая
Уходящая и пребывающая в душе
Роза памяти
Роза забвенья
Изнуряющая и дающая жизнь

Тревожная и умиротворяющая
Единственная Роза
Теперь ты Сад
Пред которым меркнет вся наша любовь
Где кончается мука
Неразделённой любви
И горшая мука
Любви утолённой
Бессрочный конец
Пути без конца
Окончанье всего
Что бесконечно
Речь без слов и
Слово без речи
Нежность Матери
К Саду
Где любая любовь погибает.

Под кустом можжевелевым кости пели, сверкая и рассыпаясь,
Мы рады распасться, мы плохо подходили друг другу,
В тени можжевельника, в благословенном песке,
Забывая себя и друг друга, сросшись
С безмолвием пустыни. Эта земля —
Наш жребий. И ни распада, ни соединенья
Молекул. Это земля. Наше наследство.

III

На первом лестничном марше
Я оглянулся и увидел внизу у перил
В зловонном тумане
Дрожащую тень человека
В схватке с дьяволом тем что сокрыт
Под маской надежд и отчаяний наших.

На следующем лестничном марше
Я в последний раз оглянулся;
Больше не было там никого и темна была лестница,
Сыра и шербата, как слюнявый рот старика, безнадёжно разбитый,
Или как старой акулы беззубая пасть.

На последнем лестничном марше
 В прорезь окна, мрачневшего спелым инжиром,
 Я увидел цветущий боярышник и пасторальную сценку:
 Статный юноша в голубом и зелёном
 Убаюкивал май старинною флейтой.
 Ветер тёмные кудри его растрепал, на губах звуки флейты застыли,
 Распускаясь сирень и кудри вились;
 Воображение меркнет, флейта стихает, мысли мытарства
 Подходят к концу; свободная от надежд и отчаянья
 Новая сила восходит на последней ступени.

Господи, я недостойн
 Господи, я недостойн
 но скажи только слово.

IV
 Та что брела меж фиалок
 Та что брела
 Меж зелёных тропинок
 В белом и голубом, цвет Марии,
 Говоря о самых обычных вещах
 В простоте невинного сердца умудренного знанием о вечных муках
 Та что шла вместе с нами прошла как проходим и мы
 Та что потом подарила силу источникам и чистоту родникам

Подарила прохладу раскаленным камням и крепость песчинке
 В синеве живокости, синева, цвет Марии.
 Sovegna vos*.

Здесь годы проходят, прочь унося
 Звуки скрипок и флейт, не коснувшись
 Лишь той, что неслышно ступает между сном и пробуждением,

Той, что в сиянии чистом,
 Новые годы проходят, за собой оставляя
 Светлое облако слёз, годы проходят, за собой оставляя
 Новый стих с рифмой старой. Как отмолить
 Время. Как отмолить

* Помяни нас (провансальский диалект фр.)

Мечту, неузнанную в горнем виденье,
 Пока пышно украшенные единороги тянут позолоченный катафалк.

Тишайшая сестра под покровом белого и голубого
 Меж тисов, за статуей бога садов,
 Чья флейта уже бездыханна, склонила голову и улыбнулась безмолвно,

Но источник забил и птица запела в траве.
 Как время нам отмолить, как отмолить мечты
 Отзвуком слова неслышимого, неизреченного

Пока ветер срывает с тиса тысячный шорох

И после, когда наше изгнание здесь завершится

V
 Пусть забытое слово забыто, пусть оброненного не воротишь
 Пусть неслышанное, несказанное слово
 Не услышано, не сказано;
 Все же есть неизреченное Слово, Слово неслышимое,
 Слово, которое словом не высказать, Слово,
 Которым держится мир и слово, данное миру;
 И свет просиял в темноте, и
 Мир беспокойный покорно вращается слову наперекор
 Вокруг средоточья тишайшего Слова.

Народ Мой! что сделал Я тебе?

Где обретаем это слово, где
 Оно отзовется? Не здесь, здесь тишины не обрящем
 Ни у моря, ни на островах,
 Ни на материке, ни в пустыне, ни на земле, орошённой дождями,
 Потому что для тех кто во мраке бредёт
 Как днём так и ночью
 Здесь должного места и времени нет
 Нет места прощенья для тех кто бежит от лица Твоего
 Нет времени радости для тех кто бредёт в суете и не внемлет голосу
 Твоему

Станет молиться ль сестра под покровом
 За тех кто во мраке бредёт, за тех кто к Тебе обратился и за тех кто
 отверг Тебя,
 За тех кто мечется между временем года и временем года, между
 веком и веком,
 Между часом и часом, словом и словом, властью и властью, за тех
 Кто ожидает во мраке? Станет молиться ль сестра под покровом
 За детей что стоят у ворот
 И не уходят, и не умеют молиться —
 Молиться за тех кто к Тебе обратился и за тех кто отверг Тебя?

Народ Мой! что сделал Я тебе?

Станет молиться ль сестра под покровом
 Среди тонких тисов за тех кто обидел её
 И кто страхом объят и не в силах молить о пощаде
 За тех кто о ней возвещает пред миром и тайком её ниспровергает
 В пустыне исхода среди уцелевших утесов
 И ныне пустыня среди сада сад среди пустыни
 Там где древнего яблока сплюнули семя когда-то.

Народ Мой!

VI
 Пусть я не надеюсь вернуться
 Пусть я не надеюсь
 Пусть я не надеюсь вернуться

Вновь колеблясь меж выгодой и утратой
 На пути этом кратком
 Меж рождением и смертью, где мечты во мраке теснятся,
 (Грешен, Отец мой) пусть не хочу быть привязан к вещам преходящим
 Но за раскрытым окном берег моря скалистый
 Белые паруса в дали морские свой тихий полет направляют, к морю
 стремятся

Непокорные крылья

И унылое сердце обретает твердость и находит отраду
 В облетевшей сирени и лёгкой морской прохладе
 И опять восстает дух мятежный
 За цветка полевого запах нежный

Поднимает мятеж во спасенье
 Перепелиного крика и ржанки круженья
 Чтобы глаз ослепший увидел снова
 Бесплотные тени в воротах из кости слоновой
 И язык ощутил привкус соли в песке прибрежном

Это время пущено вспять от смерти к рождению между
 Скал достающих до сини небесной
 Где вместо видений померкших пустынное место
 Но когда облетит последний шорох с тиса и прочь унесет его ветер
 Пусть другой тис задрожит и ответит.

Благословенная сестра, мать пресвятая, душа источника и сада,
 Не дай нам обмануться ложью
 Научи нас печься о чем нам пристало и не печься о чем не пристало
 Научи нас смиренью
 Хотя бы среди этих скал,
 В Его власти наш мир,
 Но хотя бы среди
 Этих скал, мать, сестра,
 Моря душа и реки,
 Не оставь меня и

Внемли стенаньям моим.

1930

(перевод с английского Ильи Оганджанова)

VI

АВТОРЫ



Игорь БОЛЫЧЕВ

1961, Новосибирск. Живет в Москве. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доцент Литературного института. Публикации: журналы «Новый журнал», «Иностранная литература», «Крещатик»; книги «Разговоры с собою», М., 1990, «Вавилонская башня», Мюнстер, 1991; переводы поэтов П. Б. Шелли, Р.

Бернса, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Э. Паунда, Л. Уланды, А. Фон Дросте-Хюльсхоф, Г. Бенна, Г. Гейма, Г. Тракля и др.; статьи о творчестве И. Чиннова, Г. Иванова, Г. Бенна и современной русской поэзии «Мерзость запустения» («Литературная газета» 30.06. 2004).



Вальдемар ВЕБЕР

1944, Казахстан. Живет в Аугсбурге. Окончил Московский институт иностранных языков. Пишет на русском и немецком. Автор нескольких поэтических сборников стихов и переводов с немецкого и нидерландского, многочисленных публикаций стихов и переводов в периодике России, Австрии, Германии, Бельгии, Люксембурге. Составитель ряда известных антологий немецкоязычной поэзии на русском языке в 70-х и 80-х годах. В 1990 — 1992 гг. руководил семинаром художественного перевода в Литературном институте. Книги: «Traenen sind Linsen. Слёзы - линзы. Стихи и эссе» (на немецком языке), М.: Радуга, 1992 ; «Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого», М.: Весть-Вимо, 1995; «Черепки», книга стихотворений, М.: ЛИА Руслана Элинина, 2000; Scherben. Gedichte (на немецком языке), Augsburg: Verlag an der Wertach, 2006.

гг. руководил семинаром художественного перевода в Литературном институте. Книги: «Traenen sind Linsen. Слёзы - линзы. Стихи и эссе» (на немецком языке), М.: Радуга, 1992 ; «Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого», М.: Весть-Вимо, 1995; «Черепки», книга стихотворений, М.: ЛИА Руслана Элинина, 2000; Scherben. Gedichte (на немецком языке), Augsburg: Verlag an der Wertach, 2006.



Андрей ВЫСОКОСОВ

1966, Москва. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Крещатик», «Литературная учеба» и др.



Андрей ГОЛОВ

(1954, Москва — 2008, Москва).

Публикации: книги «На берегу времени», М.: Риф «Рой», 1997, Фотиандр Метаноик «Попытка к бытию», М.: Вахазар, Лето Господне 2006; сборники «Молодая гвардия — 85», М.: Молодая гвардия, 1986, «Турнир. Стихи», М.: Современник, 1987, «Андрей Голов "Прикосновение"», Василий Чертушкин «Фактор сердца»,

Елена Наумова «Выстрел ветки», Сергей Васильев «Синица», М.: Молодая гвардия, 1988, «Владимир Сабиров "Зимогор"». Василий Ситников «Красный Остров». Михаил Гаврюшин «Грядущая быль». Михаил Окунь «Негромкое тепло». Андрей Голов «Водосвятъе», М.: Молодая гвардия, 1990; многочисленные журналы; переводы с немецкого и английского.



Светлана ГОЛОВА

1967, Подмосковье. Живет в Москве.

В 1999 г. защитила диссертацию по творчеству Достоевского, автор многочисленных литературоведческих статей. Преподаватель истории литературы в Московском государственном университете полиграфии. Публикации: совместно с Андреем Головым переводы культурологической литературы (более 20 книг).

Переводы Э.По, Лафонтена, Кэрролла в издательстве Альфа-книга.



Полина ЗЕМЦОВА

1987, г. Сосновый Бор Ленинградской области. Живет в Москве.

В Литинститут поступила в 2005 г., закончила — в 2010 г. И больше ничего.



Татьяна ГРАУЗ

Челябинск. Живет в Москве.

Окончила 1 Московский медицинский институт им. Сеченова и ГИТИС (факультет театроведения). Публикации: журналы «Крещатик», «Черновик», «Меценат и мир», «Волга XXI век», «Воздух», «Дети Ра», «Футурум Арт»; альманахи «Илья», «Скандинавия-Поволжье», «Академия Зауми», «Перелом ангела», «Легко быть искренним», «То самое электричество» и др.; книги стихов «Они прозрачнее неба», М.: Вест-Консалтинг, 2005, «Пространство иного», Free poetry, 2004, «Лес-Озеро-Сад», Шупашкар, 2007.



Алексей КАЩЕЕВ

1986, Москва.

Работает в НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко в отделении хирургии позвоночника, а также гитаристом в джазовой группе Mainstream Band и медицинским переводчиком. Участник IV, V, VI и VII Форумов молодых писателей в Липках, Всероссийского форума молодых литераторов «Очарованные словом» (Красно-

ярск, 2005), 40-х Пушкинских чтений (Псков-Пушкинские горы, 2006). Именной стипендиат Федерального агентства по культуре и кинематографии. Участник Поэтических чтений в Перми (2008). Участник 4-й Международной книжной ярмарки (Киев, 2008). Публикации: «Новая газета»; журналы «Континент», «День и Ночь», «Студенческий меридиан», «Пролог», «Луч»; альманахи «Так начинают жить стихом», «Новые писатели», «Новые имена», «Очарованные словом»; сборники «Братская колыбель», «Илья-премия-2004».



Мария КОЗЛОВА

1981, Москва.

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: альманах «Илья» (2007).



Александра КОЗЫРЕВА

Москва.

Окончила Московский архитектурный институт. Публикации: журналы «Преображение», «Крещатик», «Литературная учеба»; сборник «Время Ч» (стихи о Чечне и не только); книга стихов «Магический круг».



Сергей КРОМИН

1972, Москва.

Окончил Московский автомеханический институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Крещатик», «Черновик», «Дети Ра»; альманах «Илья»; книги стихов «Зарязань», 2002, «Когда меня здесь нет», 2006.



Елизавета КУЛИЕВА

Москва.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публикации: журналы «Арион», «Дети Ра»; альманахи «Семнадцатое эхо», «Американские поэты в Москве».



Иван МАКАРОВ

1951, Москва.

Окончил Институт тонкой химической технологии и Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации: журналы «Знамя», «Юность», «Новый мир»; альманах «Поэзия»; книга стихов «По траве, по камням, по песку».



Александр МОСКАЛЕНКО

1958, г. Оха, о. Сахалин. Живет в Москве. После окончания в 1981 году Московского энергетического института работает в службе управления космическими полётами. Автор 9 книг стихотворений. Составитель и издатель антологий современной поэзии «Один к одному», 2004, «Времена и пространства», 2005, «Один к одному-2», 2006. Публикации: «Литературная газета»;

журналы «Юность», «Литературная учёба», «Крещатик» и др.; альманахи «Турнир», «День поэзии», «Илья», «Прибой», «Радуга имён», «Август» и др. Член жюри международной литературной премии «Илья».



Илья ОГАНДЖАНОВ

1971, Москва.

Окончил Международный славянский университет, Литературный институт им. А.М. Горького, Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Публикации: журналы «Новый мир», «Октябрь», «Урал», «Крещатик», «Вавилон», «Черновик», «Меценат и мир»; книга стихов «Вполголоса», М.: ЛИБР, 2002.



Сергей ПРОНИН

1991, Москва.

Студент Московского авиационного института. Публикации: самиздат.

**Евгений САЕНКО**

1962, Москва.

Окончил МГУ, профессор биохимии и молекулярной биологии. Публикации: журналы «Новый Журнал», «Крещатик».

**Ольга ТАТАРИНОВА**

(1939, Куйбышев — 2007, Москва).

Окончила Рязанский радиотехнический институт, Литературную студию при Союзе писателей СССР (семинар Б.Слуцкого), Литературный институт им. А.М. Горького (семинары Ю.Трифонов и В. Липатова). Публикации: книги «Вечная верность» (повести и рассказы), М.: Советский писатель, 1988, «Некуря-

щий Радищев» (роман), М.: Советский писатель, 1992, второе издание, М.: Линор, 2004, «Стихи», М.: Линор, 1995, «Кипарисовый ларец (non-fiction)», М.: АВМ, 2004, Vita brevis (книга стихов), М.: Линор, 2005, «Синица в небе» (книга стихов), М.: Юность, 2005, «Камерно» (книга стихов), М.: Линор, 2005, «Горизонт квартала» (книга стихов), М.: Вест-консалтинг, 2006, «Московский вечер» (книга стихов), М.: Вест-консалтинг, 2006; альманахи и коллективные сборники «Чего хочет женщина», М.: Линор, 1993, «Американские поэты в Москве», 1998; «День поэзии-2000», М.: «Русский мир»; «Брызги шампанского», М.: Олимп, 2002, «Один к одному» (антология одного стихотворения), М.: АВМ, 2003 и др.

Переводы стихов И.Р.Бехера, Е. Штриттматер, И. Бахман, П. Целана, Г. Бенна, Т. Дойблера, Ф. Верфеля, Г. Тракля, А. Гинсберга, Д. Эшбери, а также романа Айрис Мердок «Сон Бруно», рассказа «Клей» Патрика Уайта, и др.

Лауреат Международного конкурса на лучший женский рассказ 1993.

Основатель литературной мастерской «Кипарисовый ларец».

Подробнее см. Dictionary of Russian women writers, Greenwood Press, 1995.

**Сергей ФЕДЯКИН**

1954, Москва.

Окончил Московский авиационный институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доцент Литературного института. Публикации: книги «Скрябин» (ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 2004; «Мусоргский» (ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 2009; учебное пособие (совм. с П.В. Басинским) «Русская литература конца XIX — начала

XX в. и эмиграции первой волны», М.: Academia, 1999; статьи о литературе и музыке в журналах и научных сборниках. Лауреат литературной премии Государственного Академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер В.И.Федосеев) в рамках юбилейного фестиваля «Вера, Надежда, Любовь...» (2005).

**Алена ЧЕРНЫШЕВА**

1993, Москва.

Училась в Московском городском педагогическом университете. С 2007 г. участник литературной студии «Кипарисовый ларец». Многократный лауреат фестиваля «Юные таланты Московии» (2005 — 2009), победитель Всероссийского конкурса «Кипарисовый ларец» (2007), литературного конкурса «Илья-премия» (2009), отмечена

в VII Московском открытом конкурсе детско-юношеского творчества «Волшебное слово» (2010), внесена в энциклопедию «Одаренные дети — будущее России», участвовала в поездке в город Санкт-Петербург в составе Поезда Памяти по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, организованного Комитетом межрегиональных связей и национальной политики Москвы по программе Правительства Москвы «Никто не забыт, ничто не забыто» (2007), принимала участие в трех Международных совещаниях юных и молодых литературных дарований в Литературном институте им. А.М. Горького (2008, 2009, 2010). Член жюри театрального фестиваля «Маленькая Премьера» с 2009 года.